КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

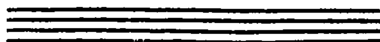
№ 12

ДЕКАБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ



Стр.

Виктор Дмитриев — Молодой человек — Рассказ . 5
Р. Эйдеман — Пятьсот тысяч — Рассказ 32
Александр Поповский — Анна Калымова Роман (Окончание) 46
А. Кирстен — „Теруань“ (Отрывок из романа) . . . 87
С. Подьячев — Моя жизнь (Продолжение) 105

Б. Пастернак — Спекторский. (Окончание) — Стихи 119

Обсервер — Международное обозрение 125
Г. Сафаров — Корни американизма в рабочем движении . 139

ЗА РУБЕЖОМ

Г. Гастов — Поездка в Аравию . 150

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Макс Зингер — Лед, разломанный людьми . 166

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

А. Михайлов — Пути развития революционной живописи . 190
С. Вельтман — Живая и стоячая вода . 203

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Бабушкина — Пути крестьянской литературы . . . 212
Г. Федосеев — Пути крестьянской литературы 216
Н. Прокофьев — Алексей Демидов „Село Екатериненское“ — Роман 218

Библиографический указатель „КРАСНОЙ НОВИ“ за 1929 г. 220

14-я типография
«МОСПОЛИГРАФ»
Варгунихина гора, 8.
Главлит № А 53782.
П. 13. Гиз 36506.
Заказ № 330.
Тираж 13 000.



И. В. СТАЛИН

Жизненный путь стального большевика т. Сталина—это славный и героический путь нашей коммунистической партии, путь блистательных побед и достижений. Любимый и талантливый ученик Ленина, т. Сталин вместе с ним и под его руководством прошел суровую и упорную школу борьбы с классовыми врагами пролетариата.

И после смерти гениального вождя всемирного рабочего класса т. Сталин наряду с другими членами ЦК остается выдержанным и последовательным продолжателем дела Ленина, неустанным и энергичным борцом как с открытыми врагами рабочего класса, так и со всевозможными уклонистами от четкой классовой линии, со всеми маловерами и паникерами, являющимися проводниками мелкобуржуазного влияния на пролетариат.

Крепкая большевистская, по истине, стальная закалка т. Кобы, как мы привыкли его называть, с исключительной силой дает себя знать в полосы временных затруднений революции. В такое время особенно остро чувствуется, что в лице т. Сталина рабочий класс имеет вождя, который не зарвется, но и не согнется.

И на трудном этапе строительства социализма, в эпоху реконструктивного периода, т. Сталин вместе с Центральным комитетом правильно начертал пути скорейшего достижения развернутого коммунизма.

Пользуясь случаем пятидесятилетней годовщины со дня рождения т. Сталина, редакция журнала «Красная новь» от имени об'единяемых ею советских писателей горячо приветствует испытанного вождя пролетариата и большевистской партии, принося ему искренние пожелания многолетней и столь же кипучей работы на благо строительства социализма и мировой революции.

Молодой человек

(Рассказ)

Виктор Дмитриев

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Вставайте, граф, вас ждут великие дела!»
(Сен-Симон велел камердинеру будить его по утрам этими словами.)

Сперва возникает длинная аллея, полная шорохов, прохлады и грустной синевы. Вершины деревьев, оперенные черной листвой, смыкаются, образуя неколебимый узорный свод. В конце аллеи поднимается большое солнце. Оно восходит из моря, и дымящаяся вода стекает с него. Солнце быстро расширяется, растет, и вот уже оно перегораживает туннель раскаленной и плоской кованной заслонкой, краями заходящей далеко за грани черной арки. Теперь аллея упирается в нестерпимую сияющую стену или, может быть, обрывается в сияющую бездну. Взволнованное зарево заливает всю ее дополна. Оно проникает и его самого, наполняя его радостным и тревожным биением. Он идет вперед, раскинув руки, подпрыгивая и взлетая, как бы в легчайшем танце. И тогда, во сне, он знает, что ему снится слава. Она снится ему часто, потому что он жаждет ее.

Сперва он ждал, что она отыщет его в этом маленьком городке, разбудит, возьмет за руку, как мать, и поведет за собой. Но слава не приходила, и он продолжал служить официантом в столовой нарпита.

Ему сравнялось двадцать два года. Подбородок его был заклеен пластырем. Звали его Паша. Вероятно, это имя было дано ему за желтые курчавые волосы и за то, что он бойко играл на мандолине, подбирая по слуху модные мотивы. Когда он разносил миски с борщом, жирный коричневый пар ударял ему в нос. Но миску он при этом держал перед собой гордо, как золотое блюдо с ключами от побежденного сдавшегося города.

Вечерами Паша качался на больших качелях в саду. Приседая и распрямляясь, он взносился вверх, все удлиняя размах колебаний. Звезды и облака стремительно и шумно обрушивались навстречу.

Девушки вскрикивали. Сумасшедшая, сбитая с толку тень невпопад и стремглав металась по земле. Распоясанная рубаха раздувалась ветром, и тем же сладким ветром удачи раздувалось Пашино сердце. Оно летело впереди, обгоняя, и Паша, теряя его, устремлялся вдогонку. Глаза у Паши круглели и становились большими. Он кричал и пел, но доска шла шибче голоса, и он не слышал своего пения. Его песня не поспевала за ним. Иногда, возвращаясь, он застигал ее на том же месте, где покинул. Только гордость и замирание сопутствовали ему в счастливом полете. Он запрокидывался на спину, навзрыд закусив губу, и качели, шумя и содрогаясь, уносили его вместе с пластырем и предчувствиями в неверное светящееся поднебесье. Напрягаясь и натужась до треска в костях и столбах, он силился вонзиться еще глубже, взвиться еще выше. Всю свою жизнь он втискивал в одно мгновение, сминая ее и комкая, если она не поддавалась, и крепко зажимая ее и веревки в одеревенелых руках. Выгибаясь и выгибая ее, он вместе с ней взлетал в пустое, ослепительное пространство, изборожденное лишь молниями и ликованием да огненной чертой его полета. Самозабвение, подобное любовной ярости, владело им.

Чаще всего он качался с Валентиной. Она боялась высоты. Когда доска взлетала, между Валентиной и землей оказывался крутящийся мутный вихрь, и она зажмуривала глаза, чтобы вырваться из белого водоворота. Падение делало ее грудь и голову полыми, и в них со свистом врывался тот же вихрь и заполнял их. Та же белая, беспокойная муть были теперь внутри, в ней самой, и, даже зажмуривая глаза, она не изгоняла их. Кроме того, ее тошнило, и она смеялась, чтобы Паша не заподозрил ее в трусости и не отказался качаться с ней. Она вскрикивала, как могла, громко и весело.

Паша помогал ей сойти. Она брала его черствую руку в свои маленькие, загорелые руки. На длинных, тонких и загрубелых пальцах ее оставалась от веревки красная полоса. Валентина, трепеща и замирая, звала Пашу гулять на кладбище. Колени ее выступали из-под короткой жесткой юбки. Щеки хранили еще бледность, напечатленную взлетом. Тонкая, синеглазая, с резко очерченным маленьким ртом, стояла она перед ним, полная молодости и желаний. Рукав ее блузы был порван, из него проглядывала розовая кожа, и ночь лежала на ее покатых плечах, как накидка. Но Паша отнимал у нее руку и не шел с ней гулять. Не для нее берег он свою суровую девственность. Он отталкивал Валентину.

Она ложилась на траву и смотрела Паше вслед, а он уходил, не оборачиваясь, прямой, строгий и ясный, в новых шевиотовых штанах.

Паша хотел славы, и он зажигал семилинейную лампочку и, мусоля карандаш, писал в толстой клеенчатой тетради:

«Я не изобретатель, как не были изобретателями Ньютон или Коперник. Я не изобрел, а открыл новый принцип, открыл силу, превосходящую пар и электричество, победоносную и необходимую... Упраздняются топоры, пилы, рычаги, молоты, двигатели внутреннего сгорания. Упраздняется самая работа»...

Паша представлял себе большой зал. Он так велик, что стены скорей угадываются, чем видны. Затейливые и жгучие запахи тропических растений сплетаются в странные арабески. Проходят декольтированные, белотелые женщины. Он стоит на кафедре и, отпивая воду из стакана, говорит: «Я не изобретатель...»

Паша построил машину вечного движения, и слава была неизбежна.

Часто, пока он писал или, разводя руками, ходил по комнате, Валентина стояла под окном. Вытянувшись, она с восторгом и жалостью наблюдала за ним, и только дождь или полночь прогоняли ее, потому что ей было девятнадцать лет и она любила Пашу.

Крикливое пестрое утро зарождалось в будильнике. Вместе со звоном оно распространялось по комнате и беззастенчиво располагалось в ней. Паша опрометью вскакивал и поспешно натягивал одежду. Он сердито захлопывал окно. Отворенное в чуждый и странный мир, оно кровоточило, как рана. Оно зияло, как брешь, как пробоина в корабле, в которую сейчас хлынет лазурное, беспощадное море. Вселенная готова была хлынуть к нему комнату, и он торопился отгородиться от нее хрупким непроницаемым стеклом, замкнуться от нее в альпаковый пиджак и бязевые кальсоны. В плотно застегнутую рубаху он прятался от жадных и цепких ее прикосновений.

Паша рад был бы заложить уши ватой, надеть черные очки, скрыть руки в перчатки. Он готов был завидовать слепым — их не мучили раздражающие, колючие краски; глухим — их не беспокоили грубые и громкие голоса; безруким — горячие настигающие дуновения не протекали по их пальцам.

Он хотел жить особенно и от'единенно, не завися ни от людей, ни от обстоятельств, вне цепи причин и следствий, в неплотной пустоте, в том разреженном прозрачном воздухе, куда уносили его сон, качели или мечта. Но он был обречен работе, еде, отдыху, всему обыденному и нестерпимому существованию. Ему надлежало совершить предначертанную, ежедневную долю мирового круговорота, скажем, колоть дрова или выносить мусор на помойку. Планеты обращались по своим орбитам. Паша размахивал колуном, и никто из них не мог уйти от этого огромного целого, которое облекало их и втягивало в себя, от целого, подневольной и тоскующей частью которого оставался Паша. «Дыши»,— приказывало оно, это целое. «Дыши, жуй хлеб, молчи, разговаривай». И приказы эти были утомительны и неотвратимы. Паша хотел свободы, но должен был бежать к колодцу с двумя блестящими оцинкованными ведрами. Ведра звенели, ударяясь о стеклянный воздух. Утреннее солнце стояло справа от Паши за ближним деревом, но оно и вполовину не было так ярко и великолепно, как ночное солнце его сновидений. То наполняло его трепетом и восторгом. Это только жгло его и резало глаза. Иногда он ушибал босую пятку о камень или корень и тогда припрыгивал на одной ноге и ругался.

Трудовой суматошный день был мучителен. В чадной кухне лязгали тарелки. Едкий дым выбивался из плиты. Гнилостный запах мыльных мокрых тряпок смешивался с запахом стоялых подлив и горелой крупы. Зеленые мухи визжали и слетались на засиженных окнах. Нечистые тарелки с прилипшей кашей оставляли на руках сальные отпечатки. Золотые зубы блестели во рту у повара, он сквернословил и стучал половником. Чад и духота делали человеческие голоса резкими и крикливыми. Ласка звучала ругательством. Безукоризненное небо, окаймленное аквамариновым горизонтом, сквозь кухонный дым представлялось рыжим. Треугольные жестяные деревья громыхали под окном.

В короткие перерывы между двух работ они насыщались, разрывая руками хлеб и рыбу, вылавливая плавающие в кастрюлях куски жирной баранины, потея и переругиваясь, обильно поливая картошку постным маслом и сдабривая ее луком.

В шесть наступал отдых. Они сидели на скамеечке у ворот и лениво лущили семячки. Паша уходил в сторону. Он почти не разговаривал и с нетерпением ждал вечера, который готовил ему блаженное одиночество сна.

Так жил он от ночи до ночи, но, засыпая, он не радовался уходу в краткосрочную страну сновидений, а с отвращением и злобой думал о завтрашнем пробуждении. К тому же за последнее время день преследовал его и в ночи. Ему снились судомойки с огромными клешнями, красными и распухшими, большие комнаты, уставленные штабелями непристойного свиного сала. Он брел меж этих штабелей, сало окружало его, преграждало ему дорогу, наваливалось на него со всех сторон, пятнало его кожу и сердце.

В одинокие же его бдения над клеенчатой тетрадью вторгался храп и сонное бормотанье соседей по квартире.

От всего этого не защищали ни закрытое окно, ни одежда, и Паша, кроме альпакового пиджака, замыкался в равнодушие. Он научился хитрить. Черные очки замещал он умением не видеть. Мир был враждебен ему, и Паша боролся с ним единственным доступным ему способом — отрицанием. Ничего не было. Ни этой кухни, ни этих снов, ни корней, кусающих его босые ноги. Стоит ему отвернуться — и все исчезнет. И он отворачивался.

Он окружил себя своим особым, собственным мирозданием, включавшим немного мыслей и чувств и еще меньше предметов. Эта своя вселенная была при нем всегда. Он смотрел на мир сквозь нее и вещи, и люди за ее пределами виделись ему смутно и расплывчато, как сквозь матовое стекло. Они сплывались, очертания их были неопределенны, окраска одноцветна и мутна, жизнь недолговечна — не длиннее взгляда.

Одиночество, неотступное как тень, сопутствовало ему в толпе и в многолюдьи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Если же он подпрыгивает выше, чем полагается, то до этого никому нет дела, и это касается только его одного.

Э.-Т.-А. Гофман

Заведующий сердился на Пашу. По его словам, Паша совершал двойное преступление: опаздывал на службу и занимался вздором. Сумасбродам и фантазерам нет места в жизни. Она предназначена для людей честных и трудолюбивых, самоотверженно и практически работающих ради общей высокой идеи. Если Паша любит изобретать, так пусть и изобретает что-нибудь дельное для столовой, дабы улучшить постановку общественного питания.

Паша молчал.

— Нет,— сказал он, наконец,— этим заниматься не приходится.

Если бы он хотел изложить свои мысли точно, он бы должен был сказать так: я не хочу участвовать в вашей мелочной и остервенелой возне. Несчастья здесь окружают меня, как несокрушимые стены, и мне подчас хочется размозжить о них голову. Вокруг меня высятся: несчастье работы, несчастье отдыха, несчастье бедности, несчастье таскать воду, несчастье жесткой подушки и горячих щей, несчастье грубого белья и жаркой погоды. А я хочу, чтобы все дороги были мне открыты, чтобы ни в чем не было мне заказа, чтобы слово «должен» я позабыл навек.

Но Паша этого не сказал. Не сказал он и о своих неясных и великолепных видениях, о залах с музыкой и аллее, о воображаемых женщинах, волновавших его кровь, обо всем, к чему тянулся он всею своей робкой и пламенной душой и что звал славой.

Вместо всего этого Паша только повторил еще раз:

— Нет, товарищ Хаз-булат. Этим заниматься не приходится.

Пашу провожала одна только Валентина. Модель вечного двигателя была уложена в сундучок. На этом сундучке, содержавшем, таким образом, будущность Паши и две смены белья, они и сидели. Пристань добросовестно покачивалась в лад со вздохами Валентины, и вместе со вздохами и дебаркадером покачивались лесистый левый берег и горизонт.

— Паша,— сказала Валентина,— а то бы остался? Здесь ты одного жалованья тридцать пять рублей получаешь...

— Я не за жалованьем еду, Валентина Сергеевна.— В Пашином голосе были гнев и сострадание.— Не будет по-вашему, и не просите меня.

— А зачем же ты едешь?

— За счастьем! Разве я на то рожден, чтобы задавать корм свиньям, ходить по этим узким пыльным улицам, носить немытые тарелки, разжигать по утрам плиту, а по вечерам купаться в Волге? Нет, как хотите, я стóю большего и большего я добьюсь. Счастье я заарканю такое, чтобы дух спирало в груди и сверкало в глазах.

— Ну, так возьми меня, Паша, с собой.— Она страстно и нежно сжала его руку своими грязными красивыми руками.

— Нет, Валентина Сергеевна.— Паша погладил ее руку и отстранил.— Нет, дорога моя для одного. И один я пойду по ней, что бы там ни ждало меня за поворотом... и вот кстати товаро-пассажирский пароход.

Валечка одна шла по каменистому берегу, понурясь и спотыкаясь. Паша, стоя на корме, смотрел ей вслед. Ему хотелось, чтобы она обернулась, но она не оборачивалась. За ней виднелся ему город, раскинутый по взгорью. Но вот отдаление стерло подробности пейзажа. Валечка слилась с городом, и вместе они отодвинулись в прошлое, оставив вместо себя только тонкую, чуть веющую печаль да надпись на пароходном билете.

Долго стоял Паша, грустя и держась за поручни. Он наступил ногой на сундучок. Солнце зашло, задержавшись мгновение на его ботинке. Берега дрожали. Луна размягчала окрестности. На носу кто-то пел, и пароход нес с собой песню, такую же зыбкую, неверную и колеблющуюся, как и этот ущербленный месяц, что заливался высоким чистым голосом, стоя один посреди огромного пустого неба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Да, то был Лондон...
Ч. Диккенс

Кому ж не доводилось заутро под'езжать к большому городу? Первым сигнализирует небо. Как будто оно все то же, что в Новороссийске, в Хабаровске и у вас в Гороблодатске. Три тысячи верст вы проехали под ним, от края его до края, и так же оно накренялось и валилось под откос, и те же на нем были рассеяны мелкие облака, и ту же ровность, гладь, блеск и невозмутимость выказывала его нескончаемая поверхность. Но тут оно, не меняясь, все-таки вдруг, разом, становится иным, точно отразило оно в себе улицы или ваше волнение. Или, может быть, правда, его подпочва на многие версты пропитана копотью и шумом. Затем проступают на нем первые пятна фабричных дымов, круглые печати, положенные трудом, нищетой и упорством. Далеко в поля, встречь входящим, город засылает свои аванпосты. Распухшие, оскаленные здания, стоящие порознь, сторонятся, пропуская вас, и каждое из них обдает вас смутными предчувствиями и холодом, радостной тревогой и неопределенным ожиданием. День вместе с городом летят вам навстречу, как пара коней, запряженных в одну таратайку, и вы с восторженным недоверием простираете к ним запыленные руки и сердце, исполненное томления.

Столица предстала перед Пашей, опоясанная беглым огнем куполов и заводских сирен. С зеленым сундучком, небритый и маленький, вышел он на площадь. Пожалуй, об этом следует написать так: он стоял один, окруженный и ослепленный чуждым и грозным утром. Грохот и звон волною прокатывались над ним, с головою захлестывая его, отнимая у него мысли

и чувства, способность понимать и располагать впечатления, лишая его даже возможности выделить из этой слитной массы новых и невразумительных шумов какой-нибудь один, отдаленный и удобный разделить, подвергнуть анализу эту общую, смешную и оглушительную сумятицу. Так, вероятно, море, столь же неотвратимое и такое же гулкое, бьет и швыряет упавшего за борт матроса. Так Пашу носило, ударяло об углы зданий, о кронштейны и звонки трамваев, о булыжник и тротуары. Будь автор поэтом-урбанистом, конструктивистом, индустриалистом, он бы такой и сделал эту первую минуту. Но у меня будет так: тихая провинциальная площадь. Такая может быть в Самаре или в Бугульме. В круглом сквере две чахоточных курицы щиплют траву, а белый кот с трясущейся головой подкрадывается к ним. Дворник подметает тротуар. Метла его шаркает по асфальту, и этот звук, как предостережение, довлеет над площадью и, можт быть, над городом.

Потому ли, что был рассвет и не ходили трамваи, или почему другому, но Паша обиделся. К чему было его боязливое и неспокойное ожидание, его дрожь и тщательность, если город оказывался так прост, почти наивен, если так доверчиво и беззащитно предстоял он перед Пашей? Он был, пожалуй, под стать его бесхитростному сундучку или уездному картузику. Паша чуть не заплакал, и, подвернись сейчас случай, повод, билет или поезд, он, должно быть, тут же и уехал бы обратно.

Будь столица свирепой, клыкастой, какой он и ждал ее, он бы не смалодушествовал, а напротив, подобрался, наставил бы воротник и пошел широким, цепким шагом, помахивая руками, как уходят на охоту или в поход. Но эта неожиданная тишь, этот бездонный недвижный воздух, куры произвели на него действие ослабляющее и резкое. Его точно подсекли ударом под коленки, и, поставив сундучок, он растерянно остановился.

Однако он не уехал и не заплакал, а спросил дорогу к изобретательскому учреждению.

Спокойствие площади было кажущимся. На ней происходили тысячи событий. Например: бежал клочок бумаги по пустому тротуару; воронкой завивалась пыль. Летело белое перо, переворачиваясь и загораясь на солнце. Мир мелких и забытых предметов жил своей неприметной, отдельной и краткосрочной жизнью. Предметы эти существовали сами по себе, совершали свой круг, было в этом нечто раздражающее, и Паша старался отвернуться. Он думал также, что если ограничить мир четырьмя аршинами тротуара, то в этой четырехаршинной вселенной самым важным и значительным и будет трепыхание клочка газеты. Он сердился и придавил бумагу каблуком.

Кроме того, спокойствие было обманчивым еще и потому, что (он это знал) за пределами площади свершались многочисленные волнения, бури и катастрофы. Разнообразные порывы и вихри сталкивались там и кружились за этими застенившими город домами.

Спутанное и мятущееся пространство сдавливало Пашу со всех сторон. Его невидимость, совмещенная с близостью, только прибавляла ему таинственности и зыбкости, и ступить вперед было поэтому еще страшнее.

Они не решался ступить, а старался сперва укрепиться хотя бы в одной точке. Этой точкой избрал он плиту в стене с надписью: «строил инженер Рерберг». К этой плите он и прильнул. Он копошился в этом углу, отграниченном стеной и его нерешительностью, он обживал его, приноравливал его к себе. Поставив сундучок, он тем самым наметил первую географическую точку в материке, к которому причалил. Все, что вокруг, все, что откроется дальше, он расположит в отношении к этой своей точке. От нее, как от полюса, будет начинаться счет. Здесь у его ног пересекутся линии долгот, и он завяжет их в узел и наступит на узел каблуком.

Бывают люди большого удивления. Существование их проходит в восторженной или негодующей суете. Они суетятся между вещей и событий, забегают и заскакивают с разных сторон, засматривают и так и этак, восклицают, сердятся, восхищаются и кричат. Они хотят знать все — сколько пешеходов в час мелькает мимо окна и каково расстояние от земли до Марса. Они переполнены симпатиями и антипатиями. Они борются с вещами, сталкивают их с места. И вещи платят им тем же. Мельчайшее происшествие: дождь поутру или встреча с девушкой, розовой как очки, через которые они смотрят на мир, способны окрасить собою целую их неделю Они любопытны к миру, и все, что в нем происходит, представляется им направленным за или против них. Они воспринимают его, как собственность, как квартиру, и любят переставлять мебель. Такою была Валентина. Но Паша был равнодушен.

По улицам он шел тихо, задумчиво опустив голову, как шел и через жизнь, не любопытствуя, прислушиваясь только к своим внутренним неясным и теплым голосам. Он не видел столичных примечательностей и никогда после не мог рассказать, чем же этот город отличается от его родного Гороблодатска.

Дни его протекали по своим темным и молчаливым берегам между вещей, между людей, не касаясь их и не испытывая на себе их изменяющего влияния. Паша был как бы заключен в самого себя, как в тюремную камеру, с той только разницей, что он никогда не старался вскарабкаться к узкому забранному решеткой окну и выглянуть наружу.

Столицы настоящей он не видел, а шел по смутной и расплывчатой, по обольстительной столице своих мечтаний. Это равнодушие и сосредоточенность придавали ему независимость. Вопреки картузику и сапогам он не выглядел провинциалом.

Он шел навстречу своей судьбе и замедлял походку.

Судьба его, раньше отвлеченная и бесплютная, теперь приблизилась к нему. Она смотрела на него своими пустыми глазами, и тяжек был этот пристальный слепой взгляд. Сперва она предстала все еще не совсем определенной, в образе этого города с затаившейся площадью, с розовым на рассвете булыжником, с ясными, отчетливо обрисованными далями. Потом словно уплотнилось еще более. Судьба возникла теперь ввиде дощечки на запертых дверях.

Слава, счастье, победа, жизнь, судьба — высокие слова! А меж тем пахло мышами, отхожим местом, водопроводными трубами. Пахло долгими годами интимной и несчастной жизни людей. Пахло жилой черной лестницей, потому что учреждение помещалось в жилом доме, и на черной лестнице Паша дожидался его открытия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы упали. Не будем плакать.
Н. С. Лесков

По нижней лестнице, озираясь, поднимался белый грязный кот. Паша догадался, что это все тот же трясущийся кот из сквера. Значит, всю дорогу он следовал за ним и подкрадывался к нему. Он гнался за Пашей вдоль тихих улиц, предшествуемый тенью, смахивающей на бутылку. Он ступал бесшумно, не отставая от Паши и поводя острой мордочкой. Паша испугался и с силой сплюнул на кота. Кот, обезумев и задрав хвост, ударился в бегство. Паша рассмеялся и услышал чужой тревожный смех. Он сидел рядом с собой на пустой лестнице. Ступеньки были беспокойно холодны. Площадка ходила под ним. Она колебалась, то разбухая, то сжимаясь опять. Вместе с ней расширялось пашино сердце, и у него темнело в глазах. Ему захотелось преклонить голову к Валентине на колени и задремать. Он заметил, что давно уже голоден, но не нашел в себе решимости открыть сундучок. Может быть, он плохо искал. Сильнее голода была в нем потребность сжаться, затаиться, в уютной недвижности забыть о себе и о предстоящем.

Мутная тишина властвовала на лестнице. Пухлая, сырая и серая тишина обволакивала его. Не было в ней успокоительности, какую хранит тишина лесная или прибрежная, а только затаенность, промозглость и коварство. Обманом была эта тишина. Паша затерялся в ней, так что сам себя не мог сыскать. Он погружался в нее, как в трясину. Как зыбучие пески засасывала она его, и некуда было ему податься, не за что ухватиться, не было подле него ничего надежного, человеческого, прочного. Плечо его ни в чем не встречало опоры.

Что, казалось бы, страшного в обыкновенной, житейской столичной лестнице, где ступеньки из'язвлены годами и башмаками, где в камень в'елась грязь, где, возбуждая брезгливость, торчат наглые и немытые обнаженные балки и перила расшатаны, где зияют разинутые пролеты и на дне этих пролетов опять ничего, кроме безмолвья и облупленного цемента? А Павлу было страшно. Провалы раскрывались, как гробницы, и такой же тянуло из них сыростью и смертной прохладой. Тысячи предательских шорохов и подавленных вздохов доносились к нему. Дом был населен ими сверху донизу.

Из года в год, из поколения в поколение и сегодня утром на общих кухнях яростно пылали примуса, скрипели и урчали мясорубки, раздетые мужчины и женщины плескались под кранами. В непрочных, тонкостенных комнатах любовники наспех доканчивали последнее об'ятие, мужья били

неверных жен и чистили туфли гуталином, игроки, задергивая шторы, продлевали ночь. Кухарки бренчали бидонами и ножами. Рыдали дети, хрипели часы. Медлительное время вскипало в квартирах вместе с кофеем. Отзвуки всех домашних скорбей и страстей оседали на потолках, копились и годами отстаивались в сырых подвалах. Кирпичи были пропитаны ими. Все здание было настроено в унисон, и поэтому при каждом вздохе дом вздыхал весь. В воздухе не было неподвижности, устойчивости. Он дрожал, как камертон, или точно бы двигались в нем большие прозрачные крылья.

Трепет и шелест концентрировались внизу. Они сгущались, сжимались, усиливались и вот разрядились глухим ударом и скрежетом пружин. Затем гул перешел в тяжкие шлепающие шаги. Шаги эти не приближались. Звук застыл на одном уровне. Паша знал, кто вошел. Это слепой старик с раскрытыми бельмовыми глазами. Он подымается, нашаривая ногами ступеньки, приседая и охая. Клюку он вытянул перед собой. Голос у него — хриплый и сильный, но он молчит. Нет, это — ошибка. Глаза старик закрывает. Он и не слеп, а только прикидывается. Это из хитрости он кашляет и размахивает клюкой. А когда он приблизится к Паше и встанет напротив, он выронит палку, и она со звоном поедет вниз по лестнице. Старик протянет тогда загребущие руки с короткими мясистыми пальцами. Он откроет глаза, и зрячий взгляд его будет наг и тяжек. Он взвизгнет.

Старик приближался. Шаги не становились громче, но Паша знал, что он надвигается.

Вместо старика с Пашей поровнялась женщина в красной косынке с круглым лицом. Рассеянно взглянув на Пашу, она прошла мимо. Затем она отперла дверь с дощечкой. Учреждение открылось.

Паша все-таки дышал. Он с недоумением посмотрел на руку и сосчитал пальцы. Их было пять. Он стоял, странно выгнувшись, опершись ладонью о стол. Поза эта была неудобна, но он об этом не знал. Молча подал он секретарю черную тетрадь, и тот также молча принял ее и уткнулся в нее.

Вот на качелях еще бывала у Паши такая минута. Доска дойдет до отказа в своем поступательном движении. Выше нельзя. Уже голова обращена к земле и висит над перекладиной, уже веревки подгибаются и размягчаются. Но ход вниз еще не начался, и доска, замерев, цепенеет на месте. На грани двух полетов возникнет крылатая неподвижность. И так же сейчас оцепенело и замерло расширенное мгновение. Оно поглотило комнату, очередь изобретателей, стол с тисненной трепанной клеенкой. Только чей-то смех топорщился рядом. Паша, весь напружинясь, стоял, приросши к этой доске, к этому мгновенью, и неудобство в позе не шло в счет.

Бешеное движение происходило вокруг Паши, не вовлекая, однако, его в общий круговорот. Он словно бы находился в ступице непомерного полого и сплошного колеса. Свистя и прядая, рассекая воздух, оно безостановочно и не умедляя бега, вращалось вокруг него. Пестрота его раскраски слепила. На лицо, на мысли Паши оно кидало мгновенные, воспаленные отсветы. Внутри его переваливались и громыхали какие-то камни или куски металла. Лязг, гром, свет и вихрь неслись с ним. Сухой жар охватывал Пашу.

Мир предстал перед ним обновленным. Все эти кружащиеся, убегающие в общем вращении предметы блистали и искрились, подставляя солнцу все новые поверхности для отражаемых ударов, и солнце било наотмашь, едва поспевая, и свет его, падая на эти сумасшедшие лопасти, дробился, как вода на колесе. Пашино сердце билось в самом центре мироздания, и его радостная пульсация передавалась вселенной и возвращалась к нему, пройдя все пределы. Он стоял в озарении необычайных и утомительных откровений и внимал им, улыбаясь и почесывая спину и тут же их позабывая.

Паша зажмурился, и все установилось. Он ощутил мир, как большую легкую ношу. Паша расставил ноги покрепче и тщательно уравновесил его. Спокойствие, отрадное и неопределенное, проникло теперь в его рассудок, кровь, жизнь. Он медленно удивлялся себе, своей величине, размеренности, плавности, царящим в нем. Паша прикасался к себе осторожно, почти с нежностью, боясь толкнуть или рассердить. Он производил тщательный отбор воспоминаний. Поезд был неуместен. Но вот возникла река; скованная месяцем, приведенная им к бессловесному повиновению, она лежала меж облетевших берегов, большая и черная. Он принял ее к себе, за молчание, за мерность и непоколебимость. Небо лежало над ней, и в нем была та же тишина и безмятежность. И небо он допустил до себя. Теперь он мог жить только со зрелищами мирными и величественными, с пейзажами бесконечными, простыми и дикими.

Но вот возникли голоса. Они пробивались и увеличивались в числе. Он разжал зубы и снова ринулся в прежний калейдоскоп и вертеж. Переходя так от спокойствия, почти забытия, к головокружению, он ждал слова.

Теперь судьба вырисовалась еще ясней, образ ее стал ощутимей. Даже с закрытыми глазами он видел ее. Судьба носила пробор и жесткие рыжеватые усики. Она листала тетрадку с чертежами и об'яснениями. Она свершалась, пока он ждал, зажмурив глаза. Прямая и неотлучная, как дыхание, она была рядом. Он чувствовал ее на своих руках, волосах, на теле. Пусть прикидывается она незначительным молодым человеком! Пусть прячется, хитрит, напяливает маску; пусть укрывается под причудливыми личинами. Он ей не верит, он ее ждет. Это она вывела его из маленького зеленого городка над Волгой! Это она водила его карандашом в бессонные июльские ночи.

О, святая бессонница, мучительная подруга творцов и сумасбродов! Привет тебе, благодарность тебе, хвала тебе. И ты, великое беспокойство, ты, что не даешь нам смежить усталые глаза, лишаешь нас глубоких и наивных радостей, заставляя даже в об'ятиях оставаться в стороне, даже вздохи любимой заносить в памятную книжку, ты, подносящее нам сладостную отраву и терзающее нас горячечными восторгами,— пусть слова мои старомодно напыщены и, увы, выпадают из сюжета,— привет тебе и слава тебе, и вот тебе моя рука!

Веди меня дальше, как вело ты доселе моего героя, увлекая его в безнадежную и отрадную погоню за призраками, наполняя душу его благородной и забавной алчбой, толкая его в смешные и страшные пропасти!

Вокруг Паши столпились все его надежды и видения. Торжественны ветер обдувал его. Ему слышался звон. То ли это воздух звенел, как сосно вый бор, то ли звенело у него в ушах или комната вторила дальнему умолк шему колоколу. Но нет! Как мы уже упоминали выше, это слава стоял рядом с ним, как женщина. Она дышала ему в лицо, и ресницы его шеве лились, колеблемые ее вздохами. По коже его пробегали радостные и тре вожащие прикосновения. Застенчиво и восхищенно тянулся он к ней и вверя ей себя. Он ждал ее с простодушным нетерпением. Еще не обладая, он уж ощущал ее всю, глубже, чем в наивысшем слиянии, потому что эфемерна отдаленность уже не разделяла их, а только распаляла и прибавляла заман чивости, как прибавляет ее женщине последняя, полупрозрачная и упадаю щая одежда, которую воздух проникает столь же беспрепятственно, скол и лихорадочный взгляд возлюбленного.

Новый день занимался над ним. Это был день высоких мыслей и праз ничных снов. Будничное все прошло. Паша охотно разделся бы и встал по душ, чтобы обмытым и свежим принять свою любовницу. Он хотел быт достоин ее и, не имея возможности вымыться горячей водой, омывался в воз вышенной ясности и просторе. Он звал к себе предвкушения новых твор ческих подвигов и откашливался.

Секретарь все также молча отложил тетрадь и взял Пашу за руку Паша вздрогнул и открыл глаза. Он знал, что его возьмут за руку. Он должна была ему пожать руку, но не так, совсем не так. Это пожатие был перекошенным и лукавым, а ждал он добротного, дружеского, уверяющег и грубоватого. То долженствовало обдать электричеством и музыкой, эт обдавало холодом. Нет, слава пожимает руку не так. Случилось нечто непредвиденное и несчастное. Хитря сам с собой и надувая себя, он пытался отнести несчастье к разряду общих и безличных катастроф, разражающихся над городом, страной или домом. Он подумал о войне, о наводнении. Он даже попытался искренно огорчиться, вспоминая о кровопролитных боях, поездах с тяжело ранеными, о разрушенных селах. Потом он представил себе залитые улицы, лодки, лавирующие между плавающими и кувыркающимися трупами и уносимыми бревнами и письменными столами. Бьют в набат, гудят пароходы. Он ясно увидел газету с большим жирным заголовком: 40 000 жертв!

Огорчение его было лицемерным. Он хотел этого всеобщего горя и бедствий. Даже пожар. Пусть! Он готов услышать запах гари. Более того — он его слышит. Он схватит сундучок, тетрадку. Вместе с секретарем они спасутся по железной лестнице. Вот она наискосок приставлена к подоконнику. Только бы голова не закружилась от высоты. Нужно стараться не смотреть и крепче хвататься за ржавые круглые перекладины. «Москва сгорела от копеечной свечки», вспомнил он зачем-то и даже улыбнулся. Но тут ему пришлось признаться себе в том, что секретарь настойчиво указывает ему на стену, ровная и непобедимая белизна которой утомляла его и сердила. Ее беспокойная безупречность подавляла, и он торопливо искал на ней морщинки или пятна и не находил, кроме желтого, блеклого прямо-

угольника. Прямоугольник этот имел какую-то связь с копеечной свечкой. Может быть, это след пожара? Нет, там просто была тушью выведена какая-то надпись насчет свечей. «Свеч»,— читал он и удивился,— почему в учреждении пишут слово с ошибкой. «Разве «свеч»? — думал он. «Свечей!» «У рыбей нет зубей, у рыбов нет зубов, у рыб нет зуб. Мою машину приноровить к выделке свечей?» Свечи выпадают из металлического раструба, желтые, блестящие, безупречной круглости и гладкости. Со стуком падают они в коробку, одна на другую, а из коробки, с другого конца, вываливаются уже заклеенные в синие, бугристые, шестигранные пачки.

Но надпись говорила не о свечах. Выведенная тушью, со всей аккуратной беспощадностью, на какую способна канцелярия, она торчала посреди стены, и Паша против воли все-таки прочел ее.

«С вечными двигателями просьба никого не беспокоить». Вот, что значилось на ней.

Паша опять посмотрел на руку, но пересчитать пальцы уже не мог. Дойдя до трех, он сбился, и это повторилось шесть раз.

— У меня модель,— сказал он очень тихо.

Но секретарь жалостливо и обстоятельно рассказал ему о тщете его попытки. Не дослушав, он машинально вышел. В движениях его появился некий автоматизм, неправдоподобная размеренность. Он нежно, как ребенок, прижимал к себе так и нераскрытый сундучок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Проводник: «Граждане провожающие, покиньте вагоны».

«Россия пахнет вокзалом»,— говорите вы? Что же, пусть так. А в запах этот включаются все дары самобытного русского гения. Прелые валенки и кислый хлеб, махорка и смазные сапоги? Так, что ли? Ну, а запах угольной копоти вы забыли? А брошенные цветы, умирающие, как «прощай», и машинное масло? А скрежет колес и «прощай», отцветающее, как брошенный букет? Все не в счет? А гудки, эти сигналы к дальним и бесполезным странствиям, эти призывы с другого конца планеты, поселяющие в вас смутную тягу за грань горизонта, тоску по невиданным городам и несбыточным странам? А то, что, поставив ногу на рельсу, вы слышите дрожь, ту самую, что началась во Владивостоке, за три тысячи верст, на берегу другого моря, под иным солнцем? Сталь передает вам привет дальнего материка — и вы можете оставаться спокойным? А резкие мятущиеся тени, наискосок и вкривь пересекающие высокий дебаркадер? Нет, я люблю вокзал, как люблю свой век, и там, на вокзале, этот век, полный смятения и хитрости, предстает передо мной и глядит мне прямо в глаза, и в бешеной немоте я постигаю его и не могу постичь и ищу и не нахожу для него метафор. Там, в этом государстве точнейшей и безошибочной машинерии и чувств, напряженных и молниеносных, как короткое замыкание, мне становится еще

ясней, что время величавой простоты и классической прозрачности миновало безвозвратно.

Вот по свистку, по взмаху жезла под стеклянной кровлей разражается семьсот поцелуев и триста рыданий. Тысяча скорбей сливается в общий невнятный гул, в один раскат, и гул этот смешивается с грохотом багажных тележек. Рядом со всеми в числе тысячи вы предаетесь своей единственной, одинокой и потайной, особенной горести. Но плачьте в меру! Семафор поднят. Дежурный по станции надел красный картуз.

— Справочная,— кричите вы, подбегая к будке,— справочная, будьте добры, в котором часу мне тосковать, ломать руки, ломать папиросу «Дэли», лепетать последние, несвязные и идущие прямо к сердцу слова?

— В десять пятнадцать. В десять пятнадцать можете лепетать слова.

— Спасибо, справочная, благодарю вас! Вы слишком добры к страдальцу! А теперь дайте мне билет на право разлуки. Позвольте мне побыть еще полчаса с любимой и не взимайте за это штраф в размере трех рублей! Позвольте заплакать в десять пятнадцать, в десять шестнадцать отереть слезы и расплатиться с носильщиком, а в десять двадцать вспомнить, что любимая уже под Люберцами, и выпить рюмку водки в буфете...

Но очередь не любит, чтобы ее раздражали и задерживали монологами. Поэтому лучше скажите прямо: «В котором часу уходит скорый?» и: «Дайте перронный билет!» В конце концов это не менее выразительно.

Вокзал стоит позади меня, как молодость. Помните, как сорвав все якоря, летели мы без устали и без памяти? Все они покинули нас тогда, эти кирпичные тяжеловесные громады. Церкви, музеи, дворцы, публичные дома — все остались позади. Только он один, молодой, как мы, безумный, как мы, вокзал следовал за нами, не отставая, и на каждом новом повороте нашей судьбы он встречал нас, выпрямившись во весь рост. Юность наша прожита в третьем классе.

Таков наш век, таков вокзал, и я люблю их.

И вот сюда, в эту сумятицу черных и белых линий, в бескрасочную и шумную фантасмагорию, где с театральной приподнятостью на цементных подмостках разыгрываются перед многочисленными зрителями простейшие и тягчайшие из трагедий, где в интимнейшие переживания вторгаются паровозные свистки, где об'ятия разрываются согласно расписанию поездов дальнего следования, где жар пылающих топок иссушает наслезненные глаза, сюда, на вокзал, приходит смирный молодой человек, у которого желтые волосы и не состоялась слава. Он жалостливо держит и голубит обитый жестью сундучок. Он садится глубоко на скамейку, и вследствие малого роста ноги его отделяются от земли.

До этой минуты Пашино горе было тихо и созерцательно. Его, как и сундучок, нежно нес он с собой по уединенным переулкам и иногда, отстранив его, поглядывал на него и покачивал головой. Сердце его болело ровно и однотонно. Им владела унылая умиротворенность. Он мысленно назвал себя Пашенькой и гладил по щекам.

Он сидел в сквере. Воробьи клевали гравий и прыгали по газону. Беззащитное воробьиное тельце было теплым и мягким. В воробье, в этой теплоте его и мягкости, было нечто роднящее птицу с ним, общая беспомощность, пушистость... Паша потянулся к нему, чтобы обласкать и пожаловаться, но воробей не понял его намерений и в испуге улетел. Паша доел лепешку и колбасу и пошел дальше. Он проходил целый день и к вечеру попал на вокзал. Он не пришел сюда, его сами принесли ноги, и он не знал, где он. Все это время он был погружен в жалость к себе, в спокойную грусть так глубоко, что даже самые сильные лучи не достигали до него с поверхности, и над ним и вокруг колыхалась все та же мутная, ровная и горестная прохлада. Но вот из этого царства водорослей и смутных ощущений, где горевал он в полгоря и плакал в полплача, Паша вынырнул в вокзал.

Человек горюет по-иному, когда рядом стоит паровоз. Самый воздух здесь был жестким, стремительным. Это уголь и огонь, бьющий из топок, делали его таким. И эта жесткость и стремительность передавались людям, пробирались в их мысли. Самая неподвижность здесь была приостановившимся движеньем, готовым тотчас возобновиться. Неверный, лихорадочный свет мятежного электричества дробился и отражался в кафлях, в глазах и сердцах. Олеонафт, вороненая сталь, стекло и камень были нанизаны на дребезжащие сверлящие звоны, как на вертелы.

Ничего этого, впрочем, Паша не слышал и не видел. Все эти звуки и зрелища застревали где-то между его глазами и ушами и сознанием. Он воспринимал их, но они не доходили до мозга. Пейзаж для него как бы не существовал и в то же время оказывал решительное и определяющее действие на самые тайные его помыслы и намерения и на его поступки. Тишайшая грусть его вдруг перешла в яростное и активное отчаяние. Ему хотелось бесноваться, кричать, бить стекла. Тут только он понял, что нет ему другого исхода, как вернуться обратно, к уездному прозябанию, к немытым тарелкам, к бараньим снам. Но он не хотел возвращаться. Он не мог вернуться. Слышите?

Злобствуя и задыхаясь, он привскочил на скамейке. Всего больше его возмущало и мучило не то, что его отвергли, не то, что не вытанцовывалась слава и он обманулся в своих ожиданиях и надеждах. Но почему он не сорвал злость, не отвел душу? Зачем смолчал, не разбил чернильницу, не сказал речь, по крайности, не заплакал? Раскаяние и стыд и досада поднялись в нем.

Все кончилось! Небритый, с пластырем на подбородке сидит он здесь между людей, не лучше их, не красивее их и даже ростом поменьше. Все они с баулами, с чемоданами, с мешками, и он с сундуком. Он такой же, как все, и они не видят его, как и он их. А где же слава? Где же приветственные клики и восхищенный клекот? Где гордые и знаменитые однофамильцы, которых он всех сделал приметными и славными, как их ни много? Ничего нет, все сон, мираж, пустота и обман. Осталась баранина, сладострастные мухи, суповые миски, сундучок... А машина? Пусть он выдумал славу, пусть он сам сочинил все и уже заранее принимал знаменитые позы. Он поверил себе, и пробуждение было ему наказаньем. Но ведь машина-то была? Вот

здесь, рядом, у него на коленях, в этом зеленом ящичке стоит модель, и он может доказать кому угодно... Правда, недоработаны детали, мелочи... Правда, движение все-таки останавливается... Но это потому, что плоха фанера. Разве в Гороблодатске достанешь? А в чертеже все об'яснено правильно и точно.

Паша чувствовал, что в нем зреет решение. Он еще не знал какое, но знал, что спасительное и торжественное. Он открыл сундучок и извлек модель. Машина его подходила на колесо, каким подымают воду на бахчи и левады. Только вместо ведер висели камушки и гирьки, да ростом оно не вышло. Паша рассеянно толкнул колесо, и оно завертелось. Медлительные гирьки ползли вверх, замирали на вершине и затем с'езжали вниз, своей тяжестью увлекая все колесо.

— Граждане,— закричал вдруг Паша голосом, по его мнению, очень громким, но на самом деле, слышным только ближайшим.— Граждане, разрешите вам об'яснить.

Он простер руку над своим произведением. Человек двадцать окружили его. Но он видел, что вокруг него толпа. Тысяча или десять тысяч ждут его слова, и он скажет его. Они заглядывают ему в глаза, силясь постичь тайну, которую он берег для них. Вот она минута, которой он так долго и так прилежно дожидался.

— Граждане,— закричал он, под свист паровозов и щелканье компостеров.— Я не изобретатель. Скорей — я открыватель, потому что открыл новый принцип, новый вид двигателей. Не нужны больше уголь, нефть, мазут, динамомашины.

— Не нужно жениться, не нужно разводиться,— добавил кто-то сзади.— Чем, малый, торгуешь?

Паша не торговал ничем.

— Я изобрел машину вечного движения,— сказал он.— Слушайте, работа — проклятие, худшее из проклятий. Счастье в праздности, в беспечности. Так? И вот вам не нужно больше работать. Она, моя машина, будет работать за вас. Саморубающие топоры я дам вам, и самопилящие пилы и метлы, которые будут мести сами.

Паша горячился. Сейчас он скажет, что его не поняли, что нужно отсюда всей толпой итти в учреждение и требовать. Может быть, колотить стекла...

— Вот! — закричал он пронзительно и вдохновенно, как в истерике,— вот, глядите, я толкаю! Привожу колесо в движение, и оно не остановится никогда!

Говоря так, он снова верил себе. Он знал, что колесо будет вертеться вечно. Он толкнул его, и оно пошло, чтобы никогда больше не останавливаться. Он притаптывал ногой, сжимал кулаки и затаивал дыхание, когда гирька останавливалась на вершине. Всем телом и всеми помыслами участвовал он в движении колеса, как бы подталкивая его и подсобляя.

— Смотрите,— говорил он,— вертится! Что, взяли? Мы пойдем сейчас вместе и докажем им, что вечное движение возможно, что оно существует. А?

Колесо действительно крутилось долго. Чудо обещало состояться. Но толпа вокруг Паши все редела. Любопытного в колесе было мало, пятен задаром здесь не выводили, а Пашины выходки и возгласы казались несколько рискованными, тем более, что к кружку уже приближался человек непомерного роста в синих штанах. Милиционер заглянул через головы зрителей, но, не увидев ни беспатентной торговли, ни игры в три листика, отошел и встал в стороне.

— Идемте,— говорил Паша, хватая за руку ближайших.— Идемте же, ну! — Он представлял себе, как идут они по темным улицам, и прохожие примыкают к ним. Он выступает впереди и держит над головой колесо, как фанерное знамя. Вот они вламываются в учреждение. Секретарь вскакивает из-за стола. Он бледен, он дрожит и падает на колени перед Пашей... Но никто не трогался с места. Схваченные за рукав в смущении отворачивались и отряхивались.

Колесо замедлило ход. Оно угасало медленно, но неизбежно, как удаляющийся шум поезда, как будильник. Паша опустил руки и встал, вглядываясь в свою модель. Ход замедлился еще, и он заметался между скамейкой и толпой.

Паша кинулся к колесу и остановил его.

— Довольно,— закричал он, бросаясь на скамейку.— Уходите. Больше крутиться я ему не дам!

Паша сразу весь сник и еще уменьшился в росте. Пот проступил у него на висках. Изнеможение расслабило его руки и ноги.

Последним возле Паши оставался краснолицый человек в серой шляпе и расшитой косоворотке. Он долго еще смотрел на Пашу, на его машину и, наконец, сказал:

— Машина — вздор. А вот ты мне такой препарат изобрети, чтобы душу человеческую под стекло изловить. А то пилы, пилы да машины. Взять поезд. Хоть ты какой хочешь поезд по рельсам пускай, а русский человек все равно догонит.

Произнеся эту темную тираду, человек снял шляпу, энергично отряхнул ее, опять надел и пошел прочь.

Милиционер покачал головой.

— Где трое русских, там два чудака,— сказал он и подошел к Паше.

— Молодой человек,— спросил он,— вам куда ехать?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Н. Гумилев

В вагоне Паша не спал. Целую ночь напролет проглядел он в окно, следя, как приплясывают в такт поезду звезды и провода. Медленно, поодиночке сходились в уме его мысли. Пусты были его глаза, и душа его была

пуста. И та же пустота, пыль и сумрак были вокруг него. Окно трещало под напором темноты. Поезд шел полным ходом. Набирая скорость, он уходил от повсеместных потемок и не мог уйти.

В Саратове Паша с'ел арбуз и перешел на пароход. Он опять стоял на корме, как три дня назад, и так же наступал на сундучок. Но больше не брезжила слава впереди, и в сундучке он вез не будущность свою, а никчемную фанерную безделку.

Обе палубы были заставлены ящиками. Проходя, Паша по запаху узнавал сорта: анис, пеструшку, опорт, царский шип, репку, чугунку, скржут и черное дерево. Но все эти едва приметные оттенки сливались в один, густой, крепкий, как спирт, запах. Он облаком окутывал пароход и вместе с ним шел вниз по реке. Иногда набегал верховый ветер, толкал плечом и опрокидывал облако. Тогда по всей округе распространялся тот же добротный, свежий яблочный дух. Он проникал в деревушки и в сторожки бакенщиков, перешибая запахи скотного двора и гниющей рыбы. Кроме запаха, из ящиков выбивалась золотая солома, цвет которой трижды повторялся в облаках, в прибрежных полях и в воде.

Пароход шел быстро. Он подминал под себя воду, и она с шумом, подобным шуму большого леса, расступалась и собиралась в складки. За кормой вставали и ворочались валы. Солнце наспех пересчитывало их, одаряло двумя-тремя красками — охрой, багрецом, киноварью — и отталкивало их от себя, снова заравнивая и полируя воду. И опять там, где сейчас колыхалась и кружилась волна, расстилалась пятнистая безмерная гладь.

Розовый горячий песок тянулся вдоль левого берега. На нем лежали голубые тени и смуглые голые девушки. По правому берегу вздымались и высились белые, зеленые и желтые горы. Солнце стирало с них оттенки и полутоны, низводя пейзаж к резкости и откровенности негатива или семинотной гаммы. Оно оставляло только основные тона, глубокие и точные, как на трехцветном флаге.

Чайки гнались за пароходом, кувыркаясь и вскрикивая на лету. Вдалеке вспыхивали паруса и крыши. Ручьи сбегали с гор, рея меж кустов и перелесков. Мальчишки, стоя в широких просмоленных лодках, качались на пароходной волне. Плескалась рыба, созревал барбарис, сливы наливались и опадали в обширных садах. И над всем этим простецким великолепием расстилался и господствовал все тот же яблочный запах. Родина пахла яблоками. Паша узнавал этот с детства привычный запах садов и ночей, и запах этот волновал его и умилял.

Он вдруг увидел всю ее, эту родную сторонку, открывающую для него свои могучие об'ятия. Все заколебалось вокруг него и, припав к ней на грудь, он заплакал. Он приникал к ее мощному теплому телу, и оно передавало ему свое утешительное тепло и спокойствие. Как младенец, он пил из ее огромных сладких сосцов отраду и забвение.

В этот час он сделал множество открытий. Пустота, в которой он жил один, наедине с собой, рассеялась и оказалась заселенной тысячью тел и внятных голосов. Он ездил за славой, добывал ее и терял, умирал

и возрождался, а здесь все так же колосилась рожь, вращалась вокруг солнца земля, пассажиры дружно ели осетрину и резались в шашки. Вселенная существовала отдельно и независимо от него, смотрел он на нее или не смотрел.

У Паши сбился галстук, и он захотел перевязать его заново, но забыл, как это делается. Он растерял все свои машинальные безошибочные навыки, все привычки. Все выработанные и разученные за двадцать два года движения ушли от него. Как занести руку? Продеть запонку? Он все это придумывал и изобретал вновь. С интересом следил он за своими руками и учил их двигаться направо и налево.

Все было ему внове и любопытно: и то, что дома имели четыре стены, и то, что капитан носил бестрепетной, вопиющей белизны китель, и то, что у чаек с лапок капала вода. Обо всем этом он до сих пор только знал. Сейчас он видел.

Вокруг него зачиналось и творилось мирозданье. Он воротился из Москвы как раз во-время, чтобы поспеть к шестому дню, к часу сотворения запахов и красок, капитана и яблок. С любопытством и тщательностью он вслушивался в окружающее. Он трогал вещи: холодный, черный кабестан, бугшприт, согретый солнцем и покрытый трещинами, развешанное для просушки сырое матросское белье, спасательный круг, выкрашенный в белое.

Бессонная ночь и волнение обострили его чувства. Он видел, что вперемежку с кальсонами на веревках висят лоскуты солнца. Он открывал сходства между козлом, который молился, припав на колени и поворотясь на восток, и персидским купцом, который щипал траву, так же припав и поворотясь; между вечером и наводнением: мрак поднимался снизу, он сперва заливал долины, потом всползал до слуховых окон и чердаков, захлестывал деревья, и, наконец, забирая под себя горы, холмы — все видимое пространство. А на что походил закат? На женщину в пурпурном платье? На взрыв, разметавший по небу пылающие осколки? На устье печи, полной раскаленных углей? На расплеснутую вазу с компотом?

Новое утро входило в свои права и в город Гороблодатск. Под руку с ним в тот же город входил и Паша. Преображенный ночным дождем и разлукой, окружной центр был нов и чудесен. Скрипели, взбираясь в гору, тяжелые возы, груженные зерном и арбузами. Лошади выступали неспешно, мерно поматывая кудлатыми головами, поводя очами. Добрые, сытые немецкие кони размахивали пудовыми хвостами и попирали землю тяжкими копытами. Тревожные радужные слепни играли над ними, и их беспокойные треугольные крылья звенели.

Паша вступил на базар, в царство огня, вещей и суеты. Здесь вдохновенно надрывались поросята. Выкликали и выхваляли товар торговцы.

Налево стояли зеркала, круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, стоячие, висячие, ручные. Были среди них отменного бемского стекла и плохонького деревенского, пузыристого, в перекосах и трещинах. Зеркала ударяли дальнобойно. Они рвали пейзаж на части, хватали самые отдаленные куски его и, выварив в блеске ртути и солнца, выставляли напоказ. Они

отхватывали у людей головы, выворачивали руки и ноги, смешивали их с деревьями, переплетали с облаками. Радуги зажигались на их гранях.

Блистали и вспыхивали, посылая друг другу приветы, ножи финские и охотничьи, кухонные и столовые, жесткой и мягкой стали, работы богородских, павловских, кустанайских мастеров. Они кидались в рукопашную и напропалую резали, кромсали и рассекали воздух. Отсветы перелетали от палатки к палатке и кружились над толпой. И вместе с ножами бросались в эту пламенную резню бритвы, серпы и косы. Здесь же горели ровным огнем топоры и пилы, замки русские и хитрой американской выделки ввиде буквы О; бряцали ключи, гвозди дюймовые и трехдюймовые, горбыли, костыли, задвижки, скобы, щеколды, крюки, засовы, кольца и дверные петли, болты и винты.

Дальше, там, где кончалось это скобяное воинство, лагерем стояла посуда. Выравняв стройные, блистающие ряды, сияли расписные тарелки, стаканы граненые и тонкие, чайники белого фаянса и желтой меди, половники и тазы, блюда и подносы, эмалированные сковороды и обливные чугуны, огнеупорные коричневые горшки и ложки всех калибров. Здесь было стереометрическое царство совершенных окружностей, сфер и кривых. Дальше следовали лампы «Молнии», пятнадцатилинейки и семилинейки. В ожидании часа, когда им будет дарован собственный огонь, они заимствовали его у солнца, которое делили с серьгами и позументами, с пуговицами и абажурами, с лопатами и шлеями, с недоуздками, седлами, подпругами и хомутами, с лемехами и с брошками. А солнца хватало на всех, всех оно уравнивало, всем уделяло частицу своего неисчерпаемого пламени и великолепия.

Все эти предметы, такие незначительные и заношенные в обычном своем раздельном существовании, здесь вместе приобретали возвышенную яркость, торжественность и удаленность. Очищенные от копоти, от земли и скверны, они отвлекались от своих назначений, от мелочных и трудовых обязанностей. Кастрюли рождали представление о щитах и рыцарских доспехах, а не о супах. Здесь это были вещи вообще, мудрые и законченные произведения, созданные для самих себя или для того, чтобы радовать глаз и веселить душу. Они существовали, чтобы блистать. Не было другого назначения ни у этих бутылок в «Винторге» с их покатыми женскими плечами, ни у стекол в кооперативе.

Из государства блеска, стали и стекла Паша перешел в страну красок. Здесь грудами лежали ситцы заварные и запарные, набивные и печатные, всех колеров, мастей и оттенков. Оранжевые цветы горели на полушалках, озаряя шальным огнем окрестность. Малиновые, багровые, фиолетовые, синие с прочернью и желтые с прозеленью, переливались и разбегались узоры и орнаменты. Самый воздух был густо пересыпан красными и лазоревыми горошинами и разлинован в пронзительную, черную клетку.

Все это ходило ходуном, потрясаемое криками и плеском, все кружилось вокруг Паши, а он стоял в центре карусели и радостно поворачивался на все стороны, едва поспевая за ее быстрым и судорожным бегом. Кривые отблески и отражения проносились вокруг него расплываясь в общем гуле.

Множество отличных, острых и нужных вещей обступало его. Он останавливался возле них, трогал их, шевелил, разговаривал с ними. Он щупал сарпинку и вытяжки, пробовал ножи на волос, щелкал ногтем по звонким бронзовым дыням и по горшкам, дружески обнимал прохладные никкелированные самовары. Он купил большой складной нож с белым черенком. На лезвии его были вытравлены цветы и пальмовые листья. Он был с секретом, с пружиной, и Паша забавлялся, нажимая ее. Лезвие, лязгнув, отскакивало.

Паша отошел в сторону, где было меньше народу, и с ладони метнул нож в лежавшую на земле доску. Клинок глубоко вошел в дерево и задрожал. Сталь пылала и гудела. Паша выдернул его из доски и ударил наотмашь по воздуху, разрубив площадь пополам. Огненная черта оставалась за взлетающим и опускающимся ножом. Больно было смотреть на сконцентрированное, лучистое солнце, повисшее на острие.

Нож был тонок и наточен, сталь звонка, он годился резать хлеб, говядину, картофель, строгать палки, чинить карандаши, щепать лучину, драться. Он обрастал уменьями и свойствами, а вслед за ним и остальные. Из этих тарелок, расписанных розами и звездами, можно было кушать и вешать их на стену, топор годился колоть дрова, тесать колья, драть лыко. В эти высокие глянцевитые сапоги можно было обуться и пройти в них в последний осенний день по улице, наступая крепкими каблуками на хрупкий лист, на ломкие, промерзшие и похрустывающие веточки, на тонкий, прозрачный, как слюда, первый, еще неопытный и неокрепший лед. Вся звонкость и ясность поздней антоновской осени витала вокруг этих сапог. Смолистое парное дерево виднелось за топором. Сдобный пар всяческих снедей вздымался с тарелок. В вещах выражались события. Их делегировали сюда эпохи, профессии, времена года и города. Базар был географической картой жизни; проходя мимо него, Паша как бы проходил мимо страны, ощущая на себе ее дыхание, трепет и жар.

Здесь было все вооружение, так необходимое нам для ежедневной, победоносной и утомительной войны за хлеб и за счастье. И Паша, так долго стоявший в стороне от этой яростной и хлопотливой суеты, теперь тянулся к ней. Он хотел вмешаться в эту сутолоку великих и мелочных боев, в эту пахнущую потом и порохом гущу, итти в первом ряду, наносить удары и отбивать, быть таким же, как все, с громким голосом и резкими ухватками.

Множество простых и глубоких радостей, силуэты которых возникали из всех этих многочисленных вещей, разом стали ему милы и доступны.

Паша подошел к Валентине сзади. Он стоял за ее спиной и смотрел, как она, подняв вафлю и закинув голову, быстрым язычком слизывает мороженое, стараясь не уронить ни капли. Волосы ее рассыпались по плечам. Блузка, измятая в базарной толчее, сидела на ней криво и легко. Ее молодое и жаркое тело наперекор пробивалось сквозь ткань. Мороженщик за гривенник и синие глаза положил ей в вафлю все три сорта: желтое — лимонное, розовое — земляничное и шоколадное. Она откусывала поочередно от каждого сорта и смешивала все три на языке. Паша неожиданно для себя положил ей руку на плечо. Она с испугу засунула в рот все мороженое

сразу, вместе с облатками, на которых было написано «Миша» и «Земфирина». Валя повернулась к Паше и хотела что-то сказать, но мороженое ей помешало. От холода слезы навернулись у нее на глазах. Паша рассмеялся. Она сперва рассердилась, но потом тоже засмеялась вместе с ним. «Пашенька,— сказала она, слегка шепелявя,— милый, как меня испугал».

Они ели мороженое вместе, стоя рядом и держась за руки. Просторный синий день высился над ними. Прищуренными глазами глядел Паша вверх, принимая отборнейшие из наслаждений: осеннее солнце, сливочное мороженое и девичью ладонь. Улыбаясь он сосал мороженое, сжимал руку и подставлял осеннему зною шею и плечи.

Мыслей у него не было. Радостное бездумье владело им, и в то же время весь он был наполнен ощущениями. Все вмещалось в нем. Сознание его стало всеоб'емлющим. Оно было глубоко, как море или как зеркало. И как зеркало, оно вбирало в себя только внешнее, жило только беглыми и взволнованными отражениями.

Они под руку прошли к палатке «Оригинал». Здесь торговали бусами и побрякушками. Паша купил Валентине красные фальшивые кораллы за три рубля и сам надел ей на шею подарок.

У фотографа висели на гвоздях черкески. Как все гороблодатцы, Паша хотел сняться чеченцем. Через полчаса фотография была готова. Паша стоял весь в газырях и патронах, на фоне снеговых гор и замков Тамары. Вздернутый нос его и пластырь выглядывали из-под косматой папахи. Он обнимал Валентину, а она улыбалась, поглаживая с одинаковой нежностью его рукав и свои новые, красивые и дорогие бусы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

> Эпистемон улыбнулся на такую речь и сказал:
>
> — Нет лучше тени, чем тень от кухни, пара—чем пар от пирога, звона, чем звон столовой посуды.
>
> А Панург на это сказал:
>
> — Нет лучше тени, как от занавесок лучше пара, чем испарение от женской груди.
>
> *Франсуа Рабле*

Паша построил приспособление для мытья посуды. Тридцать жестких круглых щеток вращались в большом корыте, брызжа кипятком, ныряя и фыркая. Тридцать грязных тарелок закладывались в корыто за один раз, и все тридцать выходили оттуда через полминуты очищенными от греха и об'едков, сияющими и непорочными.

Вымытые тарелки стопками составляли на стол. Дымящаяся вода стекала с них, не оставляя следов, подобно тому, как стекала она с солнца, выходящего из моря в конце аллеи. Но Паша не думал ни об аллее, ни

о солнце. Он смотрел на тарелки, на то, как впитывается влага в набухшие желтые доски, и прикидывал, где бы утвердить стойку. В эту стойку можно будет складывать тарелки, устанавливая их на ребро. Тогда они станут высыхать скорее.

«Впрочем, эти полки можно повесить»,— подумал Паша.

Он потрепал корыто по плечу. Жест этот отличался от того, каким он прикасался к вещам на базаре или здесь на кухне. В том было только одобрение и оценка, в этом — похвала, уважение, и притом более уважение к себе, нежели к вещи, некоторое даже самоутверждение, пожалуй, заносчивость. Он был горд и признавался в этой гордости, не стыдясь ее и считая законной и уместной. Таким жестом артист ударяет себя в грудь. «Смотрите,— говорил он этим движением,— смотрите, вот вещь, сделанная мною, и она не хуже всех этих нужных и хозяйственных вещей, этого котла, топора, духового шкапа. Я могу уйти, умереть, уехать,— она останется, свидетельствуя о том, что я был».

Он отходил в сторону, заходя и так и этак, чтобы полюбоваться корытом в разных ракурсах, подбегал опять к нему, крутил ручку привода. Бряцанье фаянса, шарканье щеток, плеск воды — он мог по своему желанию вызывать их и прогонять. Это было уже настоящее, здесь фигурировали жесть, конский волос и дерево, а не легковесные и обманчивые материалы прежних его построек — удивление, радость, фанера и надежда. Он мог вертеть ручку, как хотел, быстрей или медленней, и от этой работы уставали руки. Вещь была раньше частью его самого, чем-то, что шевелилось внутри и что он только ощущал, с чем не мог разлучиться. Она проходила разные стадии. Сначала было неясное предчувствие, предощущение вещи, смутное сознание ее возможности. Затем она приобрела большую определенность, точность, место в пространстве и об'ем. Не созданная еще, она была уже сосчитана, взвешена, проверена. И вот, наконец, отделясь от него, она из идеального существования перешла в реальное, и деревянная, плохо выструганная ручка ее набивала мозоли на пашиных пальцах.

— Ты, Паша, еще постарался бы насчет вентиляции,— сказал ему заведующий и пожал руку.— Отдушина здесь ни черта не тянет.

— Постараюсь,— ответил Паша.— Я постараюсь, товарищ Хаз-Булат.

Он улыбался и чувствовал, что может все. Он был равен любому из них, из творцов этих умных и умелых машин и инструментов. Он сделал вещь, он видел ее работу и был счастлив.

Как и до поездки, бегал Паша с ведрами на колодец, и так же звенели ведра, ударяясь о тот же стеклянный осенний утренний воздух, так же налегал он на рукоять ворота, и пальцы его склеивались от пота и напряжения, так же он, ахая, высоко занося руки, колол легкие сосновые поленья и, отвертываясь от пара, разносил миски.

Но раньше он тщательно подбирался, устраняясь от того, что делал. Работали только его руки, его тело и какой-то особый, отгороженный участок сознания. Сейчас он каждой минуте отдавался целиком. Весь участвовал

он в каждом своем движении. Даже свои шаги он переживал, почти прочувствуя их. Материал, плоть мирозданья ощущал он вокруг себя и в себе. Он чувствовал, как воздух втекает в его легкие, густой и томный, поддающийся ощупи, как мир скрипит у него под ногами, когда он идет по усыпанной гравием аллее. Все, что он видел, представлялось ему частями огромного целого, все было из однородного и одинаково радующего материала: голоса и облака, топорище и волосы Валентины,— все это было одно и то же. Он проверял наощупь лунный свет и свои мысли.

Он слышал, как обращалась кровь в этом огромном организме, и кровь в его собственных жилах откликалась ей и билась с нею вместе. Наступая на землю, он ощущал колебания ее и дальние, еще неслышимые шумы. Он старался проникнуть в сущность вечных перемен, происходящих вокруг него. Он завидовал слепым — остроте их слуха, глухим — ясности их зрения, позволяющей им видеть и различать каждое в отдельности из колебаний колокольной меди, или речь, еще не сошедшую с губ. Вниманием старался он заменить эту остроту чувств. Он смотрел на вещи, как младенец или гениальный писатель, каждую он видел впервые. Паша хитрил. Он ловил врасплох мебель в своей комнате. Просыпаясь, он норовил взглянуть исподтишка, чуть приоткрыв один глаз, прикидываясь спящим. Он подглядывал за вещами, боясь спугнуть их, и в награду за осторожность они выдавали ему свои тайны.

Зеленый фаянсовый абажур четырежды отражался в самом себе. Мелкие тени испещряли комнату: тень гвоздя, тень оконного шпингалета, тень чернильницы.

По стране внимания вокруг своей комнаты он путешествовал с такой же прилежностью и интересом, с каким собирался путешествовать по дальним и пышным краям, и совершал не меньше открытий. Он пытался водворить в мире неподвижность. Выбрав один какой-нибудь уголок, он вглядывался в узор листьев и соответствующий ему узор света и теней на траве, вникал в сочетания куста и ветра, пытался проникнуть и запечатлеть навсегда контраст зелени и божьей коровки. Но движение крыльев, пролет облака, хруст травы на зубах близлежащей лошади, мгновенный запах жилья разрушали все, добавляя новый оттенок, или пятно, или призвук. В мире не было устойчивости, и Паша отказался от попыток изучить его и просто отдавался этой игре, этим бесчисленным вздрагиваниям и изменениям, включая себя в число участников и с любопытством наблюдая, как иногда поворотом головы он придает новую форму всему видимому и существующему, участвуя этим в общем неудержимом и едином потоке жизни, проносящемся через время, в пляске волн и отблесков на его поверхности. В этой игре он был равен той же божьей коровке или облаку, но равенство это не было унизительным, а обнадеживающим и радующим. Он жил теперь не всторонe, а в самой гуще предметов, сил, движений. При каждом всплеске воды в ведре радостно ударяло и его сердце, шум ветра наполнял не только его уши, но и сознание.

Соскочив утром с кровати, Паша распахивал окно в сад.

— Я пришел,— хотелось ему крикнуть.— Цветите же ярче, пойте громче, созревайте скорее и слаще! Вот я здесь, подле вас, ваш хозяин и слуга, повелитель ваш и товарищ. Я смотрю на вас и жду вас. Ты, груша, я сейчас сожму тебя так, что желтый, клейкий сок брызнет из-под твоей тонкой кожуры. Здравствуй, метла, сейчас ты заходишь по щебню, запоешь у меня в руках, вздымая пыль и скрип. Привет вам всем, я с вами!

Чувства эти теснились у него в груди, распирая ее, и он не находил для них слов. Он изливал их в работе. Он резал дерево, и руки его ходили с исступлением и восторгом. Сыпались опилки, звенела и скрипела пила, ритм движений и звуков подхватывал его и мчал вместе с собой. Он задыхался от множества речей и песен, подступающих к его горлу, для которых он не знал ни слов, ни мотива, и руки его двигались еще быстрей, еще судорожней, еще вдохновенней.

Он много ел. Он познал радость голода и вкусного обеда. Теплота из живота разливалась по всему телу, во рту оставался замечательный вкус жареной картошки. Для своих повар готовил ее особенным способом. Он резал картофель мельчайшими ломтиками, со спичку толщиной. Жарил он его на сале, так равномерно распределяя по сковородке, так умело и своевременно помешивая, что не было ни горелой, ни засушенной, ни с просырью. Картошка была золотая, розовая, коричневая, пахучая, покрытая мельчайшими пузырьками масла и воздуха, сочная, рассыпающаяся во рту и истаивающая на губах. Паша ел ее прямо со сковородки, нанизывая на вилку и макая хлеб в маслянистую, шипящую подливку.

Паша помогал Валентине варить варенье. Ноздреватая малиновая пена плавала и вскипала в тазу. Запах дыма и пьяной вишни облекал окрестность.

Они поочередно ели с одной ложки. Оглядываясь вокруг, они украдкой целовались клейкими губами, и сладость поцелуя удваивалась, включая в себя сладость вишневого варенья на патоке.

После работы Паша купался в Волге. Он, медленно остывая и похлопывая себя, раздевался на берегу и складывал одежду на большой горячий камень, а потом взбегал на привязанную лодку. Лодка вкрадчиво покачивалась, уходя из-под ног, но он добегал до кормы и головой вперед кидался в холодную воду. Отплевываясь и отдуваясь, выныривал он поодаль, ниже по течению, и на рôзмах, сильно ударяя руками, плыл на середину реки. Он доплывал до бакена и взбирался на него. Держась за деревянный треугольник, он высовывался из воды. Река шла на него, ударяя его в грудь и обтекая его с обеих сторон.

Еще он любил купаться в ветреные дни, когда мелкие, бугристые и мутные волны ходили по реке. Тогда он плавал на боку, высоко выставляя смуглое плечо, на котором волосы лежали, как густые эполеты. Волны то закрывали его с головой, то высвобождали до пояса, и он окунался поочередно в воду и в воздух.

Иногда же он входил в глубину медленно, скрестив на груди руки и затаив дыхание. Когда он погружался по колено, ему сдавалось, что ноги

у него по колено отпилены ледяной пилой. Пересиливая себя, он медленно шел дальше...

Темнота, как глыба, лежала в комнате. Но вот поднялась луна и рассекла ее на части. Луна создавала предметы. Она поставила комод и расчертила его белыми полосами, окружила комнату стенами и расписала их фресками, разбросала свет, как половики.

— Что это на табуретке? — спросила Валентина, садясь на кровати. Одеяло и рубашка соскользнули с ее плеча, и лямка врезалась в локоть, сковав ее.

Рядом с Пашей остался только оттиск ее спины и шеи на подушке да выпавшая из прически гребенка.

— Это моя машина. Не та, что моет посуду, а с которой я ездил. Так, вздор.

Валентина вскочила. Ноги ее ушли в перину. Луна опоясывала ее и поддерживала. Рубашка кружилась и завивалась вокруг нее. Она присела на корточки, и рубашка эта, наполненная ее телом и теплом его, колоколом встала вокруг нее. Валентина ткнула пальцем в колесо, и оно завертелось. Паша схватил ее за плечи.— Брось,— сказал он и, стервенея от наслаждения, потянул ее к себе. Что-то резкое и слепящее обожгло их обоих и, вскрикнув, они упали вместе.

Колесо вертелось долго и так же долго длилось об'ятие. Когда Паша снова смог что-нибудь замечать, он заметил, что машина стоит.

Они лежали втроем. Между Валентиной и Пашей, раз'единяя их и соединяя ближе самого страстного об'ятия, лежала счастливая и томная усталость. Успокоенные и доверчивые, они склоняли друг другу голову на плечо и шептали тихие, ласковые слова. Нежность до боли переполняла их.

Паша снова толкнул колесо, и оно пошло опять, силясь доказать возможность вечного движения, и опять ни Паша, ни Валентина не видели, как оно остановилось.

Наутро Паша проводил Валентину до кладбища. Они шли медленно. Паша пошатывался и нетвердо держался на ногах. Кожа у него на груди и на всем теле горела.

Прощаясь, Паша еще раз обнял Валентину и, немного отстранив от себя, заглянул ей в истомленные, полные радостного изумления глаза, плавающие в глубокой синеве. Искры сверкали в них, как золото в кварце. Его желтые, ясные глаза были окружены той же синевой, как облаком.

Долго стояли они обнявшись, и хотя вокруг был день, небо было сине и земля зелена,— для них еще длилась ночь, их первая ночь, полная поцелуев и бешенства. Об'ятие их было так плотно, что ни муха, ни солнечный луч не проскользнули бы между ними...

Паша сидел на кладбище, прислонясь к кресту с надписью: «Кандидат ВКП(б) т. Рогожин». Кандидат спал мирно под сенью склоненных молодых тополей.

Здесь, на кладбище, кончается мой рассказ о человеке, который однажды утром увидел мир и изумился. Все несчастья его обернулись счастьями. Он узнал счастье работы и отдыха, счастье стоять рядом с девушкой и грустное счастье разлуки. Счастье ясного бодрствования и крепкого сна. Все радости, от которых он так долго и так тщетно отрекался, были у него. Не нужны ему стали ни слава, ни это беспокойство, ни эти тягостные и неумеренные стремления.

Он ездил искать счастья, а оно ждало его здесь, за углом, в переулке. И вот он нашел его и счастлив.

Или, может быть, это просто минула молодость?

Пятьсот тысяч

Р. Эйдеман

Да, горы здесь замечательные. Между ними городок с целебными источниками, словно горсточка пестрых камешков на огромной ладони. Горы — уступами. Из парка по сосняку подымаюсь в гору, опираясь на палку, мимо запыхавшихся людей. Гору и дорогу с красными скалами словно ласточкины гнезда облепили маленькие дощатые кофейни и духанчики. Больные и дачники пьют здесь кефир и айрак, наслаждаясь горным воздухом.

А за сосновой горкой и красными скалами — высокие горы и дикие скалы. Над кручами, как виноградные гроздья, висят стада коз. Горы растут уступами. По зеленым террасам, как по огромным ступеням, я часто взбираюсь наверх любоваться снежными вершинами и избавляюсь от назойливых дачников и кофеен.

Последний духанчик называется «Красное солнышко» — предельный пункт, до которого без ущерба для больного сердца могут добраться задыхающиеся люди. По вечерам они здесь пьют айрак и любуются закатом, более ярким, чем на севере. Внизу, в городе, уже зажигаются огни, но на окнах горного духанчика еще рдеет закат...

Как-то вечером я, положив рядом с собой на скамью палку и шляпу, пил айрак и ждал заката, чтобы потом спуститься в парк, где под липами стонет симфонический оркестр.

У духанщика нас было двое: я и седой, как яблоня в цвету, донецкий углекоп. Нас было только двое; внизу, в парке, был праздник с необычным концертом.

Мы сидели вдвоем, наблюдая закат. Вдруг на гору обрушилась целая туча людей. Впереди, вооруженные палками, шли четыре подростка в альпийских шапочках, нестерпимо шумя. Вскоре за ними из-за горы показались еще три человека. Двое из них, несомненно, родители подростков. В третьем человеке — в строгой, важной даме с очками и бесцветными волосами, высоко подобранными под хвастливые гребенки,— нетрудно было угадать традиционную гувернантку-англичанку. Очень важно прозвучало ее английское замечание зеленым шапочкам.

— Флаг сильно выцвел, моя милая: из красного он превратился в розовый, — на ломаном французском языке сказал мужчина. Он говорил сильно задыхаясь, хотя на ногах у него красовались длинные чулки туриста.

Я невольно покосился на флаг, развевавшийся над духанчиком на длинном шесте. Да, флаг действительно был когда-то красным, но, полиняв под солнцем и дождем, стал розовым, как щеки и затылок седого господина.

— Они сами теперь розовые, сами полиняли, — ответила дама довольно еще моложавая и улыбающаяся. Увидев меня, она перестала улыбаться и нервно задолбила зонтиком по камню. Хитрая Ева — она догадалась, что я понял их ломаный французский язык.

— Иван Петрович, посмотрите на Эльбрус. Как хорошо его видно сегодня, — звонко сказала она по-русски.

Я взглянул. Эльбрус был действительно великолепен. Выпятив два белых рога над потухающими зелеными вершинами, он смотрел на нас как всегда, любопытно и иронически.

Солнце заходило. Казалось, рядом с Эльбрусом огромный, как сам Эльбрус, вырастает с красным знаменем в руках Петр Вилк — один из бесчисленных знаменосцев революции. Знамя багровое, как закат. А от знамени на эльбрусские снега падают красные блики, как кровавые рубины.

Я встал и сказал:

— Но закат сегодня красный, как революция.

Я увидел, как округлился рот круглого господина. Но я вихрем помчался вниз, не расслышав слов круглого господина. Я торопился написать этот рассказ про Петра Вилка и про революцию, даже в будни свои огненно-красную, как кровавые рубины.

Первый сказ—о большом и маленьком

Я сказал про Петра Вилка, что он огромный. Понятно, с Эльбрусом его сравнить никак нельзя. Ростом он семи футов, плотный, плечистый, басистый, с грубыми чертами лица. Волосы он стрижет всегда коротко, и голова его кажется четырехугольным, тяжелым куском гранита на плечах.

До революции пятого года, до двадцатипятилетнего возраста, Петр Вилк был рыбаком в Салацгриве, служа с самого детства верой и правдой предпринимателю и хозяину-богачу Давиду Калнину (с таким голосом, как у Петра Вилка, я уверен, перекричишь и ветер на море).

Осенью, в слякоть, когда дождь мешается со снегом, а соленый ветер на море режет лицо, Петр Вилк окоченевшими от холода руками тянул сети через обледенелый борт лодки. Руки у него до сих пор красные, из'еденные морской соленой водой, огромные, как звериные лапы. Да, с такими лапами не пошутишь. С ними вздумал пошутить в пятом году салацгривский урядник, но так и остался лежать на камнях у корчмы Спричe. От мозгов его пошел пар в осеннем воздухе... А Петр Вилк с тех пор стал революционером, о котором с ужасом вспоминают до сих пор и «честный» Давид Калнин и «честные» салацгривские граждане.

— Когда ноздри Петра Вилка дрожат, как ноздри хорошего охотничьего пса,— берегись и следи за лапами морского зверя. Ноздри Вилка крупные, нервные, привыкшие к крепкому морскому воздуху.

— Вот так латыш! — говорили о нем русские товарищи. На каторге, в Канске на ссылке и позже на митингах, конгрессах, собраниях удивлялись его богатырскому росту, трогали его огромные красные лапы.

Возможно, Вилк виной тому, что теперь в Союзе считают латышом всякого высокого, плотного, светловолосого человека со светлоголубыми, как полинявшие васильки, глазами. Или латышские стрелки, в которых было собрано все духовно и физически сильное из латышского народа, породили в советской земле легенду о народе великанов?

Когда при встрече я кладу мою руку на красную ладонь Вилка, мне моя рука кажется маленькой, слабой, увядшей, как тепличный цветок.

— Без сентиментальностей! К делу. Что делаешь, парень? — гудит Вилк, как из бочки, мне навстречу.

В его голосе я слышу море, такое тесное теперь от бесчисленного множества мелких демократических республик вокруг него, я снова слышу бурный простор этого моря в его голосе.

Легенду о латышах, как о великанах, я все же хочу опровергнуть. В интересах правды, понятно.

Взять хотя бы Яна Капара. Он живет в том же уездном городке, где и Вилк. Ян Капар совсем не свидетельствует об огромном росте латышей — он среднего роста. Если смотреть на него сбоку, его фигура напоминает вопросительный знак. Наденьте на этот вопросительный знак брюки, нацепите очки и вы получите портрет Яна Капара, когда он, скинув пиджак, играет в футбол.

В том же уезде, где Вилк уже третий год предисполкома, Капар редактирует местную газету. Поэтому он причисляет себя к литераторам и тайно пописывает поэмы.

И как-то случалось так: Капар, дергаясь, жестикулируя, с пафосом читал Вилку одну из своих поэм. И тогда уже он напоминал собой не вопросительный, но полный пафоса и крика восклицательный знак. Вдруг поверх очков он взглянул на Вилка и согнулся еще больше, чем обычно, словно на плечи ему легла всей своей тяжестью лапа Вилка. Вилк беззвучно смеялся, повернувшись на стуле. Смех душил его, потом прорвался громким хохотом, как прорывается внезапно струя фонтана.

— Совсем уморил ты меня, Ян, — басил Вилк, — уморил. Что это у тебя за космосы? Не лучше ли было бы про эскимосов?

Успокоившись, он добавил:

— Брось все в печку и больше не стихоплетствуй... ей-богу, не стихоплетствуй. А если вздумаешь, лучше уж про тракторы. Чудесная тема.

Вилк в ту минуту думал о тракторах, которые переворачивают в деревне все старые устои, как целину. Лукаво, вопросительно посмотрел на Капара. Но тот уже надевал и никак не мог надеть свою широкополую шляпу художника.

— Будь здоров. Ты... ты, Вилк, ничего не понимаешь в поэзии... Будь здоров!

— Не сердись, Ян! Давай лучше выпьем чаю.

Вилк насильно потащил к столу сердитого, нахохлившегося поэта, как тот ни упирался. Ведь Вилк умел быть и ласковым. Но Капар никогда уже не читал ему своих поэм...

Еще о Капаре. Он считался в уездном городе самым ученым марксистом и непревзойденным лектором об открытиях профессора Павлова в вопросах рефлексологии.

Прошлое Капара полно исканий, неспокойное. Его вопросительный знак метался и в религиозно-мистических высотах, и в мягкотелом либерализме Толстого, и в анархизме, отдыхая периодически под сенью Маркса. С девятнадцатого года Капар стал ортодоксальным марксистом, что никогда не мешало ему, как говорил в шутку Вилк, поскользнуться на апельсинной корке. Ян Капар ходил по городу, сгорбившись под тяжестью своей мудрости.

Вилк любил рассказывать про такой случай с Яном Капаром.

Как-то Капар созвал конференцию рабкоров. Сам собирался делать доклад о задачах рабкоров и селькоров. Тема, по уверению Вилка, не требующая никакой философии.

Но как тогда говорил Капар! Так и сыпал иностранными словами, даже Спинозу приплел. Когда кончил, спросил, есть ли у кого вопросы. Вопросов не оказалось.

— Не может быть,— дулся Капар: — серьезная тема и ни одного вопроса. Недопустимая пассивность. Прямо стыд...

Наконец, встал рабочий-коммунист и, почесывая затылок, сказал, двусмысленно улыбаясь:

— Товарищ Капар, ей-богу, ничего не поняли. Не можешь ли перевести свой доклад на русский язык?

— Ха-ха-ха!..

Рассыпался смех, словно взлетела стая испуганных воробьев с телеграфной проволоки.

Вилк все же считал, что Капар редактор и организатор хороший. Недаром в годы исканий Капар просидел целых шесть месяцев в газете Эмилии Эльк «Яунакс Зиняс»[1]. Просидеть в «Яунакс Зиняс» шесть месяцев — не пустяк. Тут нужно выдержку и терпеливый нос, как у Капара (потому у него постоянный насморк). Это — школа.

Про Капара хватит. Я хочу еще доказать, что латыши совсем не народ великанов. Я хочу рассказать об Анне Вилк, жене Петра Вилка.

Анна... Анна была...

Анна Вилк

Анна Вилк была небольшая, полная женщина (вот и докажите, что латыши великаны!), всегда гладко причесанная, всегда румяная и, мне кажется, всегда улыбающаяся. Румянец ее не погасили ни четыре года тюрьмы, ни сибирская ссылка (в Сибири она встретилась с Вилком).

[1] Бульварная газета, выходящая в Риге.

Незабываемые, великие, полные ужасов годы... Гражданская война, фронты, голод и тиф. Фронты огромными цепями бросало взад и вперед. Нелегко было землемерам революции определить первые границы советской земли. Как нужны были тогда улыбающиеся люди!

Анна работала в партийном комитете, заведывала женотделом. Она везде — в отделе, в клубах, на митингах... Подвижная водоросль в великих водах времени. А дома она такая улыбающаяся и гостеприимная, что замерзший в своей мудрости (не потому ли у него постоянно насморк?) Ян Капар никогда не пройдет мимо, не завернув в дом, где живет предисполкома.

— Я люблю тебя, Анна! — как-то признался Капар.

— Не будь сентиментальным, Капар! — ударила Анна кухонным полотенцем по его жадно протянутым рукам. (У Анны за время жизни с Вилком вырабатывались общие с ним выражения.)

...Вилк с Капаром разговаривают мудро, вернее, разговаривает Капар, а Вилк, сбросив непромокаемые сапоги, сидит, вытянув ноги. Ему через полчаса итти на митинг. Время от времени он из вежливости покрякивает.

— Видишь вот это? — поднимает Капар крышку чернильницы.

— На что тут глядеть — ворчит Вилк, — тут все понятно.

Очки Капара сверкают победно.

— Вот видишь, Вилк, ты о таком пустяке и говорить не хочешь. Крышка эта весом в 4—5 лотов, об'ем ее 2—3 сантиметра. Об'ем земли в миллиард раз больше. И все же по сравнению с землей получится какое-то число. Допустим, что эта вещичка составляет, скажем, триллионную часть земного шара. Ну, разве не огромная штука земной шар? Огромная, — говорит Капар, сверкнув очками на Вилка и демонически улыбаясь. Он научился такой улыбке в редакции «Яунакас Зиняс» Эмилии Эльк, где в свое время находили себе гостеприимный приют все представители латышского декадентства.

— Ну-ну, без сентиментальностей! — ворчит Вилк.

— Хорошо, хорошо... Если ты, Вилк, сравнишь огромный земной шар со всей вселенной, с ее бесчисленными солнцами, звездами, со всеми планетами, получится, что нет такого числа, чтобы выразить сравнение с землей, настолько ничтожна огромная земля. Астрономы слишком близоруки. За их звездами — бесчисленные звезды и миры, неизмеримые звездные бездны... Ей-богу, Вилк, человек не в силах постичь эту бесконечность. Человек привык к предметам и ценностям, которые можно сравнить, измерить и взвесить. Он любит представлять себе, что вокруг земли, скажем, не бесконечность, а стена. Ну, хорошо, стена. А за стеной что? Что за стеной?

Вилк очнулся от дремоты, поднял тяжелые веки и спокойно посмотрел на Капара.

— Что за стеной?.. Спальня бога.

— Спальня? Ну, ладно, что-нибудь должно быть за стеной. Не может быть такой стены, за которой ничего нет. А теперь сравним свою землю с бесконечностью вселенной.

И Капар рисует какой-то знак, напоминающий Вилку восьмерку.

— Восемь? Гм, гм... — вспомнил вдруг Вилк и ищет часы: — в восемь мне на митинг.

— Нет, нет! — почти кричит в замешательстве Капар.

— Или это крендель? — улыбается Вилк: — крендель вещь хорошая. Я в детстве, в Салацгриве, как-то об'елся кренделей с сосисками...

— Это знак, которым в математике обозначается бесконечность, неопределимая цифрами. Бесконечность... Есть ли человек, у которого не закружилась бы голова и не дрогнуло бы сердце при мысли о бесконечности, как сказал какой-то немецкий поэт.

Тут Капар сознательно солгал, взваливая свою бесконечность на плечи немецкого народа, и так подавленного версальским миром.

— Поэтому-то, Петр, большинство людей еще сейчас вешает на бога, как на крючок, все свои проклятые вопросы о вечности, вселенной и жизни.

Ян Капар, увлеченный своей глубокомысленной речью, говорит все с бóльшим пафосом. Вдруг с треском отворяется кухонная дверь, и с дымящейся миской в руках входит румяная, улыбающаяся Анна.

— Нам с матерью сегодня удивительно удались лепешки, — обрывают улыбающиеся губы ловкую речь Капара.

— Ты мещанка, Анна, — говорит сердито Капар.

— Не знаю, кто из нас больше мещанин, — отрезает Анна, — сентиментален ты, Капар, вот что.

— Ешь, сынок, ешь, сынок! — угощает Капара мать Анны. Она стоит на пороге кухни, вытирая о передник руки. И в отблеске очага она кажется моложе, румяная, как кирпич. Она тоже невелика ростом, может быть, годы легли тяжелым бременем на ее плечи и сгорбленную спину. К старости люди уже растут в землю. Она подвижная, маленькая старушка, сухонькая, как засохший цветок барбариса.

— Ешь, Ян, — приветливо рычит Вилк, накладывая верхом тарелку Капара. В его голосе ветры и простор моря.

Второй сказ—про любовь

Я хочу рассказать о любви...

Любовь — это вроде апельсинных корок, на которых скользит Ян Капар. О любви говорить нелегко. Я не моралист и не хочу ни оправдывать, ни порицать любовь. Я буду говорить только о любви двоих — Петра и Анны Вилк.

В городе, где живет Вилк, два кафе. Каждый вечер там до поздней ночи под аккомпанимент рояля плачут о любви скрипки. И каждую ночь губы женщин, как фонари, пылают жаждой. Сердца женщин из кафэ, как меблированные комнаты. Но Петр Вилк не провел ни одной бредовой ночи в меблированных сердцах ни в этом, ни в других городах. Петр Вилк не знает ночных развлечений, в которых проходит истеричная, отравленная скрипками и наркозами ночь. Вилк наивен, прост и примитивен в своей любви.

Мнения о любви у них с Капаром расходятся.

— Жизнь любит перемены, многокрасочность. Почему тебе нравится радуга после серого дождливого дня? Не потому ли, что она такая яркая? Ей-богу, Петр, я не понимаю тебя. Попробуй каждый день есть одну и ту же кашу, уверяю, что она надоест тебе смертельно, — говорит Капар. Он сосет папироску, одурманиваясь от мыслей об орхидеях и гиацинтах своей теплицы.

Петр Вилк и в самом деле не понимает.

— Я десять лет ел одну и ту же кашу на рыбной ловле у Давида Калнина. К чести его сказать, порядочный был хозяин, умел ценить здоровье батрака. Хотя у него и был сепаратор, он никогда не следовал примеру тех хозяев, которые варили батракам кашу на снятом молоке, зато и меняли батраков чуть ли не каждый месяц. Возвращаясь с рыбной ловли, я всегда с большой охотой принимался за кашу, особенно осенью и зимой.

Вилк, казалось, говорил серьезно. Только в морщинках у глаз мелькала улыбка.

Вилк, должно быть, и сам не знал, что рост его заставлял трепетать многие и многие женские сердца в городе. (Понятно, немало действовало тут и его служебное положение.) Когда он заходил в учреждения, над ремингтонами лились навстречу лучи жгучего коричневого солнца и расцветали синие васильки. Но Петр Вилк оставался бесчувственным, словно кожа его загрубела от жгучих ветров и соленого моря, как лапти, которые он носил у Давида Калнина. Цельным был Петр Вилк, и цельной была его любовь к Анне.

Когда затихли фронты, и города на своих ложах страданий воспрянули от разных известных и неизвестных тифов, Вилк и Анна стали подумывать о ребенке.

Как-то в зимний день Анна робко сказала:

— Мне кажется... на этот раз будет.

— Ты думаешь? — радостно блеснули глаза Вилка.

Через несколько дней Анна сказала:

— Теперь я знаю, теперь будет...

Оба они следили, как набухал весенней почкой живот Анны.

— Я набухаю очень быстро. Врач говорит, что будет крупный ребенок. Должно быть, мальчик...

— Петр, послушай! — прижала как-то Анна к своему животу колючую голову Вилка.

— Ты слышишь что-нибудь?

— Слышу.

— Там бьется сердце?

— Да.

Вилк, ухо которого привыкло на море слышать приближение далекой бури, на этот раз лгал: он ничего не слышал. И часто приходилось ему лгать: «Слышу».

Ян Капар к полноте Анны относился с осуждением.

— Ты стала мещанкой, Анна. Еще нехватало, чтобы на сороковом году жизни ты родила ребенка.

Анна не сердилась, шутила в ответ:

— Одного нехватит. Мы с Вилком решили продолжать.

Анна гордилась своей беременностью. Она носила свой живот, как знаменосец знамя — в клубы, на заседания, на митинги. И распускалась сама с неожиданной, почти юношеской свежестью и силой.

Третий сказ—про бесплодие

Год, плодородный для Анны, был неурожайным. Лето прошло в мареве. Солнце горячими лучами сожгло крестьянские нивы. Даже озимые — эта надежда крестьян в долгие зимние ночи — сгорели на солнце. Огромное, красное висело оно над землей. До поздней осени трескалась земля от засухи. Реки высыхали в своих руслах. От них не веяло свежестью, а несло запахом гнили и тины.

Деревни ушли в себя, как улитки. Вечерами не сверкали в них огни, не раздавались песни. Был один ужас перед завтрашним днем.

С февраля во многих деревнях не стало хватать хлеба. С февраля пришлось думать о весеннем севе. Что будешь сеять, когда хлеб приходится есть с корой?

Забота все росла. Из деревень в города ползли ужасные слухи. Уездные работники спали, не раздеваясь, с оружием в руках, все вместе. Атмосфера была тяжелая.

В это глухое время проснулся, незаметный в годы войны эсер, Гришин. Откуда? Что у него за силы?

— Видите, до чего вас довели коммунисты? Обещали хлеба — дали голод.

«Бейте коммунистов» писала на всех углах мелом и карандашом неведомая рука (очевидно, типографии у Гришина не было).

Крестьяне читали по складам и, вздыхая, уходили. Когда же конец всему этому?

Гришин — словно звонкий колокольчик. Из волсовета в волсовет пошли слухи, что Гришин собирает полки и дивизии. От этих слухов ширились глаза. А у Гришина вначале было только четыре помощника.

— Рвите телефонные провода!

— Валите столбы!

— Бросайте гранаты в волсоветы!

— Шумите, шумите! Вас четыре человека, а шумите так, словно вас четыре тысячи!

И неудивительно, что эти четверо и вырастали в четыре тысячи по беспроволочному телеграфу, когда рвались телефонные и телеграфные провода.

***

С самой весны Вилк вел переговоры с губернским центром.

— Семня для весеннего сева! По строгому подсчету, не меньше шестнадцати тысяч тонн!

Но губернские запасы были тощие, и Вилку было обещено не больше тысячи тонн.

Вилк припугнул губернию Гришиным, покричал о нем в глухие уши, попугал голодными бунтами. В конце марта, когда подходило время посева, в деревнях орудовали попы, организуя крестные ходы, и гришинские отряды, по слухам, сильно увеличились, в исполкоме стало известно:

из центра будет десять тысяч тонн для весеннего сева.

Не шестнадцать, как требовал Вилк, и все же неожиданно много.

***

Исполком начал следить за маршрутами зерна. Ждали их в начале апреля.

Весна была ранняя и дождливая. С посевом сильно запаздывали. Поэтому десять тысяч тонн по расчету Вилка следовало разделить самое большее в десять дней. В первую очередь вызвать дальние уезды.

Вилк и заведующий уездным земельным отделом целыми днями обсуждали, рассчитывали, рассылали извещения по уездам. Разделить пятьсот тысяч в десять дней — дело нелегкое. Уезд большой, железнодорожных станций мало, железная дорога охватывала только уголок уезда с самым городом. Поневоле бо́льшую часть зерна приходилось выгружать на станции уездного города. И еще беда: зерно выгружали прямо на крестьянские подводы — элеватор сгорел в годы гражданской войны.

Шел теплый апрельский дождь, когда под звуки оркестра под'ехал первый маршрут. Все партийные организации собрались на станции. Не утерпела, пришла и Анна Вилк. Сначала был митинг с теплыми, как апрельский дождик, словами, гревшими сердца. После митинга. Вилк с секретарем парткома вынесли первый мешок.

С веселыми криками бросились люди в вагоны. Тут же на станции делили зерно, и отощавшие крестьянские лошади, тяжело сопя, развозили мешки по уездному простору.

И Анна в толпе. Не удержится, приподнимает за угол то один, то другой мешок. Знакомые товарищи отталкивают:

— Ну, ты не суйся! Тебе нельзя!

Анна смеется. Не хочется ей уходить.

Люди, дождь, мокрые крыши, грязь у станции, дымящиеся лошади — все по-весеннему теплое.

Четвертый сказ—о сломанном знамени

Все еще стоял весенний туман. Над городом кричали пасхальные колокола. А вокруг станции нескончаемая толпа: крестьянские подводы, ржание лошадей, почуявших запах зерна, которым в те дни пропитался весь воздух.

Пять дней шел базар у вокзала, а роздали только сто тридцать тысяч пудов. Вилк, охрипший, злой, метался по исполкому, от исполкома — к партийному комитету, от парткома — к станции. Все партийцы были мобилизованы к весам и раздаче зерна. И все же дело шло медленнее, чем этого хотелось Вилку. Так нельзя было. В дело пустили три грузовых автомобиля, имевшихся при исполкоме. Но по раз'езженным, изрытым дорогам две машины

застряли на девятой версте от города, а третья машина сломалась у станции. Вилк угрожал шоферам отдать их под суд.

— Саботаж! Пасху праздновать хотите? Нарочно сломали машины.

Энергия Вилка разливалась по городу весенним ливнем. Несколько митингов в день у станции, заседания в парткоме, работа в исполкоме. И еще успевал принимать участие в раздаче зерна и погрузке.

Раздача зерна шла медленно, но результат сказался. Попы в деревнях не ходили уже с крестным ходом. В деревнях усиленно пахали. У кого не было лошадей — те сами тащили плуги — и большой, и малый, спотыкаясь от усталости и голода.

Гришина поймали сами крестьяне после того, как он разрушил железнодорожное полотно, по которому паровозы, весело гудя, развозили зерно. До губернского города Гришина крестьяне не довезли: втоптали сердитыми сапогами в набухавшую весной землю.

В первый день пасхи Вилк забежал домой на минутку пожевать что-нибудь и не застал Анны дома. Двоюродный брат Анны, Вилис, приехавший на каникулы из Москвы, возился со своим гербарием.

— Где Анна?

— Ушла к доктору.

— Почему?

— Не знаю... Говорит, ничего нет серьезного.

Вилис, посвистывая, снова занялся гербарием.

Когда Вилк поел, к нему подсела мать и стала тихо рассказывать, чтобы Вилис не слышал:

— У Анны показалась кровь... Она страшно испугалась... Но, может быть, все обойдется. Так иногда бывает.

И, рассказывая, теребила костлявыми желтыми пальцами оставшиеся на столе хлебные крошки.

Вилк совсем спокойно ушел в исполком на об'единенное заседание с приехавшими крестьянскими делегатами. И только успел открыть заседание, как секретарь взволнованно зашептал ему на ухо:

— Звонили из городской больницы... Ваша жена там... Операция... Главврач просит вас немедленно явиться.

Вилк вынул часы.

— Извините, товарищи... Я буду через полчаса. Продолжайте заседание без меня.

Как бешеный помчался Вилк на извозчике. Городская больница. Швейцар, как видно, ждал его с белым халатом в руках. Вопросительно-сочувствующе смотрел на него, помогая одеть халат. Молча пошли по коридору. Почему шаги так пугающе неслышны? Да, дорожка на полу. По обеим сторонам двери. Где же Анна? Какая-то дверь широко открыта. Вилк невольно заглянул в нее. Большая, светлая комната. Неприятная, яркая белизна. Неприятный, резкий запах карболки. Сестра дезинфицирует инструменты. Стол пустой. Кого-то положат на него... Мысль Вилка быстрая, острая, как форель в горной реке.

Рядом с операционной — кабинет главврача. Вилка встретил там седой, вз'ерошенный человек в очках — сама воплощенная мудрость. Независимость в движениях, в разговоре.

— Ваша жена Анна Вилк?

Он даже забыл предложить Вилку стул. Вилк без приглашения тяжело опустился. Устал.

Главврач в свое время был очень известный профессор в Петербурге. В девятнадцатом году бежал от голода и застрял в уездном городе.

Главврач смотрел на Вилка пустыми, холодными, всезнающими глазами и монотонно, равнодушно рассказывал:

— Плохо... Немедленно нужна была операция... Возможно, что уже поздно. Надо спасать мать. Ребенок уже погиб... Больная отказывается оперироваться, но через час операция уже не поможет.

— Почему это случилось? — спрашивает Вилк.

— Почему, почему? — нервно, чуть ли не передразнивая, резко отрывает профессор. — Не береглась. Наверное, бегала по заседаниям, не умела ограничить свою работу. Может быть, подняла что-нибудь тяжелое. В ее возрасте беременная женщина должна беречься.

Вилк покраснел. Он чувствовал себя побитым мальчишкой перед этим мудрым, вз'ерошенным, равнодушным человеком.

— Вы должны уговорить ее оперироваться. Попробуем ее спасти, но... ручаться за исход нельзя. Пришла, истекая кровью.

И профессор ушел готовиться к операции.

Сестра, готовившая в операционной инструменты, повела Вилка к Анне. Анна лежала побледневшая, как полотно, в волнах темных волос.

Вилк, растерянный, не находит слов.

— Ничего, Анна, все обойдется. Не волнуйся. Ты, наверное, много крови потеряла?

Анна молчит. Вилк видит, как взволнованно дышит она под тонким одеялом.

— Анна, будь благоразумна. Тебе нужна немедленная операция... Да, да. Не возражай, Анна, прошу тебя.

Анна, стиснув зубы, поворачивается к стене.

— Нет, не могу.

— Анна, ребенок погиб.

— Нет, я его чувствую. Он шевелится.

— Профессор сказал — погиб. Надо спасать мать.

Вилк говорит долго, тепло, просяще. Рука его гладит вспотевшее лицо Анны. Анна должна жить, несмотря на несчастье. Ведь может быть еще и другой ребенок.

— Послушай, Петр, ты ничего не слышишь?

Вилк прикладывает ухо к ее животу и слышит только, как пульсирует его собственная кровь в ушах. Поэтому он не лжет, когда говорит:

— Ничего не слышу.

— Он уже не дышит, Петр?

— Уже не дышит.

Анна кажется Вилку жалкой, маленькой. Бедный знаменосец, потерявший свое знамя!

...Снова бешено мчится лошадь по улицам. Вилк, всегда аккуратный, опоздал на десять минут.

— Извиняюсь, товарищи.

Как всегда, ведет он собрание спокойно, уравновешенно, внимательно.

В снятой телефонной трубке все время трещит взволнованный звонок.

Потом все было так...

Собрание уже кончалось, когда прибежал взволнованный, дрожащий Вилис. Вызвал Вилка.

— Анна... Анна... — дрожали его губы.

— Умерла?.. Подожди немного здесь, Вилис.

Вилк? сам удивился, как странно-спокойно он это сказал.

Заседание продолжалось еще минут пятнадцать. Вилис бегал по комнатам, как раз'яренный зверь. Бегал и чувствовал, как в нем поднималась неприязнь к Вилку. Что это все значит? Разве это не насмешка над горем матери и Вилиса, над смертью Анны?

Пятый сказ—про колосья

Была назначена комиссия по организации похорон во главе с Яном Капаром. На следующий день Анна уже лежала в красном гробу, вся в цветах, во Дворце труда. Товарищи, пыльные, приходили сразу после дежурства на станции стоять в почетном карауле у гроба.

Когда Вилк забегал во Дворец труда, Капар всегда встречал его с заметным сочувствием.

— Крепись, друг, — говорил он, пожимая руку Вилка. Стекла его очков всегда потели при этом.

Капар был недоволен, что Вилк так спокоен.

— Мне кажется, что Вилк мало любил Анну, — выразил Капар свое подозрение Вилису.

— Разве такой тюфяк умеет любить? — отрезал Вилис.

А Вилк, наружно спокойный, метался от пятисот тысяч пудов к гробу и повторял себе, стиснув зубы:

— Коммунист не смеет быть тряпкой.

Он твердо, как и раньше, руководил людским потоком от станции к деревням, где нивы раскрыли свое чрево навстречу любви сеятеля.

На третий день хоронили Анну. В тот день Вилк на станцию не ходил. Он был во Дворце труда и сердил Капара своим вмешательством в похороны.

— Похороны коммунистов должны быть агитационными. Есть ли оратор от крестьян? Часть крестьян, ожидающих очереди у станции, могла бы тоже принять участие в процессии. Есть ли список пожелавших выступать? К чему столько цветов? Ведь это расточительность.

Капар едва сдерживал свой гнев против Вилка.

Когда гроб понесли на руках во главе процессии, вдруг заблестело солнце. В лужах под ногами людей дробилось небо с белыми, совсем летними облачками.

Капар шагал рядом с Вилком.

— Да, умерла... Мы прекрасно знаем, что смерть — это переход материи из организованного состояния в неорганизованное. И все же смерть всегда потрясает.

Вилк молчал. Капар решил затронуть другую струну.

— Крепись, друг... Анна была редким человеком в наше время. Наши женщини однобоки. Анна же сочетала в себе женщину-революционерку с женщиной-матерью.

— Да-а-а-а, — протянул раздумчиво Вилк. Его сердило навязчивое сочувствие Капара. Заметив впереди себя маленького заведующего уездным земельным отделом, Вилк вспомнил вдруг, что сегодня еще не был на станции.

— Ну, как дела?

Тот не понял. Сделал грустное лицо, сочувственно покачал головой.

— Я спрашиваю, как подвигается раздача?

— Раздача? Сегодня дадим шестьдесят тысяч пудов.

— Хорошо. А мобилизация?

— Достали шестьдесят подвод.

В городе, по приказанию Вилка, были реквизированы подводы во всех учреждениях.

***

Вилк вернулся домой поздно ночью. На столе ждал самовар. У стола Вилис читал, подперев голову руками.

Мать, взволнованная и какая-то торопливая, кормила Вилка. Глаза у нее были красны от слез.

— Ешь, ешь, сынок, все простынет!

Вилк жевал неохотно, мысленно отсутствуя. Мать, сидя напротив, смотрела на него испытующе:

— Да, сынок... Погибла наша Аннушка...

Вилк встал.

— Я устал, мать.

— Иди, иди, ложись, сынок... Не сердись уж... Ты ведь позволишь пожить у тебя пока... пока...

И всхлипывая, спрятала лицо в передник.

Вилка это рассердило.

— Чего ерундишь мать? Все будет по-старому, будешь жить у меня.

Вилк не видел и не слышал, как вскочил на ноги Вилис, захлопнул книгу и крикнул в сторону закрывшейся за Вилком двери:

— Бюрократ!

Среди двух кроватей Вилк сразу почувствовал непривычное больное одиночество, вошедшее в его комнату.

Коммунист должен быть сильным. Разве он не был сильным? Но тут он прямо, не раздеваясь, упал на кровать. Закусил зубами подушку, чтобы заглушить стоны. Все его большое тело содрогалось от рыданий. К полуночи он забылся, задремал, исчерпанный до дна... Пустоту вдруг затопило число— пятьсот тысяч. Нули катились через Вилка, душили его. Не нули, а круглые мешки, тяжелые от зерна. Кто кричит? — Анна. Должно быть, мешки душат и ее.

Обливаясь потом, задыхаясь, проснулся, вскочил. Едва добрался до окна, распахнул его. И сразу в комнату дохнуло ночной прохладой. Ночь была тихая. Такая тихая, что, казалось, слышно было, как раскрываются почки. Где-то громыхала телега, кричали люди, ржали лошади. У станции еще кипела работа.

У станции горели костры. От них желтыми снопами тянулся по небу отблеск, качаясь над городом, как огромные колосья пшеницы.

Анна Калымова

(Роман)

Александр Поповский

(*Окончание*)

10

Прошло больше трех месяцев со дня приезда Анны, а отношения ее с братом не улучшались. Они почти не видели друг друга, хотя жили в одном доме, и, оставшись с глазу на глаз, мало разговаривали и избегали споров. Изредка встречаясь за столом, он делал вид, что спешит, бросал на ходу приветствие и уходил. Прежде чем обращаться к ней по делу, Петр долго откладывал предстоящее свидание, убеждал своего секретаря «согласовать» и пред лицом неизбежности отправлялся в кабинет директора. Там председатель фабричного комитета долго молчал, ждал, когда все уйдут, и, оставшись наедине с сестрой, несмело переходил к деловому разговору. Она легко и быстро отвечала на вопросы, спрашивала и возражала. Иногда сестра переводила беседу на другие темы с явным расчетом внести теплоту в разговор, но брат был настороже и решительно отклонял подобные намерения. Опасаясь ее влияния, он заранее обдумывал свою речь с ней, твердо запоминал требования рабочих и бесконечно повторял их, избегая слушать ее возражения. Раз убедившись, как спасительно действует это средство, Петр больше не отступал от него. Анна волновалась, доказывала, просила, а он беспощадно твердил заученные слова, спокойный и непоколебимый, пока не добивался своего.

Когда ткачи потребовали повышения расценка в связи с ухудшением качества льна, председатель фабричного комитета обещал им свою поддержку и вместе с выборными от рабочих явился к сестре. В кабинете директора он прикидывался глубоко равнодушным к спорному вопросу, не вмешивался в переговоры и слонялся по комнате с видом человека, исполняющего неприятную обязанность.

— Вы нам, Анна Сергеевна,— несколько раз повторял молодой ткач с длинными заостренными пальцами,— набавьте полкопейки на метр. Охота вам обижать нас... Вот и фабком по-нашему рассудил.

— Поймите,— возражала она,— не могу я этого сделать, меня под суд отдадут. Дать вам полкопейки, значит, на деле удорожить полотно, а мне приказано его на семь процентов удешевить.

— Ну и что же? — недоумевал ткач,— на другом снизите, а нам набавьте. Много ли денег полкопейки: не рубль и не два... А еще говорят — все наше, пролетарское. Какое же это наше, ежели копейку жалеют...

Петр при этих словах улыбнулся. Выборный понял улыбку, как поощрение, и жарко продолжал:

— Ежели наше к вам переходит, не беда, а нам грош набавить — сил нехватает. Работай горбом, из шкуры вылезай, а благодарность одна.

Анна долго убеждала его, говорила, что фабрика станет приносить убытки и ее закроют, просила подождать немного, а ткач упрямо твердил, что полушка не бог весть какой капитал, что Лукоянов копейку не жалел, и незаметно перешел на другую тему: бюрократы переводят миллионы, и с них «взятки-гладки», а рабочего норовят «завтраками» кормить, полкопейки жалеют. Петр снова ухмыльнулся и нежно погладил свои волосы. Потолковав еще о скупости хозяйственников, разоряющих рабочий класс и «подрывающих советскую власть», выборный неожиданно набрался смелости и выпалил:

— Я, Анна Сергеевна, рабкор, и дела этого не оставлю, потому всем теперь видно, какую вы линию гнете.

— Вы рабкор,— изумилась Анна,— почему же вы до сих пор молчали? В таком случае мы с вами скоро договоримся. Садитесь, пожалуйста.

Ткач посмотрел на нее, перевел глаза на Петра и смущенно сел.

— Я очень рада нашему знакомству,— не умолкала она,— как жаль, что мы до сих пор не были знакомы. Вы пишете в «Голосе текстилей»

— Приходится и туда материал посылать,— недоверчиво поглядывая на Анну, ответил ткач,— а пишу я с малолетства.

— Превосходно... Ведь я столько времени разыскивала рабкора. У меня уйма дела для вас, но об этом позже. Рабкор... хорошо, очень хорошо... В таком случае вы, должно быть, знакомы со всеми постановлениями профессиональных и партийных организаций. Не правда ли?

Петр переменился в лице, глаза его стали мрачными, брови дрогнули, и видно было, что разговор этот ему не по душе. Он встал, прошелся по кабинету и несколько раз кашлянул. Рабочий-корреспондент сиял от удовольствия. Поведение председателя фабричного комитета смущало его, но речь директора звучала так искренно, чувство гордости за свое высокое призвание было столь сокрушительно, что у него нехватало сил устоять против искушения.

— Писать, Анна Сергеевна, я люблю, страсть как люблю. Дело это считаю как бы своим долгом. Отпираться не стану: и о вас писал, и о Солодове, и о Болотине, и об Алексееве. У меня справедливость на самом первом месте: себя не пожалею, жизнью пожертвую, а что нужно — напишу.

— Очень приятно,— горячо заявила Анна,— вы прямо обрадовали меня... Если бы вы сразу назвали себя рабкором, нам не пришлось бы столько времени тратить... Да, значит, вам известны все распоряжения наших руководящих организаций, я не ошибаюсь?

— Знаю, да еще как. И не то что, как говорится, с первого на третье, а прямо наизусть все выложу.

— Ха, ха, ха,— громко засмеялась Анна,— превосходно... Всех распоряжений, конечно, не запомнить, главных бы не забыть...

— Что такое? — повысил голос корреспондент,— все знаю, безо всякого исключения, хоть сейчас спрашивайте.

Петр нетерпеливо шагал взад и вперед по кабинету, а ткач не унимался:

— Хотите, я сбегаю домой и папку принесу, все распоряжения по проф,- парт- и совлиниям до одного подклеены.

— Верю, охотно верю. А помните вы последнее распоряжение правительства, о котором много пишут теперь?

Она улыбнулась, и ткач, забыв о существовании председателя фабричного комитета, бойко отчеканил:

— Приказ о рационализации производства.

— Совершенно верно, назовите второй приказ, не менее известный,— экзаменовала директор рабочего корреспондента.

— Приказ о снижении себестоимости,— браво отрапортовал он.

— Вы заслуживаете всяческих похвал... Очень рада за вас... Если вы не слишком горды, навестите меня, буду очень рада. Теперь вернемся к нашему делу,— значит, фабком, говорите вы, не возражает против повышения расценок?

— Нет, нет, Анна Сергеевна,— живо произнес выборный,— дело за вами.

— А как вы думаете,— спросила она, повышая голос с расчетом, чтобы ее услышал брат,— в фабкоме знакомы с приказами правительства?

Петр остановился, пристально взглянул на сестру и, заложив руки за спину, больше не отворачивался от нее. Ткач все еще не сообразил, куда ведет речь директор, и непринужденно ответил:

— Знают, Анна Сергеевна, там все распоряжения подшиваются...

— Подшивают,— удивилась она,— и хлопочут о повышении расценка? Я понимаю, вы могли забыть об одном приказе, ведь их так много, так ведь оно и было, сознайтесь... А уж предфабкому это непростительно.

Анна обращалась к рабочему и в то же время не сводила глаз с Петра.

— Ты, может быть, возразишь? — обратилась сестра к брату.

Тот злобно повел плечами и, избегая ей говорить «ты», сказал:

— Если дирекция договорится с ткачами, фабком не будет возражать.

— А вы что скажете по этому поводу? — обратилась она к выборному.

Что он мог сказать? Настаивать на своем, вопреки воле правительственных и общественных организаций? Утверждать, что полушка не бог-

весть какой капитал? Ткач некоторое время растерянно смотрел на директора, затем опустил глаза и больше не подымал их.

— Вы обещали зайти ко мне,— прощаясь напомнила Анна корреспонденту,— смотрите, я жду. Непременно приходите, буду очень рада...

Этот случай убедил Петра, что рабочие бессильны пред ее красноречием и хитростью, и, следуя своему испытанному правилу, он в дальнейшем являлся к ней один, излагал свои требования и упрямо настаивал на их удовлетворении. Ткачи давно уже перестали сомневаться в его искренности и попрежнему относились к нему с доверием. С ним говорили просто и откровенно, не стеснялись грубо отзываться о директоре и даже оскорблять его. Чтобы закрепить к себе уважение рабочих, Петр сам уже придумывал поводы для конфликтов, торжественно давал слово добиться своего и добивался.

Однажды Анна сказала ему:

— Ты ведешь себя как профессиональный работник при самодержавии. Неужели нет разницы между мной и Лукояновым?

Он иронически усмехнулся и ядовито ответил:

— Я защищаю две тысячи ткачей от произвола, до твоих планов нам нет дела, как не было дела до расчетов Лукоянова. Фабрика до-зарезу нужна этим людям, а ты ее разоряешь. Бросишь чудить — заживем в мире, не изменишься — воевать будем. Не первая ты у нас и не последняя, не удивишь... Все вы хороши: придете, наворотите и — ищи ветра в поле, а мужикам куда податься? По-миру?

Сестра говорила о великих целях революции, об обязанностях пролетариата пред человечеством будущего, о солидарности трудящихся всех фабрик мира, а брат жаловался на ее строгости, на ухудшения условий труда и требовал реформ для фабрики «имени Лассаля».

— Мы с тобой не договоримся,— с сердцем бросила ему Анна,— тебе две тысячи человек свет закрыли, а я вижу огромный мир, бьющийся в муках. Мне больно за всех людей, за все уголки мира, где томится трудящийся, а ты кроме десятка деревень ничего знать не хочешь. Чужие мы с тобой...

Анна не делала больше попыток говорить с ним и почти перестала обращать на него внимание. В происшедшем споре Петр считал себя победителем и, гордый за себя и за дело, возложенное на него рабочими, дословно передал им свой разговор с директором.

Несмотря на внешний успех, брат не переставал чувствовать на себе влияние сестры. У Петра все еще нехватало смелости выступить против нее публично, как твердо он ни был уверен в своей правоте; и не любил и боялся ее речей и, наконец, робел в ее обществе, будь то на заседаниях фабричного комитета, коммунистической ячейки, производственном совещании. Несмотря на простое обращение Анны, многие действительно смущались в ее присутствии, охотно с ней во всем соглашались, а потом сами бранили себя за свою слабость. В этом Петр находил утешение. Некоторое время ему казалось, что, если дать ей как следует отпор, «колдовство как рукой снимет», но случай с «пьяной квартирой» лишил его последней надежды.

Казалось, за что Анна ни взялась бы, успех ей был заранее обеспечен. Позади фабричных корпусов много десятков лет стояла ветхая избенка с низенькими дверьми и деревянным шатром над каменным крыльцом. Некогда она служила светелкой, но со временем ее забросили, и ткачи избрали ее местом постоянных выпивок. Когда спиртные лавки были закрыты, в подполье светелки гнали самогон и тайком разносили его по цехам. С появлением водки в продаже, шинкари приносили в «пьяную квартиру» выпивку, и ткачи, поочередно оставляя станки, пробирались туда «глотнуть горького».

Когда Анна приказала снести избенку, ткачи заволновались. По цехам были избраны делегаты к директору, но в последнюю минуту стало известно, что коммунистическая ячейка одобрила это мероприятие, и посылка выборных не состоялась. Через несколько дней после уничтожения «пьяной квартиры» было издано постановление, чтобы сторожа и мастера отбирали у рабочих водку и сдавали ее в контору, и так велик был авторитет этой женщины, что никто не осмелился ослушаться: водка аккуратно доставлялась в контору в самой разнообразной посуде, пока ткачи не перестали ее приносить.

В характере Петра произошла новая перемена. Раздражительность и вспыльчивость уступили место холодному спокойствию. Жизнь его вошла в прежние берега; борьба с сестрой стала будничной обязанностью, как подписывание официальных бумажек, взимание членских взносов и произнесение речей. Упреки Анисьи, обиды и длинные напоминания ее о долге старшего уступать младшему не выводили его больше из себя. Он обвинял жену в том, что она заодно с его врагами, и, чтобы досадить ей, не упускал случая похвастать пред ней новой победой над директором. Когда жена однажды сказала ему, что Анна третью ночь проводит вне дома, он сделал вид, что глубоко равнодушен к тому, где проводит время его сестра, но придя на фабрику, первым делом направился к сторожу и успокоился только узнав, что «директорша изволит третью ночь почивать в кабинете». Анисья не преминула осыпать мужа бранью и обвинениями, что он родную сестру из дома выжил. Выведенный из себя, Петр заперся в комнате и весь вечер не показывался. Поздно ночью между супругами произошел следующий разговор:

— И как тебя, бесстыжего, бог терпит,— возмущалась жена,— сестру замучил, от жены сбежал, ирод ты окаянный.

— Никого я не выживал,— оправдывался муж,— мало ли с кем по службе поспоришь, разве непременно врагами делаешься?

— Силы небесные, значит, сестру ты с чужими на одну доску ставишь! Уйди, чтобы глаза мои тебя не видели... Уйди, Навуходоносор, уйди, фараон!

Эти библейские эпитеты она употребляла в моменты исключительного недовольства. Петр эту особенность жены знал и принялся жарко ее убеждать:

— Что ты пристала ко мне, кого я обижаю, должен я дело свое исполнять? А ежели она против ткачей идет, значит, пусть, так руки и опустить?

Не ссорился я с ней, ничего худого не говорил. Свое, что хочешь, уступлю, а чужое не могу...

Этого Анисья была не в силах понять. Слов нет,— жалованье получаешь, нужно верно служить, не лениться, умереть, а преданность свою доказать... но пренебречь родной сестрой ради этой самой службы,— кто же так поступает? Она снова вспомнила святых угодников, призвала в свидетели царя небесного, обозвала мужа Каином и, наконец, потеряв терпение, перестала говорить с ним. Петр знал, чего добивается жена, но твердо решил не сдаваться: мириться он был готов, но просить у сестры прощение,— никогда.

На следующий день после описанного разговора Анисья пришла в фабричный комитет, сообщила мужу, что Анна слегла, и настаивала на том, чтобы он немедленно вернулся домой. Петр отложил все дела и отправился к себе на квартиру. Сестру он застал в постели, она казалась очень бледной и худой, глаза стали большими, грустными, а подбородок как будто еще круче. Анисья сидела у изголовья больной, и Петр еще из соседней комнаты услышал ее слова:

— Бог даст, выздоровеешь, Аннушка.

— Как ты чувствуешь себя?

Анна приподняла свои усталые веки и поблагодарила его. Брат смотрел на сестру и думал, как она ужасно изменилась за последнее время: под глазами потемнело, лоб стал как будто шире, лицо осунулось и пожелтело. Втечение нескольких минут он припомнил всю ее жизнь, тяжелую и безрадостную, всплыли далекие воспоминания,— нежные и родные, они будили давно заглохшие чувства. Петр ощутил в груди теплую волну, и ему захотелось сказать сестре что-нибудь хорошее, ласковое. Не будучи в силах преодолеть нарастающий прилив чувств, он нежно спросил:

— Что с тобой, Анютка?

— Ничего, нездоровится... Ты не беспокойся, пройдет.

Голос ее слабо звучал.

«Ведь это моя сестра Анюта,— думал брат,— как мог я причинить ей столько горя? Кто знает, не я ли виновник ее болезни?»

Мысль эта глубоко взволновала его, в висках у него часто застучало, и болезненно сжалось сердце.

— Что на фабрике? — спросила она.— Я не была там сегодня.

«Так-то ты принял сестру после десяти лет разлуки,— продолжал упрекать себя Петр,— высмеивал, оскорблял и чуть ли не натравливал на нее ткачей...»

— Почему ты не отвечаешь? — вторично спросила Анна.

— На фабрике,— спохватился он,— ничего... Все попрежнему.

«Я не должен был доводить ее до крайности. Анисья всегда права, всегда, я упрямец. Нужно помириться, непременно, сейчас же просить прощенья. Моя вина, мне первому извиняться».

— Ты прости, Анютка, я был неправ.

Она приподнялась, и крепко сжала его руку.

— Не надо говорить, не надо.

— Нет, нет, ты не все знаешь,— перебил он ее,— я сильно перед тобой виноват.

— Не надо, милый,— просила его Анна,—не надо.

Его охватило горячее желание рассказать ей все, ничего не скрывая. Пусть она знает, что все споры ее с рабочими подстроены им, он убеждал их не сдаваться и настаивать на своем. Ему удалось убедить секретаря коммунистической ячейки потребовать ревизионную комиссию из треста,— пусть ей будет известно все, все...

— Достаточно, не нужно больше,— просила она его,— я это знаю...

На груди у него все еще лежала тяжесть, хотелось какой угодно ценой сбросить ее, и Петр стал рассказывать, как Телебукин почти уже убедил его собрать подписи рабочих под обращением в Центральный комитет партии о снятии ее с должности директора.

Когда Анна перебила его и сказала, что знает и об этом, брат почувствовал раздражение. Откуда ей все известно, неужели за ним шпионили? Наконец, он вовсе не для того ей рассказывает, чтобы узнать, известен ли ей тот или иной факт. Ему просто хочется чистосердечно поговорить с сестрой, подвести итог прошлому, осудить его и зажить с ней по-иному. Она могла бы из вежливости сделать вид, что слышит об этом впервые. Уж не хочет ли она подчеркнуть, что признанья его запоздали и не имеют для нее цены?

— Ты напрасно меня перебиваешь,— раздраженно сказал Петр,— у тебя еще будет времени мне отвечать.

— Продолжай, я буду молчать,— сказала Анна, поглаживая его руку.

Но ему уже не хотелось больше рассказывать; чувство раскаяния уступило место обиде, и, словно оскорбленный в своих лучших убеждениях, он не мог преодолеть охватившей его злобы. Она считает его побежденным и великодушно жмет ему руку, а в душе торжествует победу, пусть же ей будет известно, что он пришел сюда исключительно из сожаления к ней, как к больной. Меньше всего интересует его, какими путями она узнает о том, что должно быть для нее тайной.

— Не подумай только, что я переменил свое мнение о тебе... Если я и был неправ, то всегда по милости твоей...

Анна догадалась о перемене, происшедшей с братом, и усмехнулась. Он принял это за вызов и, уже не сдерживая своего раздражения, сказал:

— Ты, может быть, подумала, что я испугался твоих шпионов и поэтому пришел к тебе с повинной? Напрасно.

— Что с тобой, Петя,— удивилась она,— почему ты вдруг рассердился, я тебе что-нибудь сказала?

Еще бы, пустяки, она только притворилась больной, чтобы разжалобить его и выведать то, что ее интересует! Обмануть брата, провести его, как мальчишку, большой ли грех? Она еще спрашивает, ей мало этой бесчестной проделки, хитрости и обмана, которыми опутала его. Послушать ее — невинный ангел... Какое лицемерие! Теперь уже ничто не могло остановить Петра, его раздражение перешло в злобу, свирепую и неудержимую.

Он больше не сомневался, что сестра неискренняя и бесчестная женщина, с которой никакой мир невозможен.

Когда Анисья явилась, она застала мужа горячо жестикулирующим и возбужденным. Он побагровел и повышенным голосом выкрикивал:

— Набралась ума и приехала учить нас,— дескать, для дурачков все сойдет,— видели мы таких, не удивишь...

— Святые угодники! Царица небесная! Так-то ты утешил ее?.. Боже мой, не иначе, с ума сошел человек. Замолчи ты, чорт старый, дурак, бесстыдник... Сестра досмерти больна, а он бранится, сукин сын...

— Зачем ты, Анисьюшка, на него нападаешь,— вмешалась Анна,— мы между собой повздорили и помиримся, что здесь особенного...

В том, что она пыталась взять на себя часть вины, Петр увидел новое доказательство желания унизить его, и, окончательно выведенный из себя, он грубо крикнул:

— Зачем ты врешь, что повздорила? Зачем ты хитришь, никого здесь не обманешь, раскусили тебя...

Он выбежал из комнаты, с силой хлопнув дверью.

В то же время кто-то постучался, и на окрик Анисьи «войдите», грузно ступая, вошел афбричный врач, мужчина лет тридцати пяти, высокого роста, неуклюжий, в грубых смазных сапогах и кожаной облезлой тужурке. Он снял фуражку, поклонился и, поставив свою суковатую палку в угол, подошел к больной.

— Рассказывайте, что с вами,— нежно заглядывая ей в лицо, спросил он.— Учитель наш, Яков Дементьевич, прибежал в больницу и силой вытолкал меня к вам. Нужно было принять еще трех больных, я об'яснил это ему, а он, не слушая меня, выбежал в приемную и заявил, будто я заболел. Они, конечно, догадались, что их обманули, и бог знает что подумают обо мне. Да что же с вами?

Он выслушал ее, небрежно отложил трубку и задумался.

— Ведь у меня артериосклероз, доктор, я не ошибаюсь? — неожиданно спросила его Анна...

— Что вы, Анна Сергеевна...

— Нет, нет,— перебила его больная,— я заглянула в энциклопедию и по признакам болезни убедилась в этом. Об'ясните мне только, какое отношение имеет к моему состоянию галлюцинация? Я отчетливо видела недавно рыбака на берегу реки; он удил и рассказывал мне что-то о своем ремесле. До сегодняшнего дня я была уверена, что действительно встречала его, но незадолго до вашего прихода я видела его снова, он сидел на вашем месте. Это, должно быть, от переутомления, как вы думаете? Да вот еще что, меня изводят самые нелепые и глупые мысли. Прошлой ночью я проснулась и вспомнила, что на домах в Стенькове появились вывески с фамилиями домовладельцев. Вы поверите, надписи «Лазухин», «Горелов», «Гуров» и «Раев» (видите, я запомнила их) всю ночь стояли пред моими глазами... Этой ночью мне почему-то припомнился плакат общества борьбы с алкоголизмом, выве-

шенный в столовой. Распухшие желудки, пьяницы с ножами в руках, пораженные печени и надпись: «Алкоголь — враг народа» — маячили предо мной до самого утра.

Доктор укоризненно покачал головой.

— Нехорошо так, Анна Сергеевна, никуда не годится... Скажите на милость, на что это похоже? Ну что такое симптом? Основание делать ошибку за ошибкой. Сколько болезней имеют общие признаки! А уклонения от нормы благодаря бесчисленным причинам нам неизвестны!.. Возможно, у вас развивается артериосклероз, но это покажет время. Разве целесообразно делать преждевременные выводы...

— Суть не в этом,— сказала Анна,— ведь вы пропишете мне абсолютный покой, диэту и так далее, а я должна через час отправиться на фабрику, и, возможно, на целую ночь. Что вы на это скажете?

Врач сразу переменился: он близко перегнулся к больной, глаза его испуганно расширились и беззвучно задвигались губы.

— Почему вы так испугались, Федосей Карпович,— спросила она,— разве мое положение настолько серьезно?

— Я вас очень прошу не делать этого, войдите в мое положение, легко ли мне будет, если вам станет хуже... Боже мой, я положительно не в силах вынести одной мысли об этом,— как вы не понимаете меня...

Глаза его искренно просили ее, в голосе звучала мольба, и казалось, откажи она ему в этот момент, он непременно заплакал бы.

Анисья вошла и сообщила, что Лиза-чесальщица с дочкой пришли. Анна приподнялась на подушке и велела впустить их.

— Прошу вас только, Анна Сергеевна,— взмолился врач, когда ткачиха вошла,— не волноваться во время разговора... Вам нужен покой, это вы верно сказали...

Работница с первых же слов заплакала, затем вытерла слезы и спокойно, как ни в чем не бывало, принялась долго говорить.

Она просила принять на фабрику ее шестнадцатилетнюю дочь. Муж, упаковщик, тридцать два года проработал за прессом и слег. Врачи «выкачали из него полведра материи и посадили на инвалидность». Девушка «зачислена в броне», и все зависит от доброй воли директора. Чесальщица снова заплакала, быстро вытерла слезы и спокойно принялась перечислять качества своей дочери. Анна попросила ее притти в контору и обещала принять девушку. Расстроганная работница хотела поцеловать руку больной, но застыдилась врача и, неловко повернувшись, вышла.

— Вы знаете, Федосей Карпович,— сказала Анна после некоторого молчания,— мне привелось видеть мужчину лет сорока, обреченного на смерть. Легкие и сердце его до такой степени износились, что каждая минута приносила ему невыразимые страдания. Этот человек с ужасом говорил о смерти, боялся ее и готов был перенести какие угодно муки, лишь бы не умереть. Тогда я впервые подумала: какой ценный дар жизнь, если этот несчастный цепляется за нее. Я люблю жизнь, доктор, мне грустно было

бы умереть с сознанием, что, наряду с другими, я была падчерицей на земле, и еще грустней было бы, если цель моего существования — служение человечеству — не была бы доведена до конца. Неужели вы и теперь посоветуете мне лежать в постели?

В комнату, не постучавшись, стремительно вошел Яков Дементьевич. Он на ходу вытер свои вспотевшие руки и, поздоровавшись, сел напротив своего друга.

— Что с вами, благодетель наш,— начал заведующий школой густым басом,— распатронились? Мигрень, невралгия, нервы, воспаление, катарр и так далее. Что вы нашли, Федосей Карпович?

Врач высоко поднял брови, слегка наклонил голову набок и в таком положении остался неподвижным.

— Был я сегодня на фабрике,— прервал молчание Яков Дементьевич,— вашим экспериментом заинтересовался.

— Разве вы до сих пор не познакомились с нашими успехами? — удивилась Анна.

Он сделал порывистое движение, опустился на стул и медленно проговорил:

— Не приходилось, времени мало. Сегодня я досконально все рассмотрел... Выходит, я был прав.

— Неужели? В таком случае нужно думать, что вы и на этот раз не были на фабрике.

Заведующий школой по-детски выпятил губы, нахмурился, и брови его приняли вертикальное положение.

— Такого же мнения, как и я, мастер Кандауров...

— Вы шутите? — приподнимаясь с постели, спросила Анна.

— Ничуть. Там остановили опытные работы, пряжа рвется под шлихтовочным барабаном.

Анна быстро соскочила на пол, набросила на себя вязаную кофточку и направилась к дверям.

— Куда вы,— всполошился врач,— бог с вами, вернитесь...

У ворот фабрики Анна почувствовала головокружение и слабость в ногах. Она присела на скамью, немного отдохнула, и, улавливая, как растет в ушах шум, поднялась на третий этаж и остановилась там, где происходили испытательные работы. Кандауров и Телебукин хлопотали у нового гребня, привинчивая к нему железные завесы. Увидев Анну, мастер подошел к ней и, не подымая головы, спросил:

— Как ваше здоровье?.. У нас здесь опять не ладится...

Он начал рассказывать, что с утра, как только пустили машину, пряжа стала рваться. Переставляли шпуларни, уменьшали давление пара, но так ничего и не добились. За весь день не удалось прошлихтовать метра пряжи. Теперь он поставил гребень на шарнирах и думает еще раз попытать счастья...

— Кто в эти дни делал шлихту? — спросила Анна.

— Я,— ответил Кандауров.

— А сегодня?

— Тоже я.

— Отлично, пустите машину.

Повторилось, как рассказывал мастер: нитки прошли через гребень, затем через крахмальный раствор и на сушильном барабане резко рвались. Анна часто переходила с места на место и каждый раз, как бы случайно, останавливалась около Телебукина, но тот, завидев ее, бросался к машине, делал ненужные распоряжения чернорабочим или принимался разглядывать термометр.

— Оказывается, вы были правы,— сказала она подмастерью,— пряжа не выдерживает.

Он смущенно взглянул на нее и, словно схваченный на месте преступления, сильно побледнел.

— Лен из рук вон плохой,— промямлил Телебукин, поглаживая вспотевшую лысину,— сорт, должно быть, никудышный попался.

— В самом деле,— обрадовалась Анна,— возможно, и так. Ведь три дня опыты шли хорошо.

— Я уже и Андрею Петровичу так говорил,— оживился подмастерье,— не верит.

— Я сейчас же поговорю с ним, нужно пряжу переменить.

Она подошла к мастеру, что-то сказала ему и распорядилась остановить машину. Когда Телебукин стал вытягивать пряжу из гребня, она подошла к нему и, удерживая его за руку, спросила:

— Может быть, в шлихте причина, а? Мне только что пришла эта мысль в голову.

Под ее упорным взглядом он менялся в лице, пожимал плечами и уродливо усмехался.

— Воля ваша, может быть, и так.

Пока корыто не было опорожнено и наполнено новым раствором, Анна не отходила от рабочих. Она сама распоряжалась, бегала в клееварню, пробовала шлихту на палец и проверяла дозы каждого состава в отдельности. Телебукин суетился, сердито прикрикивал на девушек и искоса поглядывал на директора, а Кандауров возился у парового клапана. Анна повернула рычаг динамо, шкив шлихтовочной машины заработал, барабаны закружились, и пряжа по рамке потекла на вал.

— Видите, Яков Степанович,— сказала она,— лен здесь ни при чем... Подсыпал кто-то лишней соды и еще кой-чего, вот и все... Теперь обойдется...

— Вот что, Андрей Петрович,— обратилась Анна к мастеру, когда они остались одни в конторе.— Не допускайте больше Телебукина к опытным работам, пусть он побудет пока у ткацких станков.

— Вы думаете, это его проделка? — спросил Кандауров, вписывая треугольник в окружность.

— Безусловно. Теперь я пойду, мне хотелось бы сегодня еще побыть в постели, завтра работы много... Что у вас нового, как жена?

Он ничего не ответил, только рука его, выводившая цифру пять, заметно дрогнула.

— Разве что-нибудь случилось? Я ничего не знаю.

— Она прошлой ночью ушла и увела с собой детей.

Прямоугольный подбородок мастера побледнел, и лоб покрылся морщинками.

«Сейчас он заиграет катушками или снова станет писать»,— подумала Анна, следя за каждым его движением. Кандауров каллиграфически вывел букву «А», рядом с ней поставил восклицательный знак и, не подымая головы, спросил:

— Что с вами, вы серьезно больны?

Серьезно больна? Разве могут серьезно больные бегать по этажам, проводить бессонные ночи и без устали работать? Нет, конечно, нет, она здорова, совершенно здорова, но ей хочется поваляться в постели, побыть денек со своими, разве у него не бывает такого желания?..

Он нарисовал деревцо, соединил несколько точек окружности и взглянул на нее.

— У вас странное лицо, оно меня всегда удивляет. Наблюдали вы природу из окна быстро мчащегося поезда? Что ни минута, новый ландшафт: то горы, то долины, озера, реки... То же, если опустить голову и через несколько минут взглянуть на вас,— совсем другое лицо...

— Есть выход из положения,— ответила она,— не опускайте головы, и вам не придется удивляться.

Он сдвинул брови, и зеленоватые глаза его потускнели. Руки его заиграли цепочкой часов, затем катушками и снова устремились за пером.

— У меня к вам просьба, Андрей Петрович,— отодвигая бумагу и не давая ему писать, произнесла Анна.— Скажите, какие у вас счеты с Телебукиным, почему он мстит вам?

Мастер пристально посмотрел на нее и вызывающе спросил:

— А почему вы до сих пор не уволили его, разрешите узнать?

— Я вам охотно отвечу,— делая вид, что не замечает его резкости, ответила она.— Телебукин с первого дня показался мне слишком опасным человеком на фабрике, уволить его значило развязать ему руки, поэтому я решила ждать до тех пор, пока настанет время перевести его непосредственно в тюрьму. Вы, возможно, осудите меня за это, но я и сама не рада своей привычке ко всему подходить по-следовательски.

— Я не осужу вас,— уже без тени раздражения в голосе ответил Кандауров,— вы разумно поступили. Меня Телебукин преследует уже свыше десяти лет. Он до сих пор не может мне простить, что я стал на сторону революции и добросовестно служу ей... Поняли?

Он вздохнул, и в углах его губ легли глубокие морщины.

— Мне думается все-таки, что вы очень больны,— продолжал мастер после некоторого молчания, глядя ей прямо в лицо,— у вас утомленный вид, нет, вы больны, не переубеждайте меня.

Она принялась громко смеяться, подшутила над его подозрительностью и, попрощавшись, намеревалась уже выйти, но он поднялся и неожиданно спросил ее:

— Правду говорят, что жена моя была у вас?

Анна не сразу ответила:

— Да, была.

— Верно также и то, что она много говорила о моих чувствах и советовала вам обручиться со мной?

— Да.

— Я очень прошу вас, Анна Сергеевна, не придавать значения ее словам. В последнее время она была очень нездорова, и мысли эти исключительно плод ее больного воображения. Вы сами должны были догадаться, что имеете дело с человеком, не отвечающим за свои слова, но я хотел вас предупредить, чтобы не дать повода к недоразумениям в будущем.

Петр из окна фабричного комитета видел, как сестра непринужденной походкой прошла через двор, кому-то улыбнулась и быстро вышла из ворот фабрики.

Разве он не был прав, она прикинулась больной, чтобы унизить его, оскорбить, а потом прибрать к рукам... Женская хитрость, кто не знает ее силы...

Тем временем Анна перешла дорогу и с сильно бьющимся сердцем прислонилась к стене. Она с трудом приплелась домой и повалилась в постель.

11

Секретарь фабрики, полный мужчина с длинными, густыми волосами и заметным брюшком, подобострастно склонившись пред Анной, делал доклад. Время от времени он открывал папку, стремительно вытаскивал бумагу и, несколько раз повернув ее, ударом ладони как будто пригвождал к столу. Затем на свет божий извлекалась следующая.

Анна слушала его и думала, как хорошо теперь на реке, в лесу, в поле, под теплыми лучами утреннего солнца. Ей мерещилось синее небо, глубокое, как Волга, бархатная зелень далекого берега и беспредельная тишь речного простора. Она делала вид, что слушает доклад, а на самом деле тоскующими глазами смотрела в окно и жадно ловила песню, тягучую и ровную, как река.

В конце доклада секретарь добавил:

— Дело в том, что не во всех цехах достаточно шкафчиков для одежды, а в силу коллективного договора ответственность за пропажу вещей рабочих несет администрация. Сегодня присланы для взыскания пять исполнительных листов на сумму сто двадцать рублей. Это очень несправедливо, рабочие обкрадывают друг друга, а фабрика должна расплачиваться.

Анна отвела глаза от окна, взглянула на бумагу и сказала:

— Сегодня же приступить к установке шкафчиков, передайте мое рас-

поряжение плотникам... Сами виноваты — коллективного договора своего не знаем.

— Хорошо,— продолжал секретарь,— еще одна бумажка. Шесть выговоров и три увольнения, многовато, но то ли было раньше... Порядки зато теперь такие...

В списке увольняемых на первом месте стояла фамилия Федьки. Анна склонила голову над бумагой и заметила улыбку на губах секретаря. Он переводил глаза со штрафного листа на нее и как будто подавлял готовую вырваться усмешку.

«Куда мне итти? Родных нет, хозяйства никакого, а с фабрики сгонят, что делать?.. Не доведи бог без работы остаться, пропал я, крестный до смерти замучает».

Слова эти вдруг отчетливо прозвучали в ее ушах, как будто кто-то близко произнес их. Она не слышала об'яснения секретаря и ничего не соображала. Слова ложились на стол, заливали бумагу и мучительно стучались в мозгу. Анна провела рукой по лицу, еще раз прочитала фамилию Федьки и решительно подписала штрафной лист.

Что она скажет теперь ему, чем оправдает эту жестокость,— неужели иначе нельзя было? Можно еще догнать секретаря и, прежде чем он сдаст бумагу в учетно-личный стол, взять ее из рук и порвать. Легко представить себе его изумление, от неожиданности он наверно потеряет дар речи, промямлит что-то непонятное и будет долго стоять с разинутым ртом... А как быть с остальными, ведь Федька не один в списке?

Она подошла к окну, увидела, как в ворота в'ехали подводы со льном, и сразу решила, что изменить сделанного никто не вправе.

Рассыльный вошел и сообщил, что товарищ Хоботов просит директора зайти к нему.

Секретарь коммунистической ячейки, в новой рубахе и исправных сапогах, озабоченно шагал взад и вперед по помещению, часто вынимал руки из карманов и тотчас же глубоко засовывал их обратно. Увидев Анну, он остановился посредине комнаты, поздоровался и дружески улыбнулся ей.

— Я заходил к вам сегодня два раза,— без тени напыщенной серьезности произнес он,— вы, должно быть, на фабрике были?

Она опустилась на стул, подумала, что новая рубашка очень ему к лицу, и ответила утвердительно.

Хоботов смущенно начал с того, что упрекнул ее в оторванности от масс и «кустарничестве», не советовал пренебрегать дельными советами рабочих, когда дело идет о помощи фабрике, так как в этом «вся загвоздка эпохи». Она допустила большую ошибку, следовало привлечь все технические силы и не брать на себя «единоличной ответственности за рационализацию». Теперь об этом поздно говорить, «она одержала крупную победу на важнейшем участке, нанесла сокрушительный удар по расхлябанности, лодырничанью и разгильдяйству»... Благодаря ее усилиям фабрика «имени Лассаля» станет примером для других... «Но предстоит еще раскачать рабочих, при-

влечь их симпатии к новому делу и дать отпор зарвавшимся элементам». Все это можно было бы сделать в свое время и тактично, не озлобляя отсталой массы ткачей, но прошлое послужит ей уроком на будущее. Пусть она простит ему его откровенность, но долг обязывает его сказать, напомнить, что «в ней еще глубоко сидит военный коммунизм, партизанщина и анархичность». Огорчаться не стоит, «со временем все изживется и не оставит даже следа»...

Анна слушала секретаря, смотрела на голубенькие пуговки его рубашки и чувствовала, как волнение подступает к ее горлу. Этот мальчик с широким добродушным лицом глубоко тронул ее. В его искреннем голосе звучало раскаяние, желание сгладить прежнюю ошибку, и, как художнику, впервые удостоенному признания, ей хотелось сердечно благодарить его, рассказать, как тяжело было одной, без поддержки, выполнять свой долг; излить перед ним все, что накопилось за эти три месяца мучительных страданий, физических и нравственных... Он, должно быть, понял ее состояние и смущенно опустил голову.

У него серьезное дело к ней, за тем, собственно говоря, он и пригласил ее. Давно бы пора это сделать, но мешали различные обстоятельства... Он виноват пред ней... очень виноват, хотя вина не его одного, и особого зла ей оттого не будет, ему все необходимо перед ней извиниться... Сегодня приехала комиссия из треста с целью ревизии фабрики, пусть же она знает, что это его затея... Он послушался совета Петра Сергеевича и истребовал ее из Москвы, чтобы добиться смещения директора... Теперь ему стыдно за свой поступок, очень стыдно...

— Мы с вами в расчете, товарищ Хоботов,— перебила его Анна,— я скрыла от вас нечто более важное...— Она протянула ему письмо правления треста о подготовке фабрики к ликвидации и добавила: — Прежде чем сердиться, прошу вас выслушать меня.

Секретарь бегло прочитал письмо и, пораженный, спросил:

— Вы получили это распоряжение полтора месяца тому назад?

— Совершенно верно, в тот же день я приступила к опытам по осуществлению моего проекта.

Лицо его вдруг переменилось: краска выступила на лице и ушах, покрыла лоб и, казалось, разлилась по всему телу.

— Значит, вы поставили себе задачу сделать фабрику прибыльной и выбить оружие из рук треста?

— Мне было жаль ткачей, представьте себе, что стали бы они делать...

Хоботов молчал, но по тому, как сдвинулись его брови и беспрестанно морщился лоб, видно было, что в голове его происходит напряженная работа.

— Почему же вы скрыли это от ячейки?

— Я уже сказала, что виновата перед вами... Мне казалось, что лучше будет, если рабочие не узнают о предстоящем закрытии фабрики. Разве удалось бы тогда сохранить дисциплину? Многие ушли бы на время посевов в деревню или поступили на другие фабрики...

Он подумал и сказал:

— Вы, пожалуй, правы, так лучше, хотя ничто не мешало вам сообщить мне об этом по секрету, у меня все равно, что могила... Дело прошлое, теперь нужно «заострить внимание на том, чтобы, невзирая на лица, отсеять дезорганизаторов и направить огонь по вредителям социалистического строительства». Значит мы с вами в расчете? — улыбаясь спросил он.— В добрый час!

Секретарь растроганно подал ей руку, кивнул головой и торопливо вышел.

После смены, в тот же день, на фабрике произошло следующее: рабочие в числе ста человек явились в фабричный комитет и потребовали об'яснения по поводу предполагаемого сокращения четырех цехов. Председатель заявил им, что директор не желает считаться с профессиональными организациями и им остается самим обратиться к ней. Раздраженные ответом ткачи заволновались и повалили к директору. Анна разговаривала с мастером прядильного отделения, когда дверь с шумом распахнулась и кабинет наполнился рабочими.

— Вы ко мне? — спокойно спросила она.— Подождите минуту, я сейчас освобожусь.

Словно не замечая вызывающего поведения и возбужденных лиц, она повернулась к мастеру и продолжала прерванный разговор.

— Что вы хотите, я вас слушаю.

Ткачи молчали, как будто испугались вдруг своей собственной дерзости, затем кто-то крикнул: «Чего стали, черти!» — и все сразу заговорили.

— Нет, нет, подождите,— возвысила голос Анна,— разрешите лучше мне слово. Вы пришли по поводу перемены в производстве? Да? Отлично. Прядильщики имеются среди вас? Выходите отсюда, перемены вас не касаются.

— Чего прядильщиков выгонять,— гудела толпа,— всем отвечай.

— Пока последний прядильщик не выйдет отсюда,— решительно заявила Анна,— я говорить не буду. Слышали?

В кабинет стремительно ворвался Хоботов. Он был, видимо, предупрежден о том, что происходит у директора, и первым делом хотел обратиться к рабочим с речью, но Анна отвела его в сторону, что-то шепнула ему и громко повторила свое требование:

— Прядильщикам здесь делать нечего, выходите.

Толпа заколебалась, и несколько человек вышло.

— Имеются среди вас чесальщики? Есть? Выходите, вас перемены не касаются.

Повторилась прежняя заминка, кто-то крикнул, что этак их всех разгонят, и чесальщики вышли. В кабинете осталось человек пятьдесят сновальщиков, сушильщиков, шпульниц и мотальщиц.

— Вот что, товарищи,— обратилась к ним Анна,— было бы благора-

зумней с вашей стороны обратиться раньше в фабком, чем приходить сюда...

Ей не дали договорить, все стали об'яснять, что председатель фабричного комитета отказался говорить с ними и послал их сюда.

— Тем лучше,— спокойно сказала она,— вы хотите узнать, что будет с вами в связи с упразднением ваших цехов, так я вас поняла? Ну, вот, можете спокойно итти домой, никто из вас уволен не будет, все останутся на фабрике, поняли?

— Это все на словах,— недоверчиво произнес старик-сушильщик,— а там выкинут на улицу, знаем.

— Я приказала отремонтировать сто ткацких станков и все имеющиеся ватера, работа будет.

— Не знаем мы этого дела и знать не хотим,— возражала старая работница,— спокон века были шпульниками...

— Спокон века, говорите,— переспросила Анна,— пригласите мне, товарищ Хоботов, сотрудника конторы... Я велела заготовить карточки рабочих,— обратилась она к вошедшему секретарю,— дайте мне их сюда... Как ваша фамилия? Смирнова? Спокон века, говорите, посмотрим... В тысяча девятьсот седьмом году вы были ватерщицей, через пять лет стали ткачихой, затем десять лет простояли за ткацким станком, два года были браковщицей и только последние пять лет работаете шпульницей... Следующая, ваша фамилия? Кулебякина? Десять лет ткачиха... Ваша фамилия? Малина? Три года стояли за ватерами... Переквалифицируетесь и будете работать, откажетесь — неволить не станем...

— Не будем мы учиться,— слабо настаивали работницы,— как мотальщицами были, так мотальщицами и останемся...

— Не останетесь,— резко заявила Анна,— шпульных и мотальных машин не будет больше, они не нужны.

Когда рабочие ушли, секретарь коммунистической ячейки взволнованно заходил по кабинету:

— Это проделка Петра Сергеевича, я этого не оставлю. За такие действия надо под суд отдать, исключить из партии... Это значит лить воду на мельницу наших врагов...

Анна взяла его за руку и мягко сказала:

— Не надо, успокойтесь. После ревизии всем станет ясно положение фабрики, тогда и он все поймет. Нехорошо, когда фабком сам лишает себя доверия рабочих, но кто из нас не ошибается?

Анна замолчала, и он, сконфуженный ее намеком, вышел.

В этот день ей положительно не везло: в шпульном отделении рабочие сломали машину, и мастер послал за директором. Ее долго искали по фабрике и нашли в сборочно-механическом цехе, где она осматривала исправленные станки и вновь составленные ватера. По ее расчету ткацких станков должно было выйти из ремонта больше, и мастер со списком частей в руках обходил каждую машину и показывал, куда ушел имевшийся материал.

Когда Анне сообщили о происшедшем, она заторопилась, разрешила собрать еще пять ватеров и ушла.

В приготовительном отделении после случая во время шлихтовки решено было прекратить опыты, удалить упраздненные машины и перейти к новому методу работы. Мастер прядильни руководил удалением моталок, а Кандауров — удалением сновальных и шпульных машин. Рано утром, в день, назначенный для уборки ненужных станков, прошел слух, что оборудования трогать нельзя, так как за сорок лет «машины устоялись и так в'елись в пол, что их с места не сдвинешь».

На этот раз Телебукин был вне всякого подозрения: его из шлихтовочной перевели в ткацкую, и к перестановке машин он никакого отношения не имел.

На третьем этаже Анна застала следующую картину: у самых дверей лежала большая шпульная машина, деревянные части ее рассыпались в щепки, вал изогнулся, а шкив далеко отлетел в сторону. Чернорабочие сидели на браковочном столе и громко шутили:

— Ломай, брат, все наше, директорша новую построит.

— Языком ладит, а дела что-то не видать.

— Три месяца строит, как бы не перестроила.

— Давно бы сбежала, грехов сума, не дотянуть...

— Что у вас здесь случилось? — спросила Анна.

Они не заметили ее прихода и при первых звуках знакомого голоса вскочили и бросились к машине, делая вид, что собираются ее поднять. Добиться от чернорабочих об'яснений не представлялось возможности. Речь их сводилась к тому, что один «застромил» лом, чтобы сдвинуть «шпульню», а остальные в это время крепко держали ее. Вдруг она «будто подскочила и повалилась». Во всем виновата машина, которая, во-первых. «здорово засела», а во-вторых, «чуть всех не передавила»... Слава богу, что так кончилось, могло быть хуже...

Анна послала за Телебукиным. Она пригласила его в ткацкую контору, любезно усадила и обратилась к нему со следующими словами:

— У меня к вам просьба, Яков Степанович, не откажите взять на себя руководство уборкой машин... Одну сломали, другую не пожалеют, пожалуйста...

Подмастерье ухмыльнулся, польщенный ее вниманием, и спросил:

— А ежели что случится, с меня спросите?

Конечно, ведь с нее тоже спрашивают, но он управится, безусловно управится...

— Может, другого поставите, мне в ткацкой спокойней...

— Не могу, и не просите, вы единственный человек. Андрей Петрович занят, а кроме него некому, сами знаете... Значит, обещаете? Смотрите только, ни одной поломки... Не погляжу, кто виноват, вас первого уволю.

Прежде чем Телебукин успел возразить, Анны в конторе уже не было.

У дверей фабрики ее ждал Федька; он стоял прислонившись к лестнице, бледный и похудевший. За несколько дней он стал неузнаваем: глаза ввалились, кожа на лбу сделалась прозрачной, а птичий нос еще более обострился. Он снял шапку и, не надевая ее, робко поклонился. В кабинете Федька остановился посредине комнаты и, потупив глаза, мял в руках свою шапку. Анна предложила ему сесть, непринужденно осведомилась о здоровье и в то же время чувствовала, что речь ее звучит фальшиво и неискренно. На все ее вопросы парень давал односложные ответы, переминался с ноги на ногу и не подымала глаз. Она вышла в контору, рассеянно попросила у бухгалтера ненужную справку и, вернувшись, застала Федьку в той же позе, на том же месте.

«Что ему сказать? Как прервать молчание?»

Анна тревожно прислушивалась к каждому шороху, никогда еще слух ее не был так напряжен: она слышала, как жужжит муха в пустой чернильнице, как бьется большой овод в окне, и напряженно ждала его слов.

«Нужно спросить, что ему надо, нельзя же так молчать до бесконечности».

За окном кто-то протяжно закричал, глухо донесся пароходный гудок, и снова стало слышно жужжание мухи.

— Я к вашей милости, Анна Сергеевна...

Голос звучал надорванно и грустно. Ей стало жаль его, и, чтобы придать разговору непринужденный характер, она просто сказала:

— Чего ты стал, садись.

Он мотнул головой и тихо сказал:

— Уволили вы меня...

— Уволила, что было делать, ведь ты опять на два дня загулял.

Федька поднял голову, и в глазах его отразились страдания, жгучие и мучительные, как пытка.

— Не гулял я, Анна Сергеевна, богом клянусь, не гулял,— что вы со мной сделали...

Губы его дрогнули, подбородок искривился, и казалось, сейчас прорвутся рыданья, но он крепко прикусил нижнюю губу и, напряженный, со сведенными челюстями, продолжал смотреть ей прямо в лицо.

— Ты получил два выговора, на третьем следует увольнение, тебе правило это известно.

— Хоть бы вы пожалели, горя-то за два дня сколько набралось, не перемеришь и не перечтешь...

Она старалась не смотреть на него и, отвечая, нервно перебирала пальцами бумаги, теребя носовой платок и пряжу, лежавшую на столе.

— Я ничего не могу сделать, Федя, пойми... Ну, где ты был эти дни?

— Умерла ж она, Анна Сергеевна, умерла, понимаете... Замучили ее, со света сжили... Что мне было делать, голову себе сломать или живьем в могилу полезть?.. Помилосердствуйте хоть вы... Куда мне податься? Изведет меня крестный...

Он говорил, а из глаз его текли слезы, крупные и прозрачные.

— Подай заявление, может быть, восстановят, я не буду возражать... Ты хорошо знаешь, как здесь следят за мной.

Парень сразу как бы осел; что-то непреклонное отразилось на его лице, слезы перестали бежать, и длинная морщина легла вдоль всего лба. Анна взглянула на него и испугалась перемене, происшедшей с ним. Она вдруг почувствовала приближение припадка и, не говоря ни слова, вышла в контору. Вернувшись, она Федю в кабинете уже не застала. Первой ее мыслью, как и утром после ухода секретаря, было броситься вслед за ткачом, во что бы то ни стало устранить допущенную ошибку, отговорить его от необдуманного шага, утешить, но глаза ее остановились вдруг на бумажке, лежавшей пред ней: это было извещение о том, что ревизия началась, и мысли приняли другое направление.

Прошло несколько часов, Анна выслушала еще один доклад, побывала на заседании, долго совещалась с ревизионной комиссией треста и вдруг поймала себя на том, что все время продолжает думать о Федьке. Ее ждала работа, нужно было изготовить важные документы, дать ответ на ряд сложных вопросов, а в ушах настойчиво стучала речь уволенного ткача, звенела его мольба, а пред глазами маячила изможденная фигура Федьки.

Однажды на фабричном дворе мимо нее быстро пробежал рабочий с низко опущенной головой. Было что-то нарочитое в его скорчившейся фигуре и движениях, как будто он опасался быть узнанным. Она вернулась и догнала его, это был Федька. Костюм ткача был испачкан сажей, руки в масле, на лице следы копоти, мог ли он в таком виде встретиться с ней? Ему стыдно было, очень просто, стыдно было своего костюма. Ей вовсе незачем было останавливаться и конфузить его...

Другой раз они встретились в поселке. Он шел ей навстречу неуверенными шагами пьяного человека и мурлыкал себе под нос песенку. Шапка его с'ехала набок, волосы разметались по лицу, а в кармане торчала бутылка водки. Что стало тогда с бедным парнем... Хмеля как будто не бывало, веки стыдливо упали, руки беспомощно повисли, и вся фигура выражала растерянность. Она вытащила из его кармана водку, далеко отшвырнула ее и принялась распекать его. Разве мало других, более разумных времяпровождений, почему бы ему не сходить в клуб, в школу, где обучают неграмотных, в кино?..

— При такой жизни,— безнадежно махнул он рукой,— не то что напьешься, волком завоешь. На ум ничего нейдет, Анна Сергеевна, извели они меня, до смерти извели... В клуб, говорите, сходить,— стойло у крестного чище... Эх, жизнь моя, горькая... Ни тебе радостей, ни тебе погулять, чисто в святые готовят. Одумаешься, тошно станет, себя облаешь, мать, что родила, а там снова, снова загнешь...

Анна вспомнила это, думала о предстоящей ревизии и чувствовала, как увядает ее воля. Она бессильна была подняться, позвать кого-нибудь, уйти в свои дела или забыть Федьку. Хотелось долго сидеть так, окунувшись в грустные думы, никого не видеть и не вспоминать... Это, конечно, признак

слабости, переутомления, но не всегда же человеку проявлять напряжение. Иногда даже хорошо поддаться временной слабости, чтобы с большей силой подавить ее в моменты острой необходимости... Силы нужно экономить, их слишком мало, а трудностей еще очень много... Нет, нет, эти мысли рождены безволием, дать чувствам волю, значит, выпустить узду из рук. Кто не владеет собой в мелочах, бессилен и в значительном.

Думы неслись в ее голове, словно тучи на осеннем небе: то сплошной массой, то бесформенными клочьями. Изредка выглянет мутное солнце, прорвутся бледные лучи, и снова нескончаемые облака, холодные и мрачные.

«Что, если с Федькой случится несчастье?»

Теперь мысли Анны приняли устойчивое направление: тысячи возможностей и опасений приходили ей в голову; она упрекала себя в жестокости, перебирала в памяти свой разговор с ткачом и, утомленная бесплодными размышлениями, вышла. Не отдавая себе отчета, куда и зачем она идет, Анна направилась к небольшой рощице, известной под названием «Копейкиной рощи». Ноги ее ступали по мягкому ковру порыжевшей хвои, по низко стелющимся кустам папоротника. Бессознательно она пересекла проезжую дорогу и пошла мимо огородов, по направлению к старенькой церкви, с колоннадой и порталом. У каменной ограды тропинка раздваивалась: одна шла к липовой аллее, ведшей в усадьбу, а другая — к селению Табачиха, в двух километрах от фабрики.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна!

Она оглянулась и увидела девушку лет двадцати, с плетеной сумкой в руках. Голова ее была покрыта красной косынкой, а на ситцевой кофточке рядом с фабричным номерком торчал пятиконечный значок с надписью «КИМ».

— Куда вы? — спросила девушка, взваливая сумку на плечо.

Анна подумала и не сразу ответила:

— Так, погулять... А вы не знаете, где живет Телебукин Яков Степанович? Мне как-то указали его дом, но я не запомнила.

— Телебукин, говорите вы... Тот, что квартиранток содержит?

— Не знаю; он, кажется, сектант.

— Ну да, он и есть.

У продолговатого деревянного дома, окрашенного желтой краской, на протянутых веревках трепыхались разноцветные одежды и белье.

Анна остановилась у дверей и впервые спросила себя: что привело ее сюда? Понадобилась томительная минута, пока она припомнила посещение Федьки и разговор с ним, но теперь тревога показалась ей неоправданной и опасения излишними.

Анна открыла дверь и невольно подалась назад: комната полна была мужчин и женщин. Из глубины помещения доносилась чья-то однотонная речь о «силе господней». Проповедник говорил торжественно и страстно, картавя и часто повторяя слова «великий и бесподобный сын» и «аллилуйное величие». После его речи молящиеся запели псалмы, опустились на колени и молили «о ниспослании небесной благодати на рассеянных по миру

поморцев». Следующим проповедником выступил Телебукин. Анна протиснулась вперед и остановилась у окна. Подмастерье стоял за столиком, в углу комнаты, опершись руками о псалтырь. На стенах молельни висели плакаты с религиозными изречениями, цитатами из посланий апостолов, нагорной проповеди, библии, и странно не гармонировали с ними лозунги рядом: «Пролетарий на коня!», «Вырвем с корнем разгильдяйство и бюрократизм», «Каждая женщина должна быть подписчицей Женского журнала», глядевшие со стен, оклеенных газетной бумагой. Телебукин прочитал главу «об изгнании бесов», отложил евангелие и, поглаживая то усы, то лысину, на некоторое время замолчал.

Анна заметила, что он читал евангелие без очков, и сообразила, что подмастерье, должно быть, надевает их для важности.

Толкование текста заняло у него много времени. Он громоздил аллегорию на аллегорию, приводил туманные примеры и с непонятной настойчивостью часто возвращался к «беснующимся и бесам», словно хотел этим подчеркнуть другую мысль, известную только посвященным. Несколько раз философствования заводили его очень далеко от темы, тогда примеры из фабричной жизни ярко иллюстрировали факт существования дьявола и отношения Христа к святой троице. Чтобы провести параллель между царем небесным и царем земным и вывести из этого еретичность Никона, оратору понадобилось добрых полчаса, и все же кроме вороха противоречий из его затеи ничего не вышло. Нагромоздив еще несколько аллегорий, Телебукин благоговейно произнес: «С нами истина небесная, правда божья и непогрешимость апостолов, аминь»,— и сел.

Анна вспомнила вдруг о Федьке и принялась разглядывать молящихся. Предчувствие ее не обмануло: он стоял недалеко от крестного, уткнувшись в евангелие. Она, осторожно ступая, придвинулась к дверям и вышла из молельни. В сенях ее кто-то окликнул: пред ней стоял Телебукин. Рябое лицо его покраснело, лысина блестела от пота, а глаза тревожно суетились.

— Куда ж вы, Анна Сергеевна,— задыхаясь от волнения, произнес он,— не обижайте нас, будьте гостьей. Не откажите ко мне заглянуть, верующие сейчас расходятся, сделайте милость, ради бога.

Он открыл дверь и пропустил ее в соседнюю комнату. Это было просторное помещение с большим длинным столом и тремя рядами деревянных икон без риз и стекол в углу. На полу лежали цыновки, окна были завешены белыми занавесками, а на нише висело домотканное рядно. Подмастерье придвинул ей стул и, пожимаясь, не то от смущенья, не то от волнения, захлебываясь, сказал:

— Вот уж верно, что удивили, никак не ожидал... Сперва думал, дело какое важное есть, смотрю — молчит человек, значит, не торопится.

Анна встала, но он преградил ей дорогу и с выражением глубокого огорчения принялся уговаривать ее посидеть часок.

— Может, хозяйство посмотрите? Сделайте милость, покажу...

Телебукин стоял пред ней, слегка склонив голову набок и выдвинув подбородок с выражением настороженной собаки. Согнутые руки образо-

пали скобки по бокам его туловища, плечи опустились, и на лице выступила подобострастная улыбка.

В большом дворе с многочисленными крестьянскими постройками прежде всего попались на глаза деревянная борона и ярмо; они были связаны цепью, концы которой тянулись к стене. Телебукин стукнул по ним палкой и рассмеялся:

— Мужички еще потребляют, а у меня это в роде как музей. С этого ведь я, Анна Сергеевна, начал: были бычок да борона, богом истинным, правду говорю, а теперь вот на память оставил, самому не забыть и другим в науку.

В просторном сарае блестели чистенькая веялка, косилка, несколько четырехлемежных плугов, сеялка, сноповязалка, и лежали в куче новенькие серпы.

— Гордость моя,— повышенным голосом произнес подмастерье,— всю жизнь на это положил.

Он повел ее в другой сарай, полный хлама, и, осторожно трогая сломанные колеса телеги, пришедшие в негодность полозья саней, гайки, куски железа и части сломанных машин, стал долго рассказывать, как используется в его хозяйстве всякая рухлядь: боже сохрани, что-либо выбросить — все нужно. Негодное обменивается на годное, лом продается, ветхое переделывается, подкрепляется новыми частями, и «одно к одному» выходит порядок.

— На корову, Анна Сергеевна, посмотрите, одна во всем мире. Породистая, не русская; телки все от нее. Пятьдесят километров исколесил, чтоб быка найти. Другие приплод режут, у меня этого нет, каждые три года корову продаю, куда доходней. Жеребцов моих никогда не видали? Непременно посмотрите. Теперь ведь больше пары держать нельзя, налогом задушат, а то ведь такую конюшню завел бы, сам бы царь позавидовал...

Телебукин переходил от коров к телятам, нежно гладил их, смахивал с шерсти соломинки, хлопал по бокам и с любовью заглядывал им в глаза. Около жеребца подмастерья трудно было узнать, он выпрямился, словно стал выше, в глазах его отражалось восхищение и гордость. Он как будто забыл о своей спутнице. Анна заметила, что губы его шевелятся. Она тихо приблизилась к нему и в шопоте его разобрала: «милые мои», «соколы», «ах, вы, красавцы!..» Он гладил гриву лошади и над самым ухом ее произносил эти слова. Видно было, что он сам тронут силой своего чувства.

— Все заработки на хозяйство уходят. Двадцать лет с женой работаем, людей держим, днем и ночью трудимся, а свободного рубля не видим. То лобогрейка нужна, то телега изломалась, то да се...

По двору, важно ступая, прошел рыжий петух с высоким гребнем и пышным хвостом из синих перьев.

— Не поверите, двадцать рублей отдал. По всей России теперь такого не найти. Ветеринар его как-то чудно называет: не то «Котюхинский», не то «Коцюбинский»...

Он замолчал и, уже подходя к дому, сказал:

— У меня к вам, Анна Сергеевна, дело есть, сделайте одолжение, зайдите послушать. Я только на минуту.

Когда она заняла прежнее место за столом, подмастерье вытер вспотевший лоб и спросил:

— Говорят, вы уволить меня собираетесь, правда?

Он перегнулся к ней так, что верхняя часть туловища его почти лежала на столе. Прежнее выражение независимости и довольства уступило место подобострастию и тревоге.

— Да. Думаю, на будущей неделе, после ревизии.

Он отшатнулся, словно на него направили револьвер; губы его бессильно разомкнулись, нос побелел, и нервно задвигались руки.

— Не отмените, твердо решили? Может, передумаете?

Голос подмастерья дрожал как струна.

— Нет, решено. Я три месяца надеялась, что исправитесь. Теперь поздно.

В ее твердой речи и строго сдвинутых бровях Телебукин прочел свой приговор. Тогда произошло нечто неожиданное: выражение тревоги мгновенно сменилось выражением ядовитой иронии, злобы, неукротимой и смертельной.

— За что, за правду, за благочестие и веру в истинного бога?

Только на миг в глазах Анны мелькнул испуг, она отодвинула свой стул и непринужденно ответила:

— Нет, Яков Степанович, за дурное поведение и вредную деятельность. Мне незачем вам перечислять всего, у вас, говорят, хорошая память...

— А вам бы хотелось, чтобы каждый горе свое про себя держал? — иронически спросил он.— Нет, милая, не то будет. Сил нет терпеть боле, измаялся народ. Надоело, вот как надоело. Куда ни глянь, поборы да грабежи; добро твое ровно кому поперек горла стало. Мопры корми, в профсоюзы давай, хочешь не хочешь, займы покупай. Прикинь-ка, во что это нам влетает. Все одно, что раз в месяц полсотни яиц, фунта два масла, десяток кувшинов молока да фунта три меда в помойку выбросить. Вот оно куда добро наше идет. Одним, верно, делом и заняты, как больше названий придумать, чтоб у мужика последний рубль выкачать... Расплодили крысомольцев-безбожников, ни людям, ни богу от них уважения, что отцам, что соплякам — один почет. Смотришь, от земли на вершок не вырос, зад голый, а на весь поселок родителю кричит: «Чего бельма налил, алкогол!» Девок срамят, постом на гармонике наяривают да песни поют...

Он спохватился, что слишком далеко зашел, и поспешил добавить:

— Калинин сказывал, церкви запирать нам право дано, а ломать не можем, сами не строили, а кто его слушает? Через меру взяли, Анна Сергеевна,— более спокойным тоном продолжал Телебукин,— все сразу переделать вздумали, и не вышло. Раньше, милая, фундамент кладут, потом избенку ставят, там и притычку делают, не одним махом — разоришься. Всякому свой черед. Скажете, и по-другому бывает? Бывает что и медведь

летает, только с дерева. Порядок дело святое — его не расшибешь без ответа. Теперь за все и несем ответ пред богом, пред людьми и пред собой.

— Слышала я это,— вставая, сказала Анна,— поздно вас переубеждать, добро мешает. Прощайте.

12

На кирпичной стене фабрики, у самых ворот, висел большой плакат, написанный черными и желтыми красками и украшенный розовыми разводами. Рабочие, облепившие ворота, в десятый раз прочитывали его содержание, шептались, перемигивались и вступали в долгие разговоры. Весть о плакате с удивительной быстротой разнеслась по поселку, она облетала улицы, порождая самые разнообразные слухи, вызывая недоумение и недоверие. Притягательная сила квадратного листа обнаружилась к полудню, когда толпа в несколько сот человек заполнила базарную площадь и притиснулась к фабричному пруду, а новые массы людей все продолжали прибывать. Рабочие застревали в переулках, улицах, у чужих крылечек и жадно смотрели на то место, где висел плакат. К трем часам дня людской прилив затопил прилегающий к фабрике пустырь, а лесными дорожками, межами и полем все еще шли ткачи и ткачихи. Они вплотную приставали к человеческой стене, встревоженные и любопытные. Содержание плаката передавалось из уст в уста и на всех одинаково производило ошеломляющее впечатление. Комментарии, намеки, догадки и слухи появлялись с поразительной быстротой, казалось, люди заражали друг друга опасениями, тревогой и смутными надеждами. Предположения, малообоснованные и легкомысленные, принимались за факты достоверные и неопровержимые. Они обсуждались, к ним вносили поправки, дополнения, их оспаривали и пускали дальше.

На площади становилось шумно; голоса, вначале робкие и тихие, нарастали, шум густел и крепчал, неудержимо разливался и непроницаемой завесой повис в воздухе. Несколько раз кто-то выкрикивал: «Товарищи!», махал руками, но речи не слышно было: ее поглощали бушующие волны звуков.

В четыре часа послышался гудок, открылись фабричные ворота, и все бросились во двор. У плаката никого не осталось. Вот что было написано на нем:

В субботу, 12 июня,
во дворе фабрики
состоится общее собрание рабочих и служащих
при участии
администрации, фабкома и ячейки.

Повестка дня:

1) Доклад товарища Калымовой о положении фабрики в связи с уходом ее с поста директора.

2) Заявление ревизионной комиссии треста.

3) Текущие дела.

Начало после гудка в 4 часа.

Фабрику охватила лихорадка; во всех корпусах, в конторе, в хозяйственной части, на конном дворе и в столовой — всюду говорили о предстоящем собрании, главным образом, всех волновал вопрос: уволена ли Анна или она добровольно оставляет службу и какое сообщение намерена сделать ревизионной комиссии. То обстоятельство, что заявление представителя треста стояло на повестке дня рядом с докладом директора, как будто служило доказательством связи между этими явлениями, но на плакате значилось «в связи с уходом» и ничего не упоминалось об увольнении,— это давало повод для споров.

Как водится в таких случаях, деятельность директора, его нравственность, характер, типичные черты, привычки и даже незначительные поступки обсуждались всесторонне. Анна, конечно, не знала и сотой доли того, что говорили о ней окружающие.

Одни говорили, что Анна разжалована и на собрании ее непременно арестуют. Другие, наоборот, доказывали, что Анна Сергеевна оправдается, потому что на ее стороне правда и закон. Ходили слухи, что имеется тайное предписание за печатью Москвы, которое будет оглашено на общем собрании. Вокруг этого вздора разгорелись страсти и завязались споры, чуть не перешедшие в драку. Кто-то горячо настаивал, что Анна «золотой человек» и врагов ее «нужно крыть из пулемета». На это другой возражал, что не отлили еще тех пуль, которыми его будут расстреливать, а пока суд да дело, пусть защитники директора берегут свои физиономии. Тот, кому пргрозили, не остался в долгу и тумано напомнил своему противнику об условном наказании, которое ему «припаяли» за хулиганство. Перебранка неожиданно закончилась тем, что защитник директора смачно плюнул, назвав другого нелестным именем и ушел.

У дверей ткацкого отделения уволенный Телебукин, часто оглядываясь и, не снимая очков, шопотом жаловался:

— Уволили, и бог с ними... Терпеть так терпеть, пусть видит народ, как за веру человека изводят. Моя ли вина, ежели Кандаурова баба к нам в секту повадилась? Мало ли к нам верующих ходит, гнать их, что ли? А они из клубов людей гонят? Храм божий, каждому свобода, что, не так ли?

В другом конце двора оживленно спорили несколько женщин. Началось с того, что одна из них, пожилая ткачиха, лет пятидесяти, закружилась на месте, сама с собой заговорила и принялась голосить благим матом. Из ее слов трудно было понять, одобряет ли она образ действий Анны или порицает. Ее обступили, и завязалась беседа.

— Ведь она, милые мои, баб против мужиков наставляет,— таинственно поверяла она своим слушательницам,— верное слово. Я сама слышала, как она соседку мою, рыжую Стешу, пробирала. Охота тебе, говорит она, детей плодить, себя пожалей, с мужиком что церемониться...

— И правда,— подхватила молодая вдова,— дай мужикам волю, скоро сестру нашу в гроб загонят. Им что, детей няньчить?

— Не знаю,— подергивала плечами другая,— чем это им директорша не ко двору пришлась? Человек хороший, очень хороший. Шла я как-то

с ночной смены домой. Мороз, дорогу снегом замело, не приведи господь. Она в те дни только-только заступила; разок или два всего видела я ее и то мельком. Дорога мне берегом, по-над кручей, кругом темно, пальца своего не узнать. Слышу, кто-то идет; обернулась,— она! Разговорились, расспросила она меня, ну прямо как бы ровня. «Как, говорит, фамилия вам?» Только я сказала, хрустнуло у меня под ногами, поскользнулась и упала. Она как бросится ко мне, как подхватит, сильная баба, враз на ноги поставила. С той поры, только увидит меня, первая кланяется и по фамилии называет.

Следующая рассказала о том, как Анна собрала крестьянок и предложила им вынести постановление засеять косогор. Женщины не соглашались без разрешения мужей. Директор же долго уговаривала их голосовать, потом рассмеялась и так, ничего не добившись, ушла. Из этого работница сделала заключение, что «директорша баба хорошая» и «зря на нее тень наводят», а что она строгая, «так только от хозяйственности».

Таким путем определилась политическая физиономия этой партии. К ней могли только примкнуть сторонницы Анны.

— Бросьте трепаться,— ожесточенно кричала в другой группе работница в блестящей кожаной тужурке, блестящем картузе и новеньких блестящих ботинках.— Что вы мне мужчин в пример ставите, я сама себе мужчина, на кой чорт они мне сдались...

У этой советской суффражистки была своя тактика защиты директора. По ее мнению, Анну нужно поддержать, потому что она «свой человек». Кто еще так хорошо, как женщина, поймет нужды работницы! Разве скажешь мужчине то, что скажешь ей? Все сплетни и нападки исходят от мужчин, которые хотят на ее место посадить своего. Женщины должны не поддаваться и отстоять директора. Когда рабочий упрекнул ее в буржуазности, она коротко отрезала ему:

— Подход у меня самый верный: одного мужа в гроб загнала, теперь за другого взялась.

В амбулатории уборщица, слушательница санитарных курсов, тайно мечтавшая стать доктором, горячо призывала медицинский персонал принять сторону директора. Насколько ей известно, сам Федосей Карпович поддерживает Анну Сергеевну, поэтому было бы нехорошо оставлять его в одиночестве. Ей возражал шестидесятипятилетний фельдшер, участник русско-японской кампании. По его мнению, череп и мозг женщины пока еще недостаточно развиты для серьезной государственной деятельности, поэтому он категорически против женщины-директора. Этот ответ взорвал старшую сестру; она до тех пор шпиговала своего оппонента выдержками из анатомии, пока тот согласился, что бывают редкие исключения, но они не колеблют правила.

В конторе бухгалтер резким движением установил на счетах «пятьсот», сбросил их и тоном человека, не терпящего возражений, сказал, что на фабрике лучшего директора не было и не будет. Это заявление имело реша-

ющее значение на мнение всех конторских служащих. Оппозиционные взгляды стали выражаться шопотом и с большой осторожностью.

Менее серьезно обсуждался тот же вопрос около бани. Рабочие, красные и потные, остановились около штабелей дров и, жадно вдыхая свежий ветерок, доносившийся из леса, негромко беседовали. Все сходились на том, что «директор — баба на ять», «кругом двадцать», но все же лучше было бы посадить на ее место мужчину. Правда, Алексеев «ей в подметку не годится», а о Болтине и вспоминать грех, но в таком деле нет ничего лучше как мужчина. Кто-то пустил нескромную остроту, и разговор сразу принял легкомысленный характер.

— Скоты вы, свиньи, черти проклятые! — неожиданно обрушился на них поток обидных слов.— Про-ле-та-рии, о чем заговорили...

Пред ними стояла девушка в красной косынке, с плетеной сумкой в руках. Она презрительно смотрела на ткачей и хлестала их своим возмущением.

— Нашли, о чем заговорить: «глазки и ножки чего стоят»,— принялась она их дразнить.— Так больше ничего и не увидели? Человек за три месяца фабрику вверх дном поставил, а они только глазки заметили. Уйдет она от вас, подождите, другое запоете, пришлют вам директора в роде Алексеева, про все тогда забудете. В ножки бы ей поклонились, она здесь полжизни своей положила. Зубоскалы! Не болеете, видно, за фабрику, не очень она вам нужна, ну и чорт с вами!

Прежде чем они опомнились, девушка исчезла за штабелями дров. Ткачи переглянулись, почесали затылки, пожали плечами и, пристыженные, словно уличенные в чем-то очень дурном, разошлись.

В пять часов посреди двора была установлена трибуна из ящиков, поставлен стол для президиума и около дюжины стульев. В то же время на крыше складов появились первые любители обозревать ораторов с вышины. Через несколько минут не было уже ни одного выступа, окна или карниза, который не был бы занят людьми. Первым сел за стол секретарь коммунистической ячейки, затем явились члены комиссии треста и председатель фабричного комитета. Директора на фабрике еще не было.

В этот день Анна встала с мучительной головной болью. Она лежала в постели, с трудом преодолевая дремоту. Наступило время обеда, часы показывали три, а улучшения не наступало. Несколько раз она пробовала встать, но ноги ее сразу слабели, голова кружилась, и она бессильно опускалась на кровать. Сон был беспокоен и тяжел. Одно время ее томил квадрат освещенного окна, тогда она решила переставить кровать, но вспомнила, что таким образом увидит пред собой швейную машину, и оставила свое намерение. Она давно уже заметила, что головка машины имеет особенность принимать различные очертания. Иногда сочетание блестящих винтиков рисовалось ее воображению смеющейся физиономией, головой хищной птицы или старческим беззубым ртом. Когда боли в висках стихали, ей часто казалось, что в легких накопилось слишком много воздуха, если выдохнуть его, станет легче. Несколько раз ей представлялось, что наступает облег-

чение, но она скоро убедилась, что это только самообман, на самом деле тяжесть как будто даже нарастает.

Анна проснулась со страшным ощущением в голове; ей казалось, что в мозгу происходят бесконечные напластования мыслей и понятий. Состояние это было ново и до того неиспытанно. Вначале, как бы из мрака, выступал предмет, но прежде еще, чем контуры его становились ясными, ассоциация приносила какие-то воспоминания. Приходил в движение весь мыслительный аппарат, логическая связь между предметом и воспоминаниями как бы восстанавливалась, но вдруг на память приходила посторонняя мысль или обрывок где-то услышанной фразы и занимали все сознание. Так, образуя пласт за пластом, ложились недовершенные и неясные думы, раздражая память и утомляя мозг.

Она отчетливо услышала шопот и тихий вздрагивающий голос золовки. Анна вспомнила о предстоящем собрании и открыла глаза. Часы показывали пять. Должно быть, пришли ее звать. Она ощутила в плечах нервную дрожь и по этому признаку решила, что силы к ней возвращаются. Когда Анисья вошла на цыпочках проведать больную, та стояла пред ней одетая, готовая в дорогу.

— Аннушка, душа моя, что с тобой, куда ты?

От неожиданности она присела, широко расставила руки, напоминая собой наседку, и в таком виде замерла. Анна слабо улыбалась и спросила:

— За мной приходили?

Анисья помедлила, и золовка догадалась, что та придумывает ответ, чтобы удержать ее дома.

— Ты правду говори, я все слышала.

— Слышала? — иронизировала ткачиха,— тоже, скажет... Были, да не те...

Нужно было сознаться, и она решила это сделать намеком.

Анна только притворялась здоровой, на самом деле боль в голове не утихала, сильно шумело в ушах, и не совсем твердо ступали ноги. По дороге на фабрику она несколько раз останавливалась и переводила дыхание, а когда проходила мимо пруда, над которым хороводом кружился пар, ей казалось, что прозрачные клочки принимают очертания человеческих лиц.

В фабричном дворе ее поразило множество людей, расположившихся на крышах, под навесами складов, высунувшихся из окон и заполнивших двор.

«Что им здесь нужно? Кого они ждут?» — подумала Анна, но вдруг вспомнила о предстоящем собрании рабочих и быстро направилась к столу президиума. Председатель фабричного комитета поднялся и уступил ей место, но она не села, а настойчиво продолжала смотреть на члена комиссии в больших роговых очках. Лицо его показалось ей знакомым. Он привстал, пожал ей руку и что-то спросил. В ушах ожесточенно гудело, и трудно было разобрать его слова. У нее, должно быть, не совсем здоровый вид, все удивленно смотрят на нее.

— Почему вы не отвечаете, Анна Сергеевна? — спросил ее представитель треста.— Я повторяю свой вопрос третий раз. Скажите, вы будете выступать?

Она встрепенулась, извинилась и ответила утвердительно.

Пока рабочие выкрикивали «регламент», поднимали руки и торговались за каждую минуту, Анна обратила внимание на старика с длинной худой шеей и стала мысленно прикидывать, сколько сантиметров у него между ключицами и подбородком. Затем ей пришла в голову мысль, что плечи у этого человека должны быть острыми, и с этого момента она не могла уже оторваться от него. Куда бы голова ни поворачивалась, глаза невольно направлялись в его сторону. Это раздражало ее, и, чтобы положить этому предел, она повернулась к нему спиной. Через минуту, сперва нерешительно, потом все смелее закрадывалось желание взглянуть на то место, где стоял старик. В самом деле, с какой стати стеснять себя, ведь она даже не знает его! Анна решительно обернулась к нему, но тот даже не моргнул.

Какой странный человек, он как будто смотрит в ее сторону и не видит ее! Глаза у него неподвижные, стеклянные, и весь он словно одеревенел. Она вспомнила своего знакомого, умершего на фронте от паралича сердца, и подумала, что глаза старика напоминают глаза того покойника. Во время ходынской катастрофы, она где-то читала, мертвые, поддерживаемые живыми, держались на ногах, и никто не знал, стоит ли рядом с ним живой или мертвый. Вокруг загадочного человека теснились рабочие, и она не могла уже отвязаться от мысли, что пред ней стоит покойник.

Когда Хоботов произнес: «Слово представляется товарищу Калымовой по первому пункту повестки дня»,— Анна поднялась на трибуну, подумала, что никакого старика на самом деле нет, что это ей померещилось, и звучным голосом заговорила. Во дворе сразу зашевелились, послышались возгласы «тише!», и все затихли.

Прежде всего она приносит рабочим свою искреннюю благодарность за ту помощь, которую они оказали ей за три месяца ее пребывания на фабрике. На этот раз ткачи превзошли все ее ожидания; трудно было ждать столько разумного спокойствия и терпения, сколько они проявили к ней. За это она выражает им особое спасибо. Конечно, нет ничего удивительного — все они знают ее, она выросла рядом с ними и их детьми за машиной. Среди собравшихся не мало таких, которые помнят ее отца, найдутся старики, знавшие деда, но все же доверие, оказанное ей, так велико, что она не находит в себе сил высказать им свои чувства. Она не обманывает себя на этот счет, наряду с друзьями были и враги, они искали ее несчастья, мешали и возбуждали других против нее. Но их можно по пальцам перечесть. Неужели десять человек способны затмить заслугу тысяч? Теперь, когда все трудности позади, пусть они все знают, что не она ими руководила, а наоборот. Да, да, она училась у них терпению и в минуты безверия и слабости ей достаточно было взглянуть на их истомленные лица, на сведенные усталостью руки, и та же сила, что питает их терпение, щедро наливала ее энергией. Спасибо им и за то, что никто из них не упрекнул ее в корысти,

в самодурстве и жестокости. Хотя она была жестокой, очень жестокой, но разве зло, сделанное ради великого блага, не есть добро?

Она прислушивалась к тому, как плавно текла ее речь, и удивлялась самой себе. Недавно только она не знала, с чего начать, а теперь у нее мыслей и чувств на целый день. Куда делся старик, ушел, или его вовсе не было? Конечно, не было, ведь он так похож на рыбака.

Она очень и очень виновата пред ними, так виновата, что вряд ли заслуживает прощения. За три месяца она ни разу не созвала их, не советовалась с ними и делала из управления фабрикой секрет. Это ее вина, и никто ее не переубедит. Правда, она последнее время больна, очень больна, и сейчас плохо чувствует себя, фабричный врач подтвердит это; нужно было много работать над проектом усовершенствования производства. Это отнимало много времени, нехватало дня и ночи, приходилось не спать, но оставаться одинокой среди тысяч, пренебречь помощью талантливых людей и одной надрываться от непосильного труда — разве не ошибка?

Анна сделала неожиданное открытие: ей показалось, что речь ее изливается непроизвольно, безо всякого участия голосового аппарата. Она могла бы закрыть рот, думать о чем угодно, а речь не прерывалась бы ни на минуту. Это, должно быть, проявление болезни; при высокой температуре воспаленный мозг на время становится необыкновенно плодотворным.

Даже самое усовершенствование производства не обошлось без ошибок с ее стороны. Она ни разу не докладывала о своем проекте на производственном совещании, не воспользовалась помощью технического персонала и совершила еще более значительное преступление: отказалась от инициативы ткачей. За это она уже понесла наказанье — переутомление сказалось и на результатах ее работы; детали нового метода производства недостаточно продуманы и нуждаются в исправлении. Главное сделано, фабрика сократила четыре цеха и не уволила ни одного рабочего; себестоимость товара снижена на пятнадцать процентов, и, что отраднее всего, льняная промышленность страны возродится. Новый способ производства будет введен на всех фабриках, примеру льняных последуют хлопчато-бумажные. Это ее заслуга, но разве наряду с этим простительно забыть, что она полтора месяца скрывала от ткачей важнейшее сообщение, имеющее для них жизненное значение. Она поступила так не из дурных побуждений, поступок ее, возможно, заслуживает даже снисхождения, пусть судьями будут они сами, но тысячу раз прав был тот, кто недавно заметил ей, что она недостаточно слилась с рабочими и не освободилась от дурных привычек фронтовой жизни. Да, ровно пятьдесят дней тому назад правление треста предложило ей подготовить фабрику к ликвидации ввиду ее недоходности. Она скрыла это от всех и принялась за осуществление своего проекта. Было много смелости в ее поступке, больше того, преступной самоуверенности, но свидетели они сами, что она имела ввиду только их благо. Мысли о тяжких последствиях безработицы, о том, как трудно будет им жить на одни доходы от земли, причиняли ей много страданий. Ей было жаль детей и тех, кто жизнь свою отдал фабрике и на старости остался бы без куска хлеба. Нет, это не прихоть, было слишком

мучительно жить среди людей и таить от них правду. Теперь все позади, комиссия треста пришла к заключению, что фабрика доходна и закрывать ее нецелесообразно.

Странно, почему они вдруг пришли в движение и смотрят на нее такими удивленными глазами? Неужели она произнесла что-нибудь необдуманное? Может быть, лицо ее изменилось? Скорее всего. А где Федька, почему его нет здесь? Вероятней всего — пьян. Кто-то сказал, что слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли, но разве она неискренна?

Она ошибалась, поступала опрометчиво, но все же отстояла для них кусок хлеба, теперь черед за ними. Нужно доказать тресту, что рабочие фабрики «имени Лассаля» сумеют стать во всех отношениях примерными. Она просит прощения за то, что упрекнет их в кой-чем. Многие относятся еще к фабричному имуществу не совсем добросовестно: исчезают медные части машин, запасный инструмент, некоторые не брезгуют охапкой очеса, болтом или катушкой пряжи. Вводить систему обысков нехорошо, недостойно для советской фабрики, но нельзя же бесконечно злоупотреблять доверием. Многие беспросыпно пьянствуют, не являются на фабрику и наносят таким образом себе и производству ущерб. Замечено, что ткачи сдают явно недоброкачественную работу и наполняют склады бракованным полотном. Нужна искренность в отношениях между рабочими и государством, для которого они трудятся. Когда ее предшественнику Болтину предложили снизить цены товара на десять процентов, он сократил количество нитей в основе и утке и, чтобы скрыть свое преступление, сгустил крахмал. Этот человек обманул государство и потребителей. Разве кто-нибудь оправдает его? Пролетарии России взялись за большое дело без ведома мира и ему наперекор, всякий, кто делает плохое полотно, сеет негодные семена и не выполняет требований правительства, предает своих детей, братьев и себя самого.

Почему нигде не видно Кандаурова? Как сильно болит голова и шумит в ушах. Неужели боли не пройдут?

У нее еще одно заявление: она оставляет их и покидает фабрику. Пусть доктор скажет, у нее слабое здоровье, требующее продолжительного лечения. Кто знает, когда она выздоровеет; болезнь серьезная и, возможно, неизлечимая. Ведь никто из них не подумает, что это только предлог с ее стороны; если потребуются доказательства, за ними дело не станет. Итак, она пожелает им сил и здоровья, успеха в своих стараньях стать примерными рабочими первого пролетарского государства.

Анна почувствовала необычайную легкость во всем теле. Она быстро сошла с трибуны, но в ту же минуту все заколебалось вокруг нее, в глазах потемнело и ноги стали подгибаться. Она ухватилась за стол и беспомощно прислонилась к нему. Анна не слышала, как Федосей Карпович приводил ее в сознание и на дрожках увозил домой.

Появление Анны за столом президиума ткачи встретили с любопытством. В задних рядах задвигались, каждый спешил протесниться ближе к трибуне, взглянуть на директора, следить за выражением ее лица и не

пропустить чего-либо из речи. Заколебавшаяся масса людей образовала сплошную ограду и закрыла собой трибуну. Послышались выкрики: «Садитесь!» «Не мешайте!» Началась давка. Это еще более усилило суматоху: пожарные лестницы и перила крытых переходов покрылись людьми, и на крышах складов барабанным боем забили ноги по кровельному железу.

Речь Анны, не погасила, а еще более разожгла вспыхнувшее любопытство. Она благодарит их за доверие, сознается в том, что училась у них терпению, но неужели все трудности позади? Значит выводы комиссии благоприятны, почему же такой печальный тон, голос, полный раскаяния, и частое упоминание о своих ошибках?

Когда она заговорила о распоряжении треста закрыть фабрику, тишина мгновенно заколебалась. Казалось, никто рта не раскрывал, а усиливающийся гул, в котором ничего разобрать нельзя было, пронесся над двором. Сознание близкой опасности как будто породило один общий стон, эхом дрожавший в воздухе. Ее ликующая речь о значении проделанной работы, о новой эре в льняной промышленности сомкнула уста ткачей, и снова недоумение отразилось на всех лицах. Все благополучно, успех важен для всей страны, почему же она покидает фабрику? Болезнь? Неужели она так тяжко больна?

Последние слова ее — пожелание им сил, здоровья и успеха глубоко тронули и потрясли людей. Сочувствие и благодарность к ней пробудились в них с такой острой силой, что, не случись с ней обморока, они неминуемо потеряли бы контроль над собой. Тогда необычайный взрыв чувств либо привел бы их к дикому проявлению восторга, либо вылился бы в непредвиденное действие, порожденное высокими побуждениями. Пока доктор выслушивал пульс и принимал меры, чтобы вернуть ее к сознанию, тысячная толпа как бы замерла. Все тянулись глазами к столу президиума, на котором лежала Анна; ни одного шопота, ни одного движения, словно обезлюдел двор. Только когда дрожки увезли директора и фабричного врача, над толпой взвился шум. Все кричали, не слушая друг друга, не заботясь о президиуме и тщетно пытавшемся что-то сказать Хоботове. Казалось, люди говорили, единственно побуждаемые накопившейся энергией, необходимостью разрядиться после долгого и напряженного молчания.

После настойчивых усилий секретарь ячейки нашел, наконец, способ восстановить порядок. Он подмигнул члену ревизионной комиссии занять место на трибуне и, когда все замолчали, воспользовался случаем сохранить процедуру «представления оратора».

— Слово для заявления,— громко оповестил он,— имеет представитель треста.

Человек в роговых очках откашлялся и сказал следующее:

— Как член правления льняного об'единения и председатель ревизионной комиссии, я должен сообщить вам, товарищи, что произведенное обследование дало весьма удовлетворительные результаты как в области производства, так и управления фабрикой. Успехи по рационализации оказались настолько внушительными, что комиссия сочла нужным поставить пред тре-

стом вопрос о введении беспрерывной работы впродолжение круглых суток. Сегодня я получил телеграфное распоряжение предложить директору набрать тысячу рабочих и пустить третью смену.

Теперь уже было немыслимо удержать взбудораженных рабочих. Кто-то прокричал «урра!» — и многоустная толпа ахнула, грянуло приветствие второе, и ликующий рев пронесся из одного конца двора в другой. «Да здравствует товарищ Калымова!» «Просим остаться на фабрике!» — вторило раскатистое «урра!» и снова сыпались приветствия. Что мог поделать Хоботов? Он кричал, разводил руками, делал умоляющие жесты, а толпа неистовствовала, наполняя воздух взрывами восторга. В дальнейшем случилось нечто такое, чего секретарь коммунистической ячейки не ожидал: толпа водоворотом закружилась, послышался оглушительный смех, и на трибуну влез старик-чесальщик. Вид у него был до крайности смешной: борода всклокочена, волосы на голове спутаны, словно трава после урагана, рубашка расстегнулась, и открылась густо заросшая грудь. Того, над чем тщетно бился Хоботов, легко добился этот рабочий — все стихли. Трудно было себе представить, чтобы тысячная толпа могла так замереть. Каждое слово оратора, малейший оттенок, вибрация его нетвердого голоса отчетливо слышались во всех концах обширного двора. Коверкая фразы, путаясь и сбиваясь на каждом слове, старик заявил, что чесальщики не дадут «доброго человека» в обиду, а если «сукины сыны» не перестанут беспокоить директора и не покаются, то пусть пеняют на себя. Анна Сергеевна никуда от них не уйдет, так как «не в ее характере бросать народ на произвол судьбы», но нужно постановить, чтобы все слушались ее, а «сукиных сынов с фабрики повыгонять».

Ему усердно аплодировали и собрались даже качать в знак одобрения, но оратор не своим голосом завопил и, награждая признательных слушателей тумаками, сбежал с трибуны. Его место занял другой старик, в пунцовой рубахе, лыковых лаптях и онучах, завязанных оборами. Это была копия одного из тех лубочных мужичков, которых изображают на дешевых олеографиях. Говорил он старчески-дребезжащим голосом, загромождая свою речь словечком «дескать». Прежде всего пусть все собравшиеся знают, что он гашник, т. е. обычный смертный, который втечение двадцати пяти лет только то и делает, что тушит электричество на фабрике. На его памяти еще хозяйничали Дергачевы, первый Лукоянов, «грабежный человек» с тяжелой рукой. Он запомнил всех директоров, но «против Анютки Илюхиной они — тьфу». Хоть бабы ему никогда особенно не нравились, в том числе и родная жена, но «про директоршу ничего не скажешь — голова у ней мужичья». Прокричав три раза «урра», старик при всеобщем одобрении покинул трибуну.

В это время Анна пришла в себя...

Около постели стояли Анисья, Петр и Федосей Карпович. В руках у него был сверток. Он вытащил зеленую бутылочку с белой сигнатуркой, налил ложку жидкости и подал Анне. Анисья жестом поманила мужа, и оба тихо

ушли. Доктор расставил бутылочки на столе, вчетверо сложил оберточную бумагу и спросил:

— Как вы себя теперь чувствуете?

— Плохо,— ответила она, страдальчески улыбаясь,— ужасно болит спина.

— Неужели? Вы мне этого раньше не говорили.

— Я вынуждена теперь лежать на боку...

— Разрешите вас посмотреть,— сказал он.

— Зачем? — удивилась она.

— Я хочу выслушать вас.

Она помедлила, как будто обдумывала ответ, и сказала:

— Я перерешила. Мне хотелось проверить, действительно ли вас легко обмануть... Помните, вы жаловались на ткачей?..

Он недоумевающе взглянул на нее и ничего не ответил.

— Что же вы замолчали?

— Вы так забили мне голову, что я все перезабыл,— растерянно ответил врач.— Не позже как сегодня утром я был близок к отчаянию, мне казалось, что небо обрушилось на меня... Вы представьте себе, меня вызывают к берегу Волги констатировать смерть от утопления. Молодой ткач, лет двадцати пяти, не то пьяный свалился в реку, не то бросился в воду с целью покончить с собой. Поразило меня, что на шее утопленника висела веревочная петля. Оказалось, рыбаки, увидев всплывшего человека, набросили на него веревку и, не справляясь, умер ли он уже, волокли его по воде несколько километров.

— Вы не знаете, как его звали? — тревожно спросила Анна, облокачиваясь на постель.

— У меня здесь акт медицинского осмотра, я сейчас посмотрю.

Он вынул из кармана аккуратно сложенную бумагу и стал медленно развертывать ее. Она вырвала из рук его акт осмотра, скользнула по нем глазами и неожиданно пришла в сильное возбуждение. Глаза ее расширились, голова судорожно задрожала, задергались края губ, и мучительно исказилось лицо.

— Что с вами? — испугался врач.

Он схватил со стола бутылочку, но она махнула рукой:

— Не надо, это обычный припадок, пройдет.

— Боже мой, я, наверно, с ума спятил!.. Какая глупость — нервнобольному рассказывать такие вещи... И как это у меня память отшибло... Я вас очень прошу, Анна Сергеевна, простить мне мою несдержанность... Это случается со мной впервые, хотя от этого моя вина ни на капельку не уменьшается, но верьте честному слову, я всегда много раз обдумываю, прежде чем сказать что-нибудь.

— Успокойтесь,— перебила врача Анна,— нет ничего плохого в том, что вы мне рассказали. Я хорошо знала умершего, это был мой друг... Вы с ним тоже были знакомы, он часто бывал у меня. Его звали Федькой, фа-

милию его я только из акта узнала... Скажите, нельзя ли выяснить причину самоубийства?

— Для этого пришлось бы произвести расследование,—взвешивая каждое слово, ответил доктор.— В милиции, должно быть, знают уже причину. Если вас очень интересуют подробности,— я схожу туда.

— Нет, нет,— сказала она,— не надо. Все равно не воскресишь...

— Вы простите мне, Анна Сергеевна, меня ждут еще сегодня в одном месте.

Он пожал ей руку, об'яснил, как принимать лекарство, и вышел. На улице его поджидал Петр. Он пытливо взглянул на врача и, видимо, ничего не прочитав на его лице, осторожно спросил:

— Что с ней, доктор?

Федосей Карпович принялся осторожно говорить о состоянии современной медицины, упрекнул науку в недостаточно быстром росте и, заверяя брата, что сестре ничего опасного не угрожает, в то же время намекнул на развивающийся у нее артериосклероз и на необычайно сильное нервное расстройство. Он советовал не говорить с Анной о болезни, всячески оберегать ее от волнения и втечение месяца не допускать к работе.

— Послушайте, доктор,— волнуясь и краснея, сказал Петр,— меня мучает мысль, что я виновник ее болезни. Ведь вам все известно, скажите мне правду, неужели события на фабрике так повлияли на нее?..

— Я совершенно искренно скажу вам,— ответил врач, отводя его в сторону, словно намереваясь вверить ему какую-то тайну,— я и сам на этот вопрос ответить не могу. Все произошло так быстро, что остается полагать — болезнь давно уже коренилась в ней... Нет, нет, вам не следует огорчаться на этот счет, она выздоровеет, и, как водится, дурное забудется... Прощайте.

Анна открыла глаза и увидела около себя Кандаурова, он стоял у изголовья и смотрел ей в лицо. Она закрыла глаза, но вдруг быстро приподнялась и села.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна, как поживаете?

— Благодарю. Добро пожаловать, редкий гость... А вы как поживаете? Садитесь.

Она говорила быстро и игриво, свежим и звонким голосом. Он опустился на стул, с недоумением разглядывая ее.

— Мне говорил Петр Сергеевич, что вам очень плохо, что вы несколько раз теряли сознанье и бредили...

— Ха, ха, ха...— громко смеялась Анна,— он пошутил с вами, а вы поверили.

Кандауров смущенно оглянулся, пошевелил пальцами и пробормотал:

— Мне казалось, что он говорил вполне серьезно. У него был такой убитый вид...

— Оставим этот разговор,— перебила она его,— все, что вы сказали, ужасно смешно... Видите вон на столе толстую папку, подайте мне ее... Ну,

вот,— перелистывая страницу за страницей, продолжала она,— эти акты дознания имеют непосредственное отношение к жизни и деятельности святого отца Телебукина. Несколько дней назад я передала дело следователю, а сегодня он уже сообщил мне, что распорядился об аресте вашего бывшего помощника. Что вы скажете на это?

Мастер сидел, опустив голову, ни словом, ни движением не выдавая своих чувств.

— Вы молчите, как будто совершенно не интересуетесь судьбой своего старого знакомого... Говорите ж, наконец!..

Кандауров поднял голову, и она по глазам его поняла, что он раздражен.

— Зачем вы мне все это рассказываете? — жестко спросил он, смерив ее недовольным взглядом.— Зачем вы притворяетесь здоровой и ставите в ложное положение Петра Сергеевича? Доктор сказал, что болезнь ваша требует длительного лечения, а вы силитесь меня обмануть, болтаете, хохочете, зачем?

Анна откинулась на подушку и закрыла глаза руками. Несколько минут она пролежала неподвижно, затем, не меняя положения и не отнимая рук от лица, как бы про себя заговорила:

— Это становится невыносимым, вы положительно издеваетесь надо мной... Откуда берется у вас столько жестокости, что́ я вам сделала? Малейшего повода достаточно, чтобы вы оскорбили и унизили меня. Вы спрашиваете меня, зачем я притворялась? Разве так трудно об'яснить себе причину? Вообразите себя на моем месте: мне тридцать лет, разве в этом возрасте слабость и болезненность своевременны? Какая женщина стала бы выставлять напоказ свою немощь, да еще пред любимым человеком?.. Ведь вам это хорошо известно, почему же вы придираетесь, бросаете мне в лицо унизительное обвинение?

Губы ее дрожали, голос прерывался и становился жалобным.

— С тех пор, как я заявила, что люблю вас, вы изменились к худшему.. Казалось, вам доставляло удовольствие мучить меня. Однажды вы вдруг сказали мне: «Вам давно пора замуж, нельзя безответственно засиживаться в девушках, нервы не разрешают...» Сказать это женщине, зная, что она любит вас, разве это человечно? Мне стало так больно и стыдно от ваших слов, как будто меня поймали с поличным. Целый день тяжелые мысли томили меня, а к вечеру я не знала куда деться от мучительной тоски. В другой раз вы еще больней оскорбили меня. Это было вечером, после двух бессонных ночей мне предстояло провести такую же третью. Я вышла погулять и не помню, как забрела в лес. Когда я спохватилась, уже темнело; в кустах пастух и подпасок варили на костре картофель, а невдалеке на полянке паслось стадо. Я повернула домой и по дороге встретила вас. Вы были очень озабочены и, кажется, куда-то спешили. Мы долго говорили о самых разнообразных вещах, я рассказывала о своей жизни и втайне ждала от вас хотя бы доброго слова. Вдруг по лесу разнесся оглушительный щелк. Мимо меня пробежал подпасок, придерживая рукой длинный кнут. Он несколько раз

взмахивал им, и лес положительно стонал. Пастух потушил костер и заиграл на рожке. Я обернулась, уверенная, что вы все еще около меня, но вас нигде не было. Вы ушли, не сказав мне до свидания. Я возвращалась домой с тяжелым чувством обиженного человека. Еще один случай, это было недавно. Мы сидели в конторе и обсуждали план перестройки шлихтовочного цеха, в связи с происшедшими изменениями. Я рассказала вам тогда случай, когда две сестры, разведенные ткачихи, условились сойтись с первыми встречными мужчинами, забеременеть и посвятить свою жизнь детям. Я сочувственно отозвалась о женщинах, которых только горчайшее разочарование в жизни могло толкнуть на такой шаг, и спросила вашего мнения, вы улыбнулись, я отлично помню, это было именно так, и сказали: «Это проблема для старых дев и обманутых женщин. Я в таком положении никогда не был, не знаю». Об'ясните мне, Андрей Петрович, что значит ваше поведение? Если я в чем-нибудь провинилась перед вами, не лучше ли прямо сказать, упрекнуть, выбранить, но зачем издеваться надо мной? За что? Возможно, вам неприятно видеть меня, почему же не открыть все начистоту, я поблагодарила бы вас за искренность, за правду и никогда больше не посмела бы заговорить с вами...

Возбужденная и нервная, она сидела перед ним, обжигая его взором лихорадочных глаз. Вдруг руки ее скользнули, и тело бессильно упало на подушку. Ей показалось, что потолок, пол и стены то сближаются, то удаляются, комната увеличивается и уменьшается, словно она из резины, и в то же время сильное гудение несется изо всех углов. Она хотела подняться, заговорить с Кандауровым, об'яснить ему, что ничего особенного не случилось, сейчас все пройдет, но члены ее тела как бы окостенели... Когда Анна очнулась, за окном была ночь. В комнате горела лампа. На стуле, полусогнувшись, с опущенной головой и со сложенными на коленях руками, сидел мастер. Он открыл глаза и спросил:

— Вы спали?

Она подумала и недоумевающе пожала плечами.

— Я, кажется, вздремнула.

— Вы пролежали так два часа.

— Мне приснилось, что мы заблудились с вами в лесу; слышим голос друг друга и боимся встречи.— Она вдруг смутилась и добавила: — Это был ужасно сумбурный сон. Я даже не совсем поняла его.

Кандауров усмехнулся, и улыбка застыла на его лице. Что стало с ним? Куда делась жестокая непроницаемость его лица, твердый, с металлом голос и холодный взор? Неужели это ей все еще снится? В таком случае она закроет глаза, и пусть этот сон длится без конца...

— Мне хотелось с вами поговорить, но я все опасался, не утомит ли вас длинный разговор. Я два часа сижу здесь и думаю над тем, уйти ли мне и отложить это до другого случая или...

— Нет, нет, нет,— перебила его Анна.

Что значит уйти, она, кажется, не так больна, чтобы разговор мог повредить ей? Притом ведь она только будет слушать, и, возможно, даже слова

не проронит. Какой странный вопрос: угодно ли ей выслушать его?.. Конечно, конечно... Он так мало говорил с ней всегда, зачем же теперь отказывать себе в этом большом удовольствии...

— Я выслушал от вас, Анна Сергеевна, много горьких упреков, я молчал потому, что заранее чувствовал, как фальшиво прозвучит мое оправдание рядом с вашими обвинениями. Я молчал еще потому, что вы правы и каждое слово ваше искренно и правдиво. Молчать дальше нельзя, да и не нужно; я решил рассказать вам все, ничего не утаивая. Вы умный человек и поймете меня. Я был жесток с вами, это верно, избегал встречаться с вами, и это верно, но разве вы не догадались, что поведением моим руководило не сердце, а голова. Помните, вы однажды назвали меня «Андреем» и тут же покраснели, я недовольно взглянул на вас и ушел. Как вы не поняли тогда моего состояния? Я люблю вас двенадцать лет, люблю искренно и глубоко. Мне легче было бы сдвинуть фабрику с места голыми руками, остановить машину и разогнать те тучи, что нависли сейчас над домом, чем забыть вас. Вся моя жизнь полна вами, все дни, часы и минуты. У меня нет таких мыслей, которые вас не касались бы, нет надежд, стремлений и чувств, не связанных с вами. Меня считают строгим и деловым человеком, сухим и не в меру серьезным, но никто не знает, что я, как юноша, ношу траур в душе. Что творилось со мной после вашего от'езда? Я чуть не потерял рассудка от горя. Я не скрывал своего состояния от окружающих не потому, что искал сочувствия у них, я физически не мог вместить в себе мои страдания. Сменялись годы, жизнь уходила, а моя тоска не покидала меня, нет, она росла и, казалось, я захлебнусь в ней. Пора была горячая, фабрика едва дышала, ткачи безрассудно разрушали то, что кормило их впродолжение полувека. Нужны были силы, чтобы удерживать их от преступления против себя, своих детей и нашего будущего, а мысли о вас расслабляли мою волю и томили мозг. Я запомнил вашу привычку бродить по лесу и часто отправлялся по той дороге, которую вы очень любили, и думал о вас. Со временем стало это и моей привычкой, и каждый день, независимо от времени года, я уходил в березовую рощу или в бор. Когда муки мои стали мне не под силу, я решил забыть вас, нужно было решать: либо отдавать свои силы и чувства призраку, либо живым людям, за которых я отвечал перед своей совестью. Это была самая мучительная пора в моей жизни. Три долгих года я искал средство и, наконец, нашел его: мне показалось, что в кругу жены и детей я забуду о вас. Почему мне пришло в голову жениться на работнице, я не могу вам сказать, должно быть, я бессознательно искал в моей будущей жене сходства с вами. Нет, это было нелегко; в каждой девушке мне хотелось видеть вас, я мысленно сравнивал их с вами и приходил к печальному заключению, что любить кого-нибудь из них я неспособен. Тогда окончательно оформилось мое решение жениться на Мане Пестюхиной. Она была самой красивой, и могло статься, что со временем я полюблю ее. Это была ужасная ошибка, за которую я расплачивался годами терзаний и обид. Она любила меня, высоко ценила, а я не переставал думать о вас. Обманывать ее было бесчестно, и в первый же месяц

нашего супружества я рассказал жене всю правду. Мы жили вместе, у нас появлялись дети, но один из нас был в своем доме чужой...

Он встал, взволнованный, прошелся по комнате и надолго остановился у дверей. Когда он занял свое прежнее место, лицо его было совершенно спокойно, руки заиграли цепочкой, но быстро оставили ее и легли на колени.

— Весть о вашем приезде,— продолжал Кандауров,— меня ошеломила. Первой моей мыслью было бежать, чтобы не встретиться с вами. Я представлял себе, как снисходительно вы посмотрите на меня, улыбаясь заговорите о давнем увлечении и высмеете то чувство, что так крепко еще сидело во мне,— и от обиды не знал куда деться. Возненавидеть вас всей душой, презирать, подчеркнуть вам мое равнодушие, казалось мне единственным выходом из положения. Чтобы разжечь в себе ненависть к вам, я вспоминал ваши дурные привычки, обидные манеры и резко высмеивал свойственную вам самоуверенность. Я еще и еще раз перебрал в памяти все обстоятельства вашего бегства из города, и тогда мне показалось, что отвращение мое к вам безгранично. При первой же встрече в кабинете я слушал вас и в то же время мысленно не переставал высмеивать себя: «Кого я так долго любил, по ком убивался, ведь она не та, совсем не та... Как изменилось лицо, около губ и на лбу умножились морщинки, нет прежних волос, глаза не те, движения другие, не то, не то... Неужели я ее люблю?..» В тот момент мне показалось, что я обрел, наконец, покой. Когда вы час спустя спросили меня: «Разве мы не друзья», я намеренно не ответил вам, так безразличны были вы мне. Я скоро заметил, что вы ищете случая заговорить со мной о прошлом, и стал избегать вас. Настоящее было на много отраднее прошлого, было бы неразумно отравлять счастливое свое настроение. Я умышленно устраивал наши разговоры при людях и, несмотря на все ваши просьбы, никогда не бывал у вас дома. Из моей затеи ничего не вышло. Я вас любил еще больше, чем десять лет назад. Что стало со мною, вы никогда этого не поймете, мне казалось, я с ума схожу. Один вид ваш делал меня жалким и беспомощным в собственных глазах. Чтобы не думать о вас, я много работал на фабрике, почти не отдыхал и уделял больше внимания жене, хотя мы давно уже были чужими и незадолго до вашего приезда развелись. Нет, нет, нет, все было напрасно: едва мысли мои покидали фабрику, они неизменно обращались к вам. Меня снедало чувство любви, все становилось противно, и даже в лесу я не находил больше покоя... Мысль о том, что все еще исправимо, положительно потрясла меня... Ни разу втечение первого месяца я не подумал об этом. В самом деле, жена покинула меня, вы не были замужем, что могло помешать нашему счастью? Я отлично запомнил тот день, это было тридцать первого марта. Я был счастлив, мне казалось, я стал на много лет моложе... Нет, лучше об этом не говорить, разве простыми словами перескажешь все... Мне хотелось убедиться, что вы действительно любите меня. Несколько дней спустя вы вызвали меня на шоссе к брошенному валу, и в ваших речах, мне казалось, я услышал утвердительный ответ. Тогда в избенке ткачихи я готов был уже сознаться вам в своих

чувствах, рассказать все, но мысль, одна мысль разбила все мои надежды. Как мог я это упустить из виду? Что скажут ткачи? Как можно было не подумать раньше? Разве они поймут нас? Ведь это унизит вас в их глазах. Они по-своему оценят ваш поступок, и последняя капля вашего авторитета иссякнет... Вас засмеют, заподозрят в самом дурном, будут поносить в глаза и за глаза, разве можно было этого не предвидеть?.. Вы поняли тогда мою холодность как проявление трусости, как опасение ревности со стороны моей жены, теперь вы знаете, как было дело. Я решил ничего не говорить вам и ждать. Пройдет некоторое время, думал я, может быть, год или два, трудности будут преодолены, рабочие привыкнут к вам, и это станет возможным. Когда вы изложили мне свой план изменения производства и сокращения цехов, я твердо решил молчать. На карте, кроме моего чувства, стояло благополучие двух тысяч рабочих. Все зависело от их настроения, нужно было во что бы то ни стало добиться их доверия. С этого дня — вы правильно сказали — я круто изменил свое отношение к вам. Мне казалось, что вы догадываетесь о моих чувствах, и, чтобы разуверить вас, я становился резким и жестоким. Вы не знаете, скольких сил это стоило мне, как тяжело было видеть ваше удрученное лицо, но согласитесь, иначе нельзя было поступать. Иногда мне казалось, что я слишком груб, слишком дерзок, и вы можете подумать, что я злоупотребляю вашей любовью ко мне, тогда я запирался в комнате, перебирал в памяти каждую фразу, каждое слово, сказанное вам, огорчался, называл себя бессердечным деспотом и давал себе слово загладить вину. В тот момент я забывал, что ткачи следят за каждым моим движением, ищут доказательств, чтобы вас осрамить, высматривают, выпытывают и с животным озлоблением гонятся за вами по пятам. Первый намек, подмеченный кивок головы или насмешка отрезвляли меня, я понимал, что малейшая неосторожность сделает вас несчастной, и жестокие слова, обидные замечания и дерзости сами срывались с моих губ. Ни вы, ни ткачи не должны были знать, что творится в моей душе...

Он поднял свое покрасневшее от волнения лицо и некоторое время молчал.

— Простите меня. Я, может быть, не должен был волновать вас таким длинным разговором, но мне слишком тяжело было... Я вас очень прошу простить меня...

Она протянула ему руку.

— Спасибо за все. Теперь, значит, все будет зависеть от Федосея Карповича?.. Не поздно ли, как вы думаете?.. Опять вы сердитесь, ладно, не буду... У меня к вам маленькая просьба, сходите пока в контору и скажите, что я передумала и в санаторий не поеду. Пусть приказом об'явят вас моим заместителем, пока я выздоровею. Если Федосей Карпович будет долго канителиться, я через неделю выздоровею и вернусь на фабрику... Что же вы сидите? Ах, да, теперь ночь... Тогда не забудьте это сделать утром.

Теруань

(Отрывок из романа)

А. Кирстен

Суббота 11-го. Ничего. От'езд Неккера. Воскресенье 12-го. Вечерняя молитва. Понедельник 13-го. Ничего.

(Из дневника Людовика XVI)

Двенадцатого июля, в воскресенье, предместья оказались осведомленнее, чем клубы и кофейни центра. Еще с утра, в очередях у булочных, в кварталах Кордельеров, Сен-Жермен де-Прэ и Сен-Антуана говорили об отставке Неккера.

Сначала никто этому не верил, таким невозможным казался вызов короля — народу. Но днем слух подтвердился. И тогда, со всех окраин и концов Парижа, тысячные толпы двинулись к Пале-Роялю...

Очер, стоя у дверей часовни на Сен-Мартен, больше часа наблюдал, как проходили мимо колонны, пока еще никем не возглавляемой и безоружной армии восставшего народа. Они шли сплошными, бесконечными рядами, плечом к плечу, старики и молодые, мужчины, женщины, подростки, дети.

Шли рабочие предместий, в рваных черных и зеленых блузах, шли тучные торговцы, в пестрых бархатных жилетах и низеньких сапожках, шли изможденные игольщики и краснолицые, приземистые мясники. Плелись старухи в деревянных башмаках и темных платьях; шли молодые подмастерья, хилые конторские писцы и щеголихи белошвейки в кринолинах и чепчиках из кружев; тяжело шагали гиганты-молотобойцы и огородники — бородатые, широкоплечие крестьяне в суконных, толстых, серых куртках, синих кушаках и войлочных беретах; шли в светлых накрахмаленных косынках и в ярких шелковых корсажах продавщицы из модных лавок и кофеен; шли овернцы-водоносы, шли фонарщики — понурые ночные гиды; ковыляли и ползли нищие-уроды и калеки в язвах и лохмотьях; шли носильщики порт-шезов, с висевшими на шее, бляхами с изображением августинского монаха брата Фиакр; шли поножовщики и воры — жители берлог из Сен-Мерри; шли высокие и низкие, усталые, худые, сухопарые, тощие и жирные, истощенные болезнями, здоровые и сильные, все угрюмые и молчаливые, все запыленные и потные, изнемогая от жары, озлобленные

предательством и подгоняемые беспощадной, нерассуждающей, стихийной волей.

Очер едва пробился сквозь это человеческое море тяжело дышащих, липких и вязких тел, но пройти на улицу Вениз ему не удалось: по ней, ему навстречу, катились новые людские волны.

У дома Массильяков, прислонясь спиною к железным, запертым воротам, в белом колете из лосины, стоял офицер-гвардеец. В правой опущенной руке он держал палаш, вынутый из ножен. Офицер был бледен; было заметно, как дрожала его челюсть и оскаленные зубы.

Он бил ногою, частыми ударами, назад в ворота, ожидая, что ему откроют их, услышав его стук. Его окружала, осыпая бранью, возбужденная, угрожающе кричавшая толпа...

Какой-то старичок, высохший, в морщинах, в треугольной шляпе, в старомодном парике с тоненькой косичкою, стал обстоятельно и чрезвычайно вежливо, с большими отступлениями, рассказывать Очеру, как этот офицер избил «молодую патриотку» за то, что та хотела вырвать из его рук роялистскую газету. Но Очеру так и не удалось дослушать подробностей рассказа. Вновь нахлынувшие толпы оторвали от Очера старичка.

В отдалении раздались голоса восторженных приветствий... Они приближались, ширились, росли, перекатываясь дальше — затихали, разгорались снова и, захватив всю человеческую массу, заполнившую улицу, слились в один оглушительный, протяжный, торжествующий, победный рев.

Из-за поворота показался отряд Рессювельских гренадеров. Они шли среди услужливо расступавшейся толпы, отбивая такт тяжелым, мерным шагом. На белых лацканах их малиновых мундиров, в серебряных чешуйчатых застежках ослепительно сверкавших лаком черных киверов, в прорезях замшевых ремней от тесаков и патронташей увядали сорванные утром в лагерях, уже поникшие и блеклые, васильки и маки.

Впереди, пружинистой и легкой походкой шагал мальчик-барабанщик. Он, надувая щеки, багровый от натуги, выбивал на барабане дробь и смеющимися, хитрыми глазами, весело смотрел по сторонам.

Рядом с ним шел командир, почти такой же юный. Его сиявшее от счастья, потное и загорелое, еще детское лицо не слушалось его; он тщетно пытался придать ему холодное и решительное выражение.

Это были первые солдаты королевской гвардии, перешедшие на сторону народа.

Очер, переулками, избегая больших улиц, добрался до площади Людовика. Елисейские поля, Королевский мост и набережная были оцеплены немецкими драгунами эскадронов Рейнаха и Эстергази. У Тюильери расположились полевые кухни; кругом была набросана солома, валялись пустые ящики, мешки и остатки сломанной дворцовой мебели. Атласная и кожаная обивка или висела клочьями, обнажая войлок, или была срезана и унесена.

Через решетку парка, у которой стояли лошади, жующие овес, виднелись спешенные кавалеристы. Одни, сидя у котлов на корточках, обедали, другие играли в кости, иные спали, лежа на траве. В тени лип и густых каштанов мелькали золотые позументы офицеров. Дальше за углом, на площади, толпа вплотную надвинулась на первые ряды развернутого строя конного Королевско-немецкого полка князя де-Ламбека. Толпа шумела и спорила с солдатами.

Молодая женщина, с черными, мелкозавитыми буклями волос, держась одной рукою за повод гнедой огромной лошади, а другою — гладя ее лоснящуюся жирную, крутую шею, настойчиво и горячо в чем-то убеждала сидевшего на лошади такого же огромного и грузного немецкого вахмистра.

Часто наклоняясь к ней, как будто для того, чтобы лучше ее слышать, он все же навряд ли понимал ее, но его рыжие, свисавшие вниз, длинные усы топорщились от улыбки удовольствия. Он заметил, что под ее широким летним платьем не было рубашки и, наклоняясь, он каждый раз пытался все лучше рассмотреть свежее и молодое тело...

Вокруг нее все тише, глуше звучали возгласы и угасали споры. Застыв, в молчании, толпа напряженно, жадно слушала ее слова: «Вся нация восстала... В Рамбулье, Брейль-на-Сене, Лионе, Каннах и в Орлеане народ напал на хлебные амбары... В Монтмери крестьяне палками и камнями рассеяли жандармов и распределили среди голодных все интендантское зерно».

— «Здесь, в Париже, армия не хочет смерти своих сестер и братьев и не стреляет в них. Артиллерия и Люберсакские стрелки прислали своих выборных в Попенкурские казармы и зовут пехоту на помощь нации против деспотии проклятого режима. У абсолютизма нет больше слуг».

Голос женщины, все нарастая гневом, то снисходя до просьб, то возвышаясь до пафоса пророчеств и проклятий, звенел и лился по площади, закованной в гранитные громады королевских и герцогских дворцов, безлюдных и безмолвных.

У под'емного моста запел сигнал трубы горниста. Отрывисто и четко зазвучали окрики команды.

Неподвижная цепь эскадронов дрогнула и, сдерживая волнующихся лошадей, драгуны в'ехали в людскую гущу. Они двинулись вперед, сначала медленно и осторожно. Тесня своими лошадьми хмуро отступавшую толпу, они вначале не верили в ее бессилие, но с каждой пройденной минутою все решительнее, упорней и грубее делался их натиск.

По головам и спинам уже стегали бичи офицеров и все чаще прорывались стоны избиваемых ударами солдатских палашей плашмя.

Сжатый со всех сторон, задыхаясь от усталости и духоты, подгоняемый человеческой лавиною, Очер бежал по бесконечной площади, как в том же страхе. бежали тысячи людей, стремясь скорее вырваться из этой гранитной западни.

Увидя над кованной ршеткой, изображавшей паяцов, танцующих среди зеленых кистей винограда и золоченых рыб, вывеску: Приют весельчаков»..

Очер вбежал в под'езд и тяжело переводя дыхание, прильнул пылающим лицом к холодной и сырой стене.

Снизу, из подвала, доносился гул голосов и стук посуды. Сойдя туда, Очер попал в сумрачное помещение, сплошь заставленное столиками, вокруг которых сидели и толпились посетители, возбужденно обсуждая подробности сегодняшних событий.

Толстяк-хозяин, в белом колпаке, суетясь за стойкой, едва успевал передавать в нетерпеливо, со всех сторон к нему протянутые руки, блюдечки с мороженым и высокие фужеры с ледяной водой, подкрашенной сиропами, вареньем и ликером.

За одним из столиков Очер увидал Пельтье, читавшего газеты, и подошел к нему.

«Скептик, памфлетист и циник»,— как он называл себя, Пельтье за последние полгода сделал себе имя своими желчными статьями в правительственной прессе.

Смеясь, он стал рассказывать, как, примкнув сегодня утром из любопытства к толпе, шедшей с бюстами Неккера и герцога Филиппа, уже час спустя спасался бегством от драгун — этого последнего и верного оплота королевской власти.

— Я, правоверный роялист, бежал, как заяц,— сказал Пельтье,— но знаете, кто обогнал меня? Шамфор,— тот самый, кто на-днях в кафе Казо так грозно потрясая своей знаменитою дубиной с золотою надписью на ней: «свобода или смерть»,— призывал всех «граждан-патриотов» — «подарить мир хижинам и об'явить войну дворцам». Я тогда же, тотчас же одобрив это об'явление войны, попросил направить первую атаку на дворец Луи-Филиппа. Меня, конечно, освистали. Но, говоря серьезно, я на месте короля давно взорвал бы герцогский дворец, это проклятое осиное гнездо, куда со всех сторон стекаются могильщики Бурбонов за указаниями, как рыть ту яму, в которую они рано или поздно, но свалят королевский трон.

— Послушайте, Пельтье,— прервал его Очер,— понятно, что Мария Антуанетта, а за нею и вся партия Двора, обвиняют Филиппа Орлеанского в желании овладеть короной; свою старую ненависть к нему королева пытается обосновать теперь новой клеветою. Но неужели вы придаете какое-то значенье этим сплетням? Ведь утверждали, что апрельская резня тоже дело его рук, как будто герцог виноват, что Ревельон платил своим рабочим за день пятнадцать соль, а ливр хлеба уже тогда стоил три с половиною. Цена на хлеб растет, плата за работу остается прежней, и несчастных нищих поставили перед решеньем — умереть голодной смертью или попытаться силою взять то, что им не дали добровольно. Они выбрали второе, и причем здесь герцог?

— Мой милый мальчик,— возразил Пельтье,— если вы и правы, то отчасти. Обстоятельства создали из рабочих Ревельона горючий материал, пусть так, но искрой, взорвавшей порох, был все же Орлеанский. Вспомните про неожиданно назначенные в день волнений скачки и про настойчивое приглашение приехать, посланное им из Венсена герцогине, не бывающей

нигде с ним вместе. Что все это, как не предлог проехать самому через предместье Сент-Антуана, по улице Монтрейль и заставить Кроатский полк разобрать перед каретой герцогини рогатки, ограждавшие от натиска толпы дома Анрио и Ревельона? Вспомните опубликованное обещание герцога опровергнуть участие его в этом деле; он писал, что знает истинных виновников, почему же до сих пор никто не назван им? А две монетки, два экю в карманах всех убитых,— откуда эти деньги?

Очер засмеялся.— Я уверен,— сказал он,— что если бедняки действительно имели бы по два экю, то не было бы ни бунта, ни резни. И вы забываете, что Филипп Орлеанский слишком прост для сложных политических интриг.

Пельтье, не отвечая, придвинул свой стакан и начал разминать в нем длинной ложечкой куски лимона и мелкий лед; помолчал еще, сел глубже в кресло и заговорил тем снисходительно усталым тоном, каким он говорил со всеми, кто возражал ему.

— Ваши аргументы никого не убедят. Честолюбие и глупость отлично уживаются друг с другом. И к тому же зачем герцогу мозги, когда под рукою у него гениальный интриган Лакло — эта отвратительная амальгама из Вальмона и маркизы де-Мертейль. Герцогу давно мерещится престол. Он ищет популярности и готов купить ее любой ценою. Пользуясь привилегиями Орлеанов, зная, что полиция не смеет переступить порог его дворца,— он широко раскрыл палерояльские ворота перед парижской чернью, заискивая в ней.

— Почему же «чернью»? — резко перебил Очер.

— Вам угодно знать, почему я называю чернью посетителей Пале-Рояля? Но вместо длинных рассуждений на эту тему я расскажу вам, что было там вчера. Вы не торопитесь?

— Нет, и с удовольствием вас слушаю,— сказал Очер, испытывая то же, что испытывал всегда за шахматной доскою в ожидании решающего хода своего противника.

— Отлично. Вы знакомы с Филидором? Тогда вы знаете, что он подобно вам насквозь пропитан мнением, что наши «патриоты» невинны, как барашек из пастушеских эклог. Так вот вчера, в кафе Регентства, прискучив шахматами, Филидор и я, уныло допивая наш оршад, не знали, что нам делать, когда мне в голову пришла идея свести его лицом к лицу с им обожаемым народом.

— Я предложил ему отправиться в эти, как назвал их Лусталло, «Парижские Афины». Он согласился и, идя со мною в Пале-Рояль, ничуть не сомневался в том, что сейчас перед ним предстанет возрожденный сад Академа, в котором бродят, поучая, воскресшие Аркезилаи и Платоны, и где, внимая им, прекрасные Аспазии превращают в ораторов и воинов своих мужей Лисиклов-скотобойцев.

— Увы, Аспазий там не оказалось. Мы удовлетворились бы в конце концов одной Омфалой, но, кроме взбесившихся Гераклов и легиона Фурий, ничего другого сад герцога нам предложить не смог, и мы ушли.

— Но расскажу вам по порядку. Как всегда, парк и галлереи были переполнены, и в «Деревянном павильоне» шли дебаты. Это-то, судя по ливрее, выездной лакей, стоя на перилах, требовал сжечь Д'Эпремениля вместе с его женой, детьми, имуществом и домом.

— На фонарях он предлагал повесить: братьев короля, трех «светлейших», де-Ламбека, де-Водрейль и «фаворитку». Я обратил внимание Филидора, что ни одна из его опер не встречала ничего похожего на тот потрясающий успех, какой сопровождал каждое из этих предложений, но ошеломленный непривычным шумом, зубоскальством и весельем обычной публики Поле-Рояля,— мелких адвокатов, бездельников с бульвара, либертинок, профессиональных игроков и мальчишек из Сорбонны,— Филидор, молча, виновато, с жалкою улыбкой стал пробираться к выходу. У фонтана нас нагнала новая толпа. Тащили какого-то растерзанного человека,— как об'яснили нам — полицейского шпиона. Его, связав, высекли, бросили в бассейн и, за ноги вытащив оттуда, начали катать по всем дорожкам сада, подталкивая палками и пинками каблуков. Что было дальше, я не знаю; Филидор исчез.

— Он слаб и стар. Когда обеспокоенный его отсутствием я бросился искать его в саду и, не найдя, зашел к нему домой, он лежал уже в постели и, закрываясь одеялом, надвинув на уши колпак, все повторял одно и то же слово: «ужас, ужас...»

— Ваш рассказ,— опять перебил Очер,— ничего не доказал. Разве растерзанный толпой шпион весит тяжелее на весах этики, чем Бастилия, Шатлэ и «lettres de cachet»? Или что дозволено Юпитеру, запрещено народу?

Пельтье пожал плечами.

— Как вы не понимаете,— сказал он,— что дело не в убийстве, не в шпионе, а в зверской радости, с какой мучили его и убивали. Недавно Мирабо говорил о том, какое счастье для Франции, что наша революция не будет знать ни слез, ни злодеяний; вчерашний труп заставил меня вспомнить его пустые, лживые слова. Мирабо забыл, что для того, чтобы воспринять новую идею, человечеству необходимо перейти через горы жертв и сквозь столетья, забрызганные кровью поколений.

— Сейчас не только третье сословие, но даже наши герцоги и пэры бредят античною свободой. Но, бросая ретроспективный взгляд, они видят только контуры событий, и не зная ни их причин, ни сущности, кладут в основу своих истин фантастику преданий и измышления легенд.

— Насилие и борьба против него, цель которой опять-таки насилие,— такова история от сотворения мира и до наших дней и от наших дней до окончанья мира. И конечно Аттика не составляла исключенья. В «свободной» Греции был казнен Сократ; Эсхил был изгнан; Зенон в Эллее под пыткой откусил себе язык, чтобы не назвать своих друзей; Анаксагор бежал от казни, Демосфен окончил ядом; Платона Дионисий Старший продал в рабство; Софокла об'явил слабоумным, и только случай помог избегнуть казни Аристотелю, обвиненному в безбожии Демофилом.

— Цикута греков, римский крест, костры святейшей инквизиции, колесование, плаха, кол, гаротта — вот истинные вехи того мрачного пути, по которому бредет из века в век человеческое стадо. Таковы веления судьбы. И что могут изменить в них жалкие версальские пигмеи, чьи мечты — мечты блохи ниспровергнуть пирамиду...

— Да, но я заговорился, а мне давно пора итти,— сказал Пельтье, вставая.— И знайте, мой юный друг,— добавил он, отодвигая стул, — чтобы ни вещал лохматый и рябой новоявленный пророк, эта кающаяся парламентская Магдалина из Прованса, а наша революция не избегнет общего и непреложного кровавого закона. Завывание в Пале-Рояле волчьей стаи, уже почуявшей теплый аромат крови, трупы во дворе мануфактуры Ревельона, зарево пожаров в Лангедоке — все это лишь цветочки, а ягодки? Боюсь, что слишком терпкими покажутся они всем тем, кто, недавно сея ветер у себя в салонах, пожинает бурю теперь на площадях...

Очер не спорил. Он чувствовал все возрастающую неприязнь к Пельтье и боялся, что, заговорив, не сумеет скрыть ее. Он медленно вылавливал соломинкою муху, попавшую в его вино, умышленно не отрывая от стакана глаз, чтобы не видеть неприятно длинное лицо Пельтье, с его улыбкой снисходительного превосходства, еще более оскорбительной, чем та уверенность в непогрешимости своих суждений, которая сквозила в каждой его фразе.

— Есть дни, когда карканье особенно противно,— хотел Очер ответить журналисту, но не сказал и молча пожал протянутую руку.

Уходя, Пельтье забыл на столике свои журналы и газеты. Среди них Очер нашел и стал перелистывать последний выпуск «Mercure de France». Первые страницы еженедельника, переплетенного в серую обложку с оттиском на ней календаря, фаз луны и курсов биржи, были заполнены одою Дюпьи, посвященной «госпоже Сент-Анж по случаю перевода ею пяти книг Овидия» и поэмою «Пробуждение птиц» Бордо; дальше четыре строчки анонимного поэта воспевали неизвестную красавицу и — как эмблему верности — ее собачку. Аббат Дюбуа продолжал свои шарады, логогрифы и загадки. В отделе «Литературных новостей» комментировались мемуары злосчастного барона Тренка, труды и переписка Пелиссо с Вольтером и «Исторические анекдоты о любви». В конце цензор, барон Селлис, извещал, что он «по поручению хранителя печати» читал «Mercure de France» от субботы 11 июля 1789 года и не нашел в журнале ничего, что могло бы воспрепятствовать его распространению. В приложении письма из Копенгагена, Вены и Варшавы передавали политические новости последних дней. Мельком просмотрев корреспонденцию из Польши, где князь Понинский и его процесс вызывал в поляках большее внимание, чем участь их погибающей страны; перелистав заметки о распределении наград Датской академии наук, о болезни имепиратора и о продвижении русской армии к Бендерам, Очер углубился в чтение отчетов заседаний «Национального собрания».

Единенье мнений представителей от трех сословий за эти дни почти не нарушалось. По вопросам о регламенте, о Сан-Доминго и о дезертирах, освобожденных толпою из тюрьмы аббатства и скрывшихся в Пале-Рояле,—

выступали Тарже, Байи, Мунье и Мирабо. Собрание с «живейшей благодарностью» выслушало сообщение генерального правителя финансов о подарке короля народу: о ячмене, пшенице, рисе и муке, уже погруженных в портах Америки для голодающего населения Франции. Собрание одобрило воззвание электоров Парижа к «шефам корпораций и отцам семейств» с призывом: «способствовать спокойствию и поддержать имя великой нации, известной своей глубокой преданностью и любовью к королю»...

Очер с досадой отбросил от себя журнал.

Его раздражала вся эта жеманная, буколическая лирика приторных четверостиший, поэм и од, искусственно наивных и слащавых; его раздражали и речи депутатов с нагромождением неологизмов, готовых формул и общих мест.

Очер не забыл еще, как стоя в первый раз у решетки Национального собрания удивился он, что лишь один Барнав импровизировал, а остальные, даже неистовый и бурный Мирабо, произносили по тетрадям свои речи, подготовленные раньше, составленные по заветам Квинтлиана, обремененные тяжеловесной грудой эпитетов и громоздких фраз.

Правда, почти с каждым заседанием понятней и короче становились прежде чрезмернодлинные и водянистые периоды, в лабиринте слов которых бесследно исчезала мысль. Все реже слышались с оргаторской трибуны метафоры, гиперболы и образы из мифологии, из истории Греции и Рима; умирало, принесенное с собою духовенством в зал «Менюс» расплывчатое красноречие амвонов, возросшее на «Апологетике» Тертуллиана, на иеремиадах Августина и на гимнах Фортуната из Пуатье.

Став депутатами, провинциальные советники, стряпчие и судьи расставались с привычной, затхлою риторикой, звучавшей жестью и пересыпанной тирадами из догм.

Вместо неуклюжих предложений, неумелой имитации «Conciones», изученых еще в школах иезуитов и лицеях, все чаще раздавались в стенах зала заседаний короткие и злые реплики, продиктованные жизнью, нетерпеливо ждавшей новых форм и категорических решений. Отмирал разбросанный и щедрый слог красноречья адвокатов, подражавший пышному Гортензию, и на смену ему шли сухая сжатость лаконизмов Цезаря и точность Цицерона...

Перестав читать, Очер продолжал сидеть за столиком, устало прислонясь головою к прохладной коже кресла, закрыв глаза, опустив руки на колени.

Он вспомнил Теруань и снова,— как всегда теперь, когда он о ней думал,— его охватило чувство одиночества и грусти. Он вспомнил дни первых встреч, первые вечерние прогулки с нею этою весной в садах Парижа, по его предместьям, по их извилистым, глухим и тихим уличкам и переулкам, вдали от шумной суеты больших бульваров.

В те дни — и клейкий запах распускающихся листьев тополей, и розоватый тон какой-нибудь полуразрушенной стены, освещенной туманным, заходящим солнцем; нежные фиалки и золотистые мимозы в плетенках

девочек-цветочниц; позеленевшая от времени бронзовая статуя Мадонны в темной нише; узкая полоска света в маленьких окошечках мансард, затейливо украшенных боскетами; овальный перистиль и строгая ионическая колоннада старинного особняка,— все, все рождало в нем в те дни ощущение ценности и смысла жизни, безотчетную восторженную радость.

Он полюбил с тех пор Париж страстною любовью. Он изучал историю его развития,— все особенности стиля и колорита каждой его эпохи,— часами роясь в старых книгах Академии архитектур и библиотек монастырей Пикпюс и Кармелитов.

С каким упоением рассказывал он Теруань о жизни, когда-то наполнявшей своим движением и шумом теперь безлюдные кварталы старого Парижа, с их полными сурового величия постройками из камня, в густом зеленом плюще; с угрюмой серой колоннадою порталов под вросшими друг в друга крышами из темного свинца и стрельчатою готикой окон в решетках времен Франциска I, Генрихов и Гизов.

Она не могла понять, как этот мальчик, сын русского вельможи и воспитанник республиканца Ромма, мог совмещать в себе преклонение перед идеей «свободы, равенства и братства» с восхищеньем кровавой пышностью грубого средневековья.

Она об'ясняла себе его страсть к прошлому атавизмом и влиянием в детстве на него родных, считающих конечно, как и все аристократы,— покушением на привилегии их рода все то, что движет жизнь вперед.

Когда он,— всегда восторженно к чему-нибудь стремящийся, с чудесными, широко раскрытыми, еще по-детски наивными глазами, которому, несмотря на молодость его, Барнав, Миллие и Моретон уже вручили диплом их клуба,— говорил ей о своем отце, о его разносторонней образованности и меценатстве, она не верила.

Ей казалось невозможным, чтобы в варварской России, «варвары-бояре», торгуя крепостными, как скотом, украшали бы свои дворцы твореньями Кановы, Лагрене и Греза, состояли бы в массонских ложах и читали Гольбаха, Гельвеция, Вольтера и Руссо.

Когда он, проходя с ней по площади Аве Мария, мимо «Hôtel de Sens» спросил ее, знает ли она о происшедшей здесь трагической развязке истории любви двух молодых пажей Вермонда и Жюльена к их королеве — кровожадной и обольстительной Марго,— Теруань ему ответила, что надо быть «книжным червем», оторванным от жизни, чтобы рыться в мусоре событий тех столетий, наполненных безмерною жестокостью и похотливой грязью. «И затем, неужели же вы не чувствуете, — прибавила она, — насколько интереснее и глубже то исключительное время, в котором мы живем?»

— Неужели человек и гражданин, зная, что мы недавно пережили день, открывающий собой новую историческую эру, может отвлекать свое внимание от героики сегодняшнего дня собираньем архивных сплетен то о каком-нибудь «сожжении сеньоров» во время маскарадов во дворце «святого Павла», то о подобной же кровавой чепухе?

Однажды, говоря с ним о свободе, она бросила ему упрек, что для него свобода — лишь отвлеченный термин, лишенный плоти, какой-то мистический фетиш.

— Вы, не понимая революции, ее адепт исключительно во имя ее формы. Вы — ежедневный ее зритель; иногда взбираясь на ее подмостки, вы — неплохой ее актер. Но для вас революция — юношеское увлечение, даже не событие, а эпизод; для вас она лишь форма вашей жизни, она не в вас, но в вашем внешнем,— только в том, что окружает вас...

Очер вспомнил ночь своих признаний и все то, что он носил в себе с тех пор, как ощущенье тайного стыда и как позор незабываемый и мерзкий.

Он открыл глаза и оглянулся.

Кофейня опустела; только у окна за ширмою двое посетителей, все время, споря, доигрывали партию в «трик-трак».

Он устало потянулся, подозвал к себе хозяина, расплатился и вышел из кофейной. Часы на башне церкви «Святой Варвары» пробили три...

Чем дальше подвигался он по улица Сент-Оноре, тем труднее становилось пробираться через густые толпы на перекрестках. Площадь перед Пале-Роялем была залита широким медленным людским потоком, вливавшимся через галлереи в сад. Не слышалось ни смеха, ни громких голосов в толпе, нерешительной, не знавшей, что ей делать и в которой за напряженным любопытством притаился плохо скрытый страх.

У галлереи кафе Фуа, под одною из аркад, увитой диким виноградом, Очер заметил знакомую тучную фигуру итальянского певца Тендуччи.

В английском с пелеринами темнозеленом сюртуке он, поминутно снимая свою круглую, с высокой тульей шляпу, вытирая платком потный лоб, то оправляя бант громадного жабо над атласным вышитым жилетом, волнуясь, спорил с коренастым, одетым в заплатанную блузу курносым человеком, голова которого была повязана черным засаленным фуляром узлом назад.

На отвислых, морщинистых щеках певца-кастрата, знаменитого своим «сопрано», выступили пятна от раздражения и злости: так возмущал его самоуверенный тон реплик оборванного человека.

Тут же среди пересмеивающихся «патриотов» с сумрачным вниманием вслушивались в спор несколько стариков — крестьян-беррийцев, в серых сюртуках из домотканного холста и в белых гетрах, одни из тех, кого голодные деревни посылали за землей и хлебом к депутатам Национального собрания. Теперь на улицах все чаще встречались понурые фигуры ходоков из голодающих провинций. Обычно не зная никого в Париже, они растерянно блуждали в нем, пока упрямая настойчивость не приводила их в Версаль, где после ожиданья днями у входа во дворец случайно встреченный, всегда спешащий депутат брал наконец из их медлительных и заскорузлых пальцев своей холеной и торопливою рукой, скрытой в кружевах манжет, и небрежно комкал серые запечатанные хлебом листы их сельского

Наказа», над составлением которого неделями и месяцами бились крестьянские умы.

Тендуччи, горячась, угрожающе стуча камышевой тростью по каменному полу галлереи, утверждал, что нет ничего глупее, чем сегодняшний протест против отставки Неккера.

— Я не знаю, кто вы,— кричал певец на человека в фуляровой повязке,— но похоже, что вы один из соавторов всей этой оратории, тогда скажите, известно ль вам, что орда вандалов — тридцать тысяч наемных войск, швейцарцев, немцев и кроатов — готова разгромить Париж из-за ваших выходок, бессмысленных и неприличных по отношению к королю. И что за дикая идея протестовать, да еще с безоружными руками, зная, что весь ваш арсенал — полсотня бутафорских аллебард из оперного реквизита, ограбленного бандой босяков, пришедших закрывать театр.

И, пожав недоумевающе плечами, с презрительной усмешкой, что ему, великому артисту, приходится отстаивать перед невеждами истину настолько очевидную, он гордо поднял голову и, опираясь обеими ладонями о набалдашник трости, прищурился и взглянул по сторонам, ожидая новых возражений.

С звонким смехом, наполняя всю галлерею шумом веселых, сильных голосов, прошли мимо несколько молодых торговок в накрахмаленных чепцах, неся дезертирам в Цирк караваи хлеба, каштаны и вино. Одна из них, рослая и краснощекая, услыхала последние слова Тендуччи. Поставив корзину на пол, раздвинув своими мощными локтями слушателей спора, теснившихся вокруг певца, она вплотную подошла к нему, подбоченилась и обдала его потоком таких ругательств, что он испуганно попятился и побледнел.

Его смутили не ругательства,— он их изучил давно, ребенком, в лупанарах Неаполя и Смирны, но помимо неистощимой брани торговка угрожала, и итальянец понимал, что ее иступленные угрозы: «его вздернуть на фонарь, как прихвостня аристократов, как их паршивого ублюдка», могли здесь, в Пале-Рояле, немедленно же претвориться в жизнь.

Он как бы случайно сделал шаг назад, надеясь скрыться в человеческом водовороте у входа к Фуа, и остановился, боясь быть схваченным, как только обнаружится его попытка.

За его спиной открылась дверь. Тендуччи услужливо посторонился и пропустил человека в темносинем потертом рединготе, с шляпою в руке. Он был молод; его длинные, волнистые, разделенные прямым пробором волосы закрывали уши и были сзади собраны и связаны зеленой лентой.

Искоса взглянув на краснощекую торговку, которая, все еще ворча, собирала по полу каштаны, выпавшие из ее опрокинутой корзины, он быстрыми шагами спустился в сад, увлекая за собою всех из галлереи.

В толпе передавали, что только что прошедший человек, какой-то стряпчий или адвокат или что-то в этом роде,— его имени никто не знал, но уже известно было, что он хороший патриот и друг свободы,— будет говорить сейчас о новых происках врагов народа.

Очер, увидя, как мальчишка-самояр пролез между прутьями решетки галлереи, последовал за ним и сел на выступ балюстрады. Внизу тысячи людей неподвижной и безмолвной массой окружали Павильон.

У входа, на столе, придвинутом к стволу столетней липы, стоял, закрыв глаза ладонью, человек в синем рединготе, с зеленой лентой в волосах.

Говорить он начал почти шепотом, но этот хриплый, прерывистый и заикающийся шепот придавал еще бо́льшее значение каждому из сказанных им слов.

Он говорил о том, что на решение Нации воздвигнуть памятник «любимому министру» тираны ответили его изгнаньем и вторжением в Париж наемных войск.

Он напоминал о перехваченных девятого июля письмах, предвещавших роспуск Национального Собрания и Варфоломеевскую ночь тем, кто хотя бы раз возвысил голос свой в защиту прав третьего сословия.

— Я,— говорил он,— из Версаля. Там уже готовы цепи, в которые сегодня или завтра снова закуют стонущий, бесстыдно попираемый народ. Я видел, с какой ненавистью, с каким злорадством там подготовляют все. чтобы истребить нас и растоптать первые побеги молодой свободы.

— Над нами издеваются. Чтец королевы, аббат Де-Вермон, на обеде офицеров гвардии кричал, смеясь, что с нами все будет кончено втечение двух дней. На нашей шее маршал Де-Брольи уже задергивает петлю. Мосты в Сен-Клу и по дороге в Севр заняты войсками и сообщение с Версалем прервано. На Монмартре устанавливают батареи. Полки Шато-Вье, Ремера и Бершени, венгерские пандуры и гусары уже в предместьях. Мы обречены, как жертва на алтарь Ваал-Верифа, пока мы безоружны; но нас миллионы и с оружием в руках,— образовав сотни легионов и тысячи когорт,— мы непобедимы...

Иногда внезапно он обрывал себя, как будто судорога душила его горло; но за те несколько мгновений, что он молчал,— в Павильоне, в парке, в галлереях, переполненных людьми,— наступала такая тишина, что были слышны только шорохи и трепетанья птиц в листве деревьев и журчанье воды в фонтанах.

Зовя к восстанию, все повторяя тот же тревожащий и грозный как набат призыв: «к оружию, к оружию, граждане», — смотря поверх толпы, но ощущая на себе ее восторженный, уже покорный взгляд, чувствуя, что тысячи стоящих перед ним людей уже неразрывно слиты в стремлении итти за ним,— он резким, неожиданным движением выхватил из редингота блеснувший тусклой сталью пистолет.

— Среди нас,— воскликнул он,— снуют шпионы. Ну, что ж. Пусть доносят, что я, Демулен, зову народ к оружию и к борьбе. Не смерти я боюсь, а рабства и той минуты, когда увижу Францию снова жалкой, покорною рабыней...

— Когда-то дочь Пасифаи и Миноса волшебной нитью спасла Тезея... Нация на перепутье, и как Тезей в пещере Минотавра, она беспомощно блуждает в лабиринте своих бедствий и ждет, когда же, наконец, рукою

добродетельных и верных патриотов укажут ей ее дорогу: широкий и счастливый путь к благоденствию, величию и славе. Так поклянемся здесь и, как сказочною нитью Ариадны, этой клятвой свяжем все наши помыслы и все сердца,— что мы не прекратим борьбы и не положим нашего оружия, пока не добьемся гибели тиранам и свободы для себя.

Он замолк. Пробежало первое движенье — чуть уловимый вздох — в толпе, застывшей и немой. Она взволнованно заколыхалась, и — сначала несколько восторженно звенящих голосов, а за ними исступленный рев всей толпы, слова проклятий, клятв, угроз, призывов, загремели в оглушительном, протяжном крике.

В тени столетней липы, среди грохота людского моря, тяжело дышал, бессильно свесив руки, стоя на столе, человек в потертом рединготе, бледный, с прилипшими ко лбу, мокрыми от пота прядями волос, и улыбался растерянной, кривой улыбкой.

Еще в начале речи Демулена, чтобы лучше его слышать, Очер прыгнул с балюстрады вниз на газон. Оттесненный в угол между лестницей и галлереей, он все пытался выбраться оттуда сквозь сжатые друг с другом ряды толпившихся людей.

Он видел, как рядом иногда судорожно всхлипывала высокая, в нищенском бурнусе, костлявая старуха с жиденьким пучком седых волос под черною наколкой и как тогда шептали что-то ее тонкие, выцветшие губы. Все строже становилось птичье, злое острое лицо, и чаще ловил он на себе ненавидящий, колючий взгляд ее от слез воспаленных глаз, настойчиво и подозрительно смотревших то на его манжеты и жабо из алансонских кружев, то на блестящее брокà его летнего камзола. Тягостно навязчивым был взгляд старухи. Очер отвернулся от нее, стараясь не вспоминать, что она тут рядом. Но оставалось смутное, раздражающее ощущенье: он чувствовал себя в чем-то виноватым перед нею, но в чем — не понимал.

По другую сторону Очера все время шевелился, его толкая, низенький и коренастый, рыжий штукатур. С накинутой на плечи рваной курткой, забрызганной известкой, босой, без шапки, он, почти при каждой долетавшей фразе Демулена, кряхтел от удовольствия, почесывая мускулистою рукой в веснушках свою волосатую, выпуклую грудь, радостно подмигивал Очеру щелочками маленьких и добродушных глаз и весь сиял приветливой, широкою улыбкой. Смешным и жалким казался он. Но, когда в исступленном, надрывающемся крике прорвалось напряженное молчание толпы, Очер вздрогнул — так неожиданно прекрасно, с такою страшной силой зазвучал вдруг рядом с ним голос рыжего, босого штукатура.

— К оружию, граждане!.. На фонарь аристократов!.. На фонарь, фонарь!..— с чудовищною силой, но свободно и легко, мягкою волною лился могучий и прекрасный голос из мохнатой, грязной и крутой груди.

И когда веселый штукатур переводил дыхание и стирал дырявым рукавом или ладонью пот с разгоряченного лица, то снова в прежнюю улыбку расплывались его губы и вновь, все с тою же прищуренною хитрецой, смеялся он, толкал Очера локтем и подмигивал ему...

Час спустя Очер, вспомнив, что обещал сегодня быть у Ромма, медленно, с трудом пробирался к выходу из Пале-Рояля. Он видел, как Демулен, призвав всех «патриотов» избрать эмблемой революции зеленый цвет надежды, стал вдевать горсть листьев за ленту своей шляпы. И тысячи людей с возбужденно радостными лицами, ломая ветви лип и тополей, обрывали с них листву и украшали ею свои кафтаны, куртки и, волнуясь, друг друга окликая, разбиваясь на нестройные отряды, споря, друг друга торопя, уходили на поиски оружия; шли по улицам Рема и Бушери на Пти-Шан, по Тюрбиго на Пируэтт и на Фурси; шли туда, где торговали военным снаряжением,— к оружейным мастерским...

Утро на площади Людовика, драгуны Де-Ламбека, Демулен, десятки тысяч ищущих оружия людей, хлынувших на улицы Парижа, королевские афиши, запрещавшие движение по городу, стук молотков по доскам, прибиваемым снаружи к окнам магазинов, никогда невиданные прежде, зловещие, босые, бесшумные фигуры в отрепьях, ждущие в тени ворот и ниш,— весь этот хаос впечатлений рождал в Очере замирающее чувство восторженного страха перед, наконец пришедшей, революцией, о которой уже давно говорили, как о чем-то неминуемом и неизбежном.

Революцию предвидели. Еще с первых своих дней во Франции Очер был ошеломлен титанической работою человеческого мозга в поисках исхода из дошедшего до апогея противоречия интересов двух социальных групп: первой, численно ничтожной, но толпящейся у трона, и второй — всей остальной части французского народа.

«Капитанерии» и «десятина», «талия», барщина и нищета, феодальные права, безземелье, голод — в них, зарождаясь, зрели семена и соки гневной мысли, а воздухом, которым эта мысль дышала и жила, был дедуктивный метод развития идей физиократов...

Еще во времена Регентства, в чуть шелестящий шорох шелка широких кринолинов и пышных фижм; в едва уловимое шуршанье атласных туфель, скользящих по блестящему паркету в медлительном и плавном менуэте Боккерини, Экзодэ или Люлли; в торжественную величавость мраморных дворцовых зал, украшенных панно Ватто и гобеленами Ван-Мейлена или Ивара и залитых светом чеканных люстр из флорентийской бронзы и венецианского стекла; в счастливый, торопливый шепот полупризнаний хрупких изнеженных маркиз, сиявших трепетною радугой огней тяжелых ожерелий — уже тогда в надменную из амкнутую роскошь вельможной, пряной жизни властителей страны все чаще, с неумолимо нараставшей силой, врывался зловещий и угрюмый ропот обреченного народа, гнившего в грязи разбитых, жалких, глиняных лачуг и осужденного высокомерной алчностью его владык на беспросветный, скотский труд и на постыдное, мучительное рабство.

В те годы, когда король, случайно на охоте слыша колокольчик сельского кюрэ, шедшего с причастием, смиренно опускался в грязь дороги, на колени перед ним; в те годы, когда епископы казнили невинного Каласса, пытали и сожгли Де-Ля-Барра; когда тела еретиков качались на деревьях,—

горсть мыслителей-ученых вступила в дерзкую борьбу за изгнание абсолютизма из социального порядка и за освобожденье разума от оков обскурантизма.

Сын рабочего-ножевщика и найденный на паперти Ле-Рон подкидыш, воспитанный вдовой стекольщика; разбогатевший на подрядах старый циник и деист; бедняк-аббат, чей долголетний труд был сожжен на эшафоте рукою палача; нелюдимый композитор и философ, ютившийся на чердаке, и блестящий атеист, барон, сын немецкого авантюриста,— были первыми из тех, кто расшатали еще недавно непоколебимые устои метафизических воззрений и идей, вскоре брошенных, как хлам, среди обломков и развалин дуалистических и теологических доктрин, низвергнутых творцами «Библии материализма» [1].

— Да, да,— повторял про себя Очер, идя по Онорэ, направляясь к Ромму,— революцию предвидели. О ней спорили уже давно и всюду: во дворцах, на улицах, в садах, во всех кофейнях... О ней говорили и в монастыре св. Иосифа, где жила вечно юная, слепая, начав свое блестящее существование дружбой с Монтескье, Дидро и Юмом и кончившая жалкой страстью к Вальполю,— та, о которой дряхлый, умирающий Вольтер писал: «Я мертв, но если мне и захотелось бы воскреснуть, то только для того, чтобы упасть к ногам маркизы Дю-Деффан».

О свободе говорили и в казармах, где брюзгливый, старый, из отряда генерала Рошамбо солдат рассказывал рекрутам, как он бок-о-бок с американскою милицией дрался при Иорктауне за свободу Штатов, против англичан...

О революции и о свободе думала и молодая герцогиня, только-что окончив в Сакре-Кер или в Труанелль свое образование. Стоя в своей карете на коленях,— сесть не позволяла ей величина прически — творенье Леонара, — она, тревожно сморщив брови, с отчаянием пыталась вспомнить хотя бы что-нибудь из «De l'Esprit» Гельвиция, зная, что об этой новой, такой трудной, знаменитой книге, конечно, будут говорить и там, куда она приедет,— у Леспинас, Д'Эпине или Жоффрен и где она увидит самого Гельвеция и этого «Tyran le Blanc», белого от пудры, противного, напыщенного Гримма, всегда желчного Руссо и добродушного, рассеянного Д'Аламбера.

— Исхода нет,— говорил себе Очер,— и революция стала неизбежностью уже давно. А все же было время, когда казалось, что все кончится иначе. И вспоминает ли теперь ненавидимая всеми королева те дни, когда народ, сжигая соломенные чучела удаленных ею от двора канцлера Мопу и аббата Де-Террея, восторженно приветствовал ее и падал на колени перед нею.— Вспоминает ли она,— опозоренная Де-Роганом и Ля-Мотт,— как когда-то плакала она при всех счастливыми слезами в Королевской Музыкальной Академии на «Ифигении в Авлиде», когда все поднялись и, повернувшись к ней, запели вместе с хором арию второго акта: «...Воспоем, восславим нашу королеву»...

---

[1] «Система природы» Гольбаха, Лагранжа, Нижона и Дидро.

— И странно, уже много лет не было на троне короля, который так, как этот, искренно желал бы блага своему народу. Нет при дворе ни Дю-Барри ни Помпадур; нет, как это было при Регенте, пяти тысяч лошадей в конюшнях, и нет прежних завтраков, когда приправа из петушиных гребешков и трюфелей к яичнице Людовику «Le Bien Aimé» обходилась в сто экю. И все же,— все рушится и гибнет. Или прав был Калиостро, утверждая, что народ — судьба, и если день первой встречи народа с королем — день королевской свадьбы,— стоил населению Парижа тысячу сгоревших, затоптанных людей,— то рано или поздно, но придет возмездие за это...

Очер шел все также быстро, не смотря по сторонам, но, свернув на всегда безлюдную, заросшую травой улицу Де-Ля-Сурдье и дойдя до ларька торговца лимонадом, остановился. Дальше от часовни Урсулинок вся улица была запружена толпою.

У под'езда углового дома, высокого и узкого, с отвалившимся орнаментом, с полукруглыми — по два в каждом этаже — окошками в густых решетках из переплетающихся инициалов и гербов, раздавались глухие, тяжелые удары и скрежещущий железный, резкий лязг.

У бокового входа вниз,— в подвал, занятый оружейной мастерской, суетились люди.

Видно было, как мускулистый, неуклюжий человек, скинув блузу, занося обеими руками над курчавой головою лом, бил им в низкую, окованную дверь, спускался на несколько ступеней вниз к двери вплотную, силился ее взломать плечом и снова с напряженным, от злобы перекошенным лицом ударял в нее звеневшим ломом. Рядом несколько солдат в сдвинутых на затылок киверах, в расстегнутых мундирах, смеясь, сверкая белизною молодых зубов, пытались пробить штыками и прикладами забитый изнутри подвальный люк.

Чуть впереди теснившихся испуганных людей в подвитых париках, выцветших кафтанах, старомодных токах, излюбленных на этой тихой и пристойной улице, заселенной интендантами в отставке, дородными аббатами, откупщиками и обедневшей знатью,— черноглазый мальчуган смотрел с упорным, настойчивым вниманием, как веселые солдаты сбивали ломом и штыками железные запоры оружейной мастерской.

Трудно было разобрать — от Лувра, от Тюльери или от Нивез донесся протяжный, долгий, отдаленный крик тысяч голосов; и не успел он смолкнуть, как откуда-то левее, отчетливо и часто затрещали выстрелы.

Осторожно, крадучись вдоль стен, стали расходиться по домам любопытные: королевские пенсионеры, старушки в токах и советники в кафтанах, торопливо закрывая за собою двери и стуча засовами ворот.

Все чаще падали тяжелые, звенящие удары на старинную окованную дверь, которую ломали уже десятки мешающих друг другу, суетящихся людей.

Пересекая улицу беглым шагом, встревоженно и беспокойно озираясь, заряжая ружья находу, прошел небольшой, без офицеров, отряд «Француз-

-ской Гвардии» и скрылся в переулке. Со стороны дворца Монморанси загремели гулкие раскаты залпов.

В конце Де-Ля-Сурдьер,— там, где ее соединяет с площадью Людовика Великого тенистая — в тополях и липах — узенькая уличка, замелькали первые ряды быстро приближавшейся толпы. Уже издалека был слышен отдающий эхом грузный топот тысяч ног...

Первыми прошли мимо Очера несколько чернобородых водоносов, в надетых набекрень остроконечных, с кисточкой, полотняных колпаках их цеха, коротких до колен штанах и в рубахах из просаленной, заношенной холстины в дырьях, сквозь которые виднелось черное от грязи и загара тело. Они шли развалистой походкой в ряд, по середине мостовой, обняв друг друга, пыля голыми, волосатыми ногами и неся, как пики, свои коромысла, поблескивая сталью к ним привязанных узких, отточенных ножей. Закинув кверху головы, водоносы шли и пели на своем родном оверньском наречии что-то заунывное о каком-то герцоге, убийце жениха прекрасной Селестины.

За ними то редеющей, то снова сдавленною массой, тесня друг друга, надвигались и проходили мимо тысячи людей: всё цеховые северных предместий, неся каждый на плече то старый аркебуз или ржавое ружье, то вилы, то самодельную с суковатым, длинным древком пику.

Иногда какой-нибудь измученный жарою и радостным волнением, подмастерье выбирался из толпы, подбегал к ларю старика—торговца лимонадом, спеша бросал на прилавок, около которого все еще стоял Очер, две медных соль, торопил продавца, наливавшего дрожащей старческой рукою из глиняного кувшина холодное лимонное питье в большую кружку, залпом выпивал ее, окидывал Очера равнодушным взглядом и бросался, расталкивая проходящих, работая локтями, догонять свой уже далеко ушедший ряд.

Сквозь рокочущий, гудящий, многоголосый гул толпы прорывались отрывки разговоров, фраз, отдельные слова, тяжелый топот ног, скрип сабо о камни мостовой, отголоски споров, лязг оружия. Иногда вдруг раздавались взрывы смеха, шумного и беззаботного, стихавшего вдали, тревожный или злобный крик, угрюмое ворчанье, то молодой и бодрый окрик, грязное ругательство и снова взрывы смеха, то чей-нибудь усталый вздох, заглушенное проклятье...

С трудом шагая в грузных сапогах, длинноволосый, щуплый человек в широкополой бретонской шляпе, неся прикладом вверх длинное ружье, сиплым голосом жаловался сухопарому жилистому старику в зеленом, туго на затылке завязанном платке, что кюре прихода Белых Мантий сегодня отказал в обедне своим приходским хлебопекам, игольщикам и гвоздарям, пришедшим помолиться покровителям их цехов: Людовику Святому и святым Иосифу и Клу о помощи восставшему народу. Высокий, жилистый старик, легко взвалив на широкое плечо кузнечный, круглый молот, шел, поглядывая сверху вниз на тщедушного, в бретонской шляпе человека, молчал и посмеивался про себя уверенно-презрительной усмешкой.

Очер еще издалека услышал, как оборванный босой мастеровой с седеющей щетиною давно небритых, впалых щек, нехорошо блестя глазами, злобно огрызаясь, с кем-то спорил, оправдывая тех, кто час назад зарезал на улице Шапон — напротив Кармелитов — хозяина оружейной мастерской.

— Когда хотят глотнуть вина, то не жалеют пробки,— кричал мастеровой, проходя мимо Очера и, толкнув его, сердито обернулся.

На колокольне монастыря Фэльянов надтреснуто высокой нотою ударили колокола и залились дребезжащим, тревожным перезвоном. Медленно и глухо отозвался на набат и загудел большой, старинный колокол у Капуцинов. Косой, последний луч заката задрожал ослепительным пятном на цветной мозаике оконных стекол часовни Урсулинок и погас. На востоке, над предместьем Сен-Антуана, над ненавистной, белою стеной таможенных застав, разгоралось зарево пожара и, все шире расплываясь, низко стлался дым, отсвечивая медью по краям.

Всё шли и проходили мимо тысячи людей в коротких куртках из дерюги; в зеленых, синих, черных блузах из грубой парусины; в фризовых беретах, холщевых колпаках, в повязанных узлом назад, цветных платках; старые, длиннобородые, юные, седые, бритые, черноволосые; загорелые, с обветренными лицами, бледные, с болезненною, чахлой синевою, неся свое оружие: дубины, пики, вилы, ружья,— каменотесы, гвоздари, кожевники и мастера мячей, жестяники и быкобойцы, стеклодувы, ключари... Бесконечной чередою тянулись их сплошные, серые от пыли, шумные, густые, однообразные ряды и уходили вниз по Ля-Сурдьер, туда, где слышались раскаты залпов.

Моя жизнь

С. Подьячев

(Продолжение)

По уходе от Анисима Кузьмича я снова сел на мель, снова надо было думать, куда приткнуться, чем заняться. Первое время приютился у Захарыча, а потом сделал так, как учил Анисим Кузьмич, т. е. решил работать в роще, «зашибить копейку», как он говорил. Работать в роще мне еще не приходилось, но работы я не боялся, а живя на угольнице, привык к ней, окреп телом и душой. Домой к родителям меня не тянуло. Писем я туда не писал и как там жили — не знал.

Работа в роще, рубка дров должна была начаться в мае, а до мая оставалось уже всего ничего — два-три дня. Мне надо было увидать хозяина, того самого, для которого жгли уголь. Увидать его можно было на станции, в трактире, где он бывал почти каждый день.

Попрощавшись с Захарычем и Грушахой, тепло пожелав друг другу всего хорошего, отправился я на станцию и здесь, в том же самом трактире, где «рядился» с Анисимом Кузьмичом, нашел кого мне надо, т. е. хозяина. Он узнал меня, ухмыльнулся и сказал:

— А ты опять здесь? Сказывал мне про тебя Кузьмич. Хвалил. А ведь я, признаться сказать, тогда, помнишь, думал, что ты никудышный парень, пра, ей-богу, а ты — ишь ты! Ну, чего ж, теперь куда опять, а?

— Да вот в роще в вашей нельзя ли поработать?

— Почему нельзя — можно! Мне народ нужен. Мне чем скорей свел ее, тем складнее. Тянуть волынку нечего! Работай! Иди хоть сейчас. Топор-то есть?

— Нет.

— Как же так, чудак-человек! Топор — первое дело. Топор — присяга. Купить надо. Есть ли деньга-то? На, коли нету. Выбирать-то умеешь?

— Не приходилось.

— Эх, ты, голова елова! Как же так? Все, брат, надо уметь, чтобы на свете жить. Учись! Медведя — и того учат. Пойдем в лавку — я тебе топор выберу.

Лавка находилась рядом с трактиром одного и того же хозяина. Приказчик, увидав, кто пришел, засуетился — «с цепи сорвался», скривил как-то морду набок, заухмылялся и спросил:

— Что прикажете, Митрий Иванович, чем могу служить-с?

— Подай топоры. Покажи!

— Сей минут-с!

Хозяин стал разглядывать поданные топоры, пробовал лезвие пальцем, стукал как камертоном о прилавок, прислушиваясь к звуку, пробовал зубами.

— Дерьмо топоры! Ни хрена не стоют! Перевод деньгам. Выбрать не из чего. Нешто это вот топор?! Настоящий топор должен гвозди рубить, не крошиться, а этот от хорошего сухого сучка к чортовой матери пойдет. Ну, да уж ладно. На, бери, вот этот! Запиши там на меня, сколько стоит,— обратился он к приказчику.

— Слушаю-с! Еще что прикажете?

— Ничего боле. Идем! — кивнул он мне и, когда вышли из лавки, остановился и сказал: — Ну, вот, и струмент у тебя свой. Там, на месте, и топорище насадишь. Сторож в сторожке живет, Сися звать, прозвище, то-ись, такое ему дано — Сися да Сися. Он тебе сделает, насадит. Там у меня приказчик в этой сторожке живет, на харчах у сторожа, а сторож от помещицы ейный лес караулит. Я у помещицы-то рощу купил на свод. Своего приказчика нанял. Фонькой звать, а фамилия — Зябкин. Он народ рядит на работу, он и расчет с народом ведет. Ты прямо к нему иди. Скажи, я, мол, прислал. Там и на харчах у Сиси-то приладишься. Сам-то он настоящая Сися — ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди. Ну, а жена у него, Домкой звать,— отдай все да мало! Н-да! И касаемо женской слабости привержена. Увидишь там. Одно помни: ловкому везде ловко.

После такого напутствия мне ничего больше не оставалось, как итти на место, на работу, что я и сделал.

На обширной поляне, окруженной лесом, в нескольких шагах от глубокого, тоже заросшего лесом оврага, по дну которого бежал говорливый ручей, стояла старая, небольшая, покачнувшаяся вперед, с тремя оконцами избенка-сторожка. Сюда, в эту сторожку, я и пришел прекрасным майским утром.

Кособокая дверь была заперта изнутри. Я стукнул скобкой и стал ждать, прислушиваясь. Ни звука. Подождав, постучал погромче, и сейчас же услыхал, как из избы на мост хлопнула дверь, послышались босые шаги и по ту сторону двери громкий и звонкий женский голос крикнул:

— Кто здесь?

— Я.

— Кто «я»-то? «Я, я», а кто я — неизвестно! — опять также громко крикнул голос.

— Новый дроворуб,— сказал я,— отпирай, авось, не ограблю.

— «Авось, авось»,— передразнил меня женский голос, и дверь отворилась.

Передо мной стояла босая, с заспанным румяным лицом, востроносая смазливая бабенка. Окинув меня с ног до головы бойкими смеющимися

глазами, она засмеялась, показывая мелкие белые зубы, и потом весело сказала:

— Пожалуйте! Милости просим, когда есть бросим. Мы таким гостям рады!

Она вертанула хвостом и пошла в избу. Я тронулся за ней.

— Одна я вот страдаю здесь,— сказала она, войдя в избу, где мне со свету показалось полутемно.— Садись, гость будешь. Вина купишь — хозяин будешь. Чей это ты такой? Откуда явился?

— А где же хозяин? — спросил я, присев на скамью.

— Какого тебе хозяина?

— Хозяина, сторожа.

— А на кой он тебе ляд понадобился?

— Ну, а приказчик Зябкин где?

— А тебя кто же прислал-то сюда? — не отвечая на мой вопрос, спросила она.

— Хозяин рощи, Дмитрий Иваныч. Знаешь?

— Кто его, пса толстопузого, ёрника, не знает. А ты сам-то дальний? Женатый?

— А что тебе?

— Так я.

— Нет, не женатый. А твой муж, что ли, сторож-то?

— Он. А где же ты жить будешь? На харчах-то у кого?

— Да вас буду просить. К вам на харчи. Возьмете?

— А это ты уж у мово Сиси спроси. Он хозяин. Хи, хи, хи! Хи, хи, хи! А я возьму. Буду тебя кормить досыта. Ешь только!

— А когда работа начнется, не знаешь?

— Да, небось, завтра, аль послезавтра. Пошел мой-то дурак с приказчиком Фонькой в деревню народу скликать на работу.— Она потянулась, зевнула и сказала: — Разбудил ты меня. Как сладко спала, нешто опять лечь, а?

— Ложись.

— Мой-то старый пес,— ох, никуда-то он не годен,— нескоро теперь придет, к вечеру, гляди, не раньше. Лягу, пока, ей-богу! Ложись-ка и ты пока, а? Засни. Устал, небось? Давай соснем, а там — что господь даст. Хи, хи, хи! Ложись, чего уж тут!..

Перед вечером пришли сторож Сися и приказчик Фонька Зябкин.

Сися был высок ростом, худ, с редкой, висевшей какими-то сосульками бороденкой, с белыми чухонскими глазами, вял, нескладен, с хриплым голосом и нелепо торчавшими под длинным носом разноцветными — один темнорыжий, другой темносерый — усами.

Приказчик Фонька Зябкин — черный, как цыган, с горбатым носом, белозубый, худощавый, в поддевке и в сапогах с длинными голенищами — сразу произвел на меня впечатление какого-то разбойника, грабителя с большой дороги. На его кровяные, выпученные из-под густых черных бровей бельма страшно было глядеть, а когда он начинал смеяться, разевая

большой рот с лошадиными зубами, думалось, что вот схватит этими зубищами за глотку и кончено — заест!

— Это кто же у тебя здесь? — спросил Сися, как только вошел в избу и увидал меня.

— Гы, кто? Гость дорогой — вот кто! — вздернув носом, ответила Домка и засмеялась.— У меня — не по-вашему,— продолжала она: — я скорей вас подыскала работничка. Пока вы там народ искали, а уж я здесь, никуда не ходя, подыскала подходящего.

— Ты подыщешь! Ты, стерва, подыщешь! На это ты ловка. На что на другое тебя нет, а на это ты ловка,— сказал Сися и набросился на меня: — Ты кто такой? Зачем ты здесь? Чорт вас носит, проклятых! Уйти никуда нельзя!

Я сказал, кто я и зачем пришел.

— Неужли сам хозяин прислал?! — подозрительно разглядывая меня волчьими глазами, воскликнул приказчик Фонька.

— Сам.

— Он что же тебя знает?

— Знает.

— Чудно! А ты грамотный?

— Грамотный.

— Может, ты того... язычком лебезить хозяину ловок — нужен, а? — прищурившись сказал он.— Языком мастак, может, работать, а? — повторил он.

— А ты уж, цыганская образина, испугался! — вступилась Домка.— «Язычком, язычком»,— передразнила она его.— Испугался: твое место займет?!

— Тебе чего надо, язва! — закричал на нее Сися.— Закрой свою пасть-то, а то я закрою! Ишь ты, манеру взяла огрызаться. Для каждой бочки гвоздь. Смо-о-три! Я ведь молчу, молчу, да и за волосяной мешок возьму.

Домка засмеялась.

— Люди добрые,— закричала она,— испугал-то меня как! Ба-а-тюшки! Кабы эта страсть да к ночи! Ах, ты, Сися, Сися! Да я захочу, из твоей души две души сделаю, тьфу! Тоже, подумаешь, «я, я». А что — «я»? Плюнуть, да ногой растереть! Погляди-ка на себя: на кого ты похож? Куда годен? На-ка, иди, я тебе сиси дам. Хи, хи, хи! Не хочешь ли?

— Тьфу! — сплюнул Сися.— Думается, ежели бы не господь-батюшка законным браком меня с тобой связал, пришиб бы тебя, ей-богу! Бога боюсь!

— Я тебя сама скорей придушу. Какой ты муж? Ты — мерин легченый, вот ты кто!

— Будет вам,— перебил Фонька.— Об деле надо, а они завели волынку. Дайте мне с ним поговорить. Так ты что же, работать пришел сюда? — обратился он ко мне.

— К тебе меня послал хозяин.

— А ты когда работал по рощам-то?

— Нет.

— Г-мм. Чудно! Ну, ладно. Оставайся. Мне все едино. Цену-то он тебе говорил? Нет? Ну, цена у нас восемь гривен с сажени. Кладка: шесть аршин вдоль, два с лица, три-четыре длиннику. А насчет харчей как?

— Насчет харчей его вон надо просить,— кивнул я на сторожа.— Хозяин посоветовал к нему обратиться.

Сися молчал. Вместо него заговорила Домка. Она сказала, что у них уже есть нахлебник, приказчик Фонька, и что меня тоже можно взять, потому, как она выразилась, глядя на меня,— «убытку от него не будет».

— Знамо, какой тебе убыток!— угрюмо проворчал Сися.— Знаем мы! — И, обращаясь ко мне, прибавил: — И чорт вас носит, дьяволов, неизвестно откуда! Отвечай за вас после, за сволочей! Паспорт-то есть ли?

— У него все есть, — опять начала Домка и засмеялась,— все исправно, не так, как у тебя. Рвись твое сердце. Лайся, кобель. Он ведь меня к коту вон Ваське,— указала она на кошку,— и то приревновал. Пра, ей-богу! Вот поживешь с ним, увидишь. Всего насмотришься.

И верно: много же пришлось мне увидать, живя с ними. Этот болезненный и злой человек ревновал ее и следил за ней постоянно. Не было от него покоя и по ночам.

Спали мы с Фонькой в избе на полу. В избе было душно и жарко; но зато не было комаров, которые не давали покоя на воле и от которых собственно мы и спасались в избе. И вот, бывало, этот Сися не спит, а во всю короткую майскую ночь караулит жену, которая лежит на постели в углу. Сидит он за столом под богами и при свете лампочки, чтобы не задремать, читает (на-грех он был грамотный) старинную, чорт ее знает как попавшую к нему книжку, заглавие которой: «Родословная книга князей и дворян российских и выезших, содержащая в себе» и т. д. и т. д.

Вот, бывало, лежишь на полу, не спится от сильного переутомления да от жары, и слышишь, как он за столом «замогильным», по выражению Домки, голосом, протяжно, точно дьячок с похмелья на клиросе, читает:

«Глава двадцать шестая. Род Кобылиных. У Андрея у Кобылы пять сынов: Семен Жеребец, Александр Кака, Василий Ивантей, Гаврила Гавша, Федор Кошка. А у Кобылина сына у Семена у Жеребца четыре сына: Григорий Ладыга, да Игнашка, да Фома, да Александр Синей. У Григория у Ладыги дети: Иван бездетен да Семен, а у Семена Ладыги дети: Андрей, да Иван, да Данило, да Василий Обляз».

Помолчит немного, вздохнет тяжело, почешется и опять:

«Род Заболотцких. У Семена Иваныча дети: Иван Бдиха, да Андрей Кутиха, бездетен. А у Ивана у Бдихи сын был Семен бездетен. А у Дмитриева сына у Федора у Туика дети: Федор бездетен, убит на Белеве, да Микита бездетен же, идучи из Орды с великим князем, умре. А у Ивана дети: Иван Молодой, да Василий Губастый, да Глеб Шукала, да Юрья, да Семен Зверь, да Гаврило, да Остафий Трегуб был в чернецах, да Микула Ярый»... и т. д. и т. д. без конца.

И что он находил интересного в таком чтении — непонятно.

Помню, бывало, когда станет светло, погасит лампочку, положит книжку на полку к богам, помолится и ляжет на кровать рядом с Домкой, и если та не спит, заспорят, кому где лечь.

— Иди, дьявол-полуношник, полезай, ложись к стенке! — злобно шепчет Домка.— Чорт рогастый, чтоб ты издох и с книжкой-то с своей!

— Так я тебе и лег к стенке, дожидайся! — говорит Сися.— Знаю я тебя, стерву, хорошо. Не успею глаз завести, а ты — шмыг.

— Му-у-читель, дьявол! Нара́хал тебя нечистый на мою шею, не стрясу никак!

И смех и грех, бывало, с ними.

А то раз какую штуку устроил этот ревнивый чудачина. Сказал, что пойдет в обход вокруг леса, а сам, чорт его знает как, ухитрился залезть под печку, скорчился там, притаился. Ход под печку был широкий, просторный. Зимой в морозы там проживали куры. Сама печка занимала полизбы. Домка затопила печку. Начала стряпать. Вдруг слышит под печкой чихнул кто-то. «Сперва я,— говорила она после, давясь от смеха,— думала, что кот туда залез гадить. Взяла да кочережкой туда потыкала. Слышу, попала, ткнула во что-то мягкое. Так и думала кот. Кричу: «Ах, ты, сволочь, ты, с...ь, туда повадился ходить! Брысь!» А он не бежит. Я еще ткнула и осенило меня, догадалась, какой там кот сидит. Кот, да не тот. Ладно, думаю, погоди. Зачерпнула из чугуна из печки воды горячей ковшик да под печку-то туды — плеск! Как заорет там не своим голосом кот-то, да из-под печки-то, гляжу, лезет на карачках, чорт рогастый! Уж я его тут! уж я его тут!

Работа в роще началась, как и предполагалось, в первых числах мая. Дни выдались жаркие, солнечные, бесконечно-длинные. Появилась «несосветимая сила» комарья, которая не давала покоя ни днем ни ночью.

Дроворубы были из соседних деревень. Выгнала их на эту работу нужда. Зажиточных или, как теперь говорят, «середняков» не было. Плата за сажень срубленных и выложенных в саженки дров — восемь гривен.

Отношение к работающим со стороны Фоньки было самое подлое. Он, этот разбойник, глядел на рабочих сверху вниз, не считал их за людей. Никакой справедливости к ним или жалости у него не было.

— Эй, ты, сволочь,— орал бывало он,— как кладешь? Гляди, сволочь, чего ты наклал, как? На тройке проезжай сквозь твою кладку!

При расчете происходили со стороны Фоньки возмутительные поступки. Он самым нахальным образом делал «скидки», т. е. с каждой сажени не доплачивал по нескольку копеек, говоря, что это за плохую «кладку». Хозяин рощи — такой же жулик-кулак, как и он, наживший капитал такими вот штуками, знал о Фонькиных проделках, но молчал.

Сами же дроворубы тоже не протестовали, и после таких «приемов» дров, когда делались «скидки», каждый раз Фонька угощал рабочих водкой, которую держал в сторонке, разбавляя ее водой и нюхательным табаком.

Выпив на его счет, рабочие «чумели», орали песни, плясали и у него же брали уже за свой счет водки, пропивая свои заработки.

Работа в роще да еще первое время без навыку, без привычки была тяжела. Вставал я на работу еще до солнца и шел в рощу версты за две от сторожки. Пока шел, заря на востоке разгоралась все больше и больше, обливая полнеба розоватой краской, а в эту краску тихо вплывали, как корабли, с противоположной стороны редкие крутые облака. Вставало солнце. Лес звенел птичьими голосами, а молодые, умытые листочки на березах, не больше еще размером гривенника, тихонько трепетали и сверкали на солнце.

Хорошо и радостно было вокруг, и я, идя, чувствовал, как эта радость ожившей природы оживляет и меня, вызывает на глазах радостные слезы умиления и манит и влечет куда-то в неизвестную, но прекрасную даль.

Лес, который начали рубить, состоял исключительно из одних молодых белых, «взводистых», с только-что зазеленевшими макушками березок. Жалко было рубить их. Ударишь топором раз, другой, третий, потечет сок из раны, и березка, трепеща молодыми листочками, тихо и покорно наклоняется, наклоняется и падает на землю с особым печальным шелестом.

Лес был частый, спорый, но, несмотря на это, больше одной сажени,— а «рощенская» сажень в те времена была: в кладке шесть аршин в длину и два аршина в вышину — впродолжение долгого дня редко когда удавалось нарубить. Да мало нарубить: надо нарубленные дрова собрать и уложить да не как-нибудь, а в сажень или полсажени, смотря по количеству. Трудная работа! Много «потов» сойдет с тебя впродолжение дня, ак вечеру руки отказываются служить, и чувствуется ломота в пояснице и во всем теле.

С утра, пока не жарко, работать сносно, а чем дальше, тем хуже и хуже. Появляется великое множество комаров, которые так и липнут на потное тело. Работаешь в одной рубашке — вся спина мокрая, а тут они — назойливые, кошмарные мучители! А к июню, когда стало еще жарче, появились слепни. Эти были еще злее, кусались, как собаки какие-нибудь, прокусывали сквозь потную рубашку, прилипшую к телу, до крови. Приходилось отмахиваться от них, злиться, ругаться, нервничать, и от этого работа не спорилась, противела, злобила.

По воскресеньям, по праздникам не работали. Отдыхали. Фонька спаивал на досуге от нечего делать по праздничным дням и Сисю, и Домку дурманной водкой, стравливал их, как собак, драться, и ржал, глядя на них.

Тяжела была работа в роще, но она спасала меня от самого себя, учила жить, заставляла думать, выковывала из меня человека, закаляла и нервы и мускулы. Спасибо ей великое!

Когда работы в роще были закончены, т. е. когда она была срублена, приехал сам хозяин. Он вместе с Фонькой обошел вырубку, подсчитал, сколько всего дров и, видимо довольный, возвратился к сторожке, где мы все его поджидали.

— С благополучным окончанием дела-с, вашу милость поздравляем-с!— закланялись рабочие,— дай господи вашей милости прибылей хороших, а мы старались.

— Старались вы, оно и видно! Жулики вы, сволочи! Какая кладка-то, а? Аль я слепой, не вижу! Ста-а-ратели, черти!

— Помилуйте-с! Мы от рад-души... думается, для вашей милости... Господи, да мы! Мы в огонь и в воду для вашей милости, истинный господь!

— Сволочи, жулье!

— Не грех бы теперь с вашей милости с окончанием дела-с. Может, еще когда господ царь небесный приведет вашей милости послужить.

— Ну, ну, ладно уж! Ладно! Знаю! Не пойте мне Лазаря-то, знаю. Учен от вашего брата. Нате, не подавитесь, на полведерки. Лопайте!

— Маловато-с! Прибавить надо!

— Лопайте, что дают!

Хозяин послал за водкой Сисю. Отказаться Сися не посмел и побежал, а хозяин ушел в избу к Домке пить чай.

Мы пока в ожидании водки отошли в сторонку и сели в тени росшей здесь старой березы. Фонька тоже был с нами. Из избы в открытые оконца доносился смех-ржанье «самого».

Ждать Сисю пришлось довольно долго. Наконец, фигура его с мешком за плечами показалась на той стороне полянки, вынырнувшая из кустов. Запыхавшись, он подошел к нам и спросил, оглядываясь:

— А сам-то где же?

— Ау, брат! В сторожке сидит с Домкой с твоей. Должно быть, чай кушает,— ехидно ответил ему Фомка.

— Афанасий, на-ка, прими скорей,— торопливо суя в руки Фоньки мешок,— сказал Сися.— Две четверти здесь, а я сейчас... Схожу только к самому, что принес, мол...

Он побежал к сторожке, но навстречу ему уже шел красный, запотевший, веселый хозяин в пиджаке нараспашку.

— Принес? — спросил он.

— Эна! — махнув рукой в нашу сторону, ответил Сися и скрылся в избу.

Хозяин, ухмыляясь, подошел к нам и только-было хотел что-то сказать, как вдруг из избы раздался отчаянный Домкин вопль:

— Караул! Батюшки! Родимые! Ка-а-ра-ул! Уби-ил!

И сейчас же вслед за этим воплем выскочила растрепанная, ополоумевшая от страха Домка, а за ней с топором в руках Сися. Домка бросилась к нам. Сися за ней, и бог весть чем бы это кончилось, если бы Фонька не бросился к Сисе под ноги, от чего тот на всем бегу споткнулся на него и полетел кувырком. Фонька, как волк, с оскаленными зубами, бросился к нему, схватил его за руки и вывернул их за спину. Сися рычал и вырывался. По углам рта его показалась пена.

— Вре-е-ешь, сатана, не уйдешь! — с видимым удовольствием рычал в свою очередь Фонька.— Вре-е-ешь!

— Топор-то возьмите! — крикнул сам.—Вот лешман-то, прости господи!

Сисю как-то утихомирили, и через какой-нибудь час он, слюнявый, пьяный, лез к хозяину целоваться и плакал, бормоча что-то непонятное.

Купленной хозяином водки показалось мало. Купили еще на свои у Фоньки, и началось «настоящее веселье» с песнями, сквернословием, блевотиной...

Итак, работа кончилась, надо было уходить.

Фонька рассчитал меня, а хозяин, поговорив со мной и узнав, что я думаю на зиму пойти в Москву поискать места, сказал мне:

— А ты вот что: есть у меня в Москве дворник знакомый, хороший человек, давно живет у одного хозяина, и не нахвалится им хозяин. Толкнись к нему. Скажи: так, мол, и так, я прислал. Скажи: просит,(мол, нельзя ли а у него знакомство большое — в дворники меня пристроить, аль бы еще куда. Сходи. Он для меня, я знаю, постарается. А ты, я вижу, парень ничего. Жалею я тебя. Я ведь, ты не гляди на меня, многим людям благодетель. Я бога боюсь. Грешен человек. Авось за мной доброту зачтет мне господь на том свете.

Он сказал мне адрес своего знакомого дворника, и я для всякого случая записал его.

Получив деньжонки, я мало-мальски «акопировался» и задумал побывать дома, повидать отца, мать, которые не знали, «где я пропал, где шатаюсь»

Пришел домой вечером, при огне. Мне обрадовались. Мать заплакала и, обнимая и целуя меня, ничего не могла говорить, как только:

— Сынок-батюшка, сынок-батюшка!

Мне, я видел, обрадовались и вместе с тем и испугались. Мать часа два спустя после моего прихода, когда я собирался спать, улучила удобную минуту и зашептала:

— Вот теперь господа узнают, что ты пришел. Нам с отцом все глаза проколют тобой. И такой-то ты! И сякой-то ты! Спрашивали, где ты живешь. Не любят они тебя. Непочтительный ты. Покорности в тебе нету. Трепету. В бога, ишь, правда ли, нет ли, перестал ты верить. С энтими, ишь, которые против царя идут, с нехорошими людьми знаешься. Каково это нам с отцом терпеть-то! Ах, сынок, сынок, когда ты в себя придешь?! Когда на свое место встанешь? Не дождусь я, должно быть... нет? Все, посмотришь, люди, как люди, а ты, христос тебя знает, на кого ты похож, в кого ты эдакой несчастный уродился!..

И недели не прожил я дома, переменив в волости старый паспорт на новый, годовой, отправился на станцию и уехал в Москву.

Провожая меня, отец (никогда этого с ним не было) заплакал, махнул как-то безнадежно рукой и, глотая слезы, только и мог сказать:

— Эх, Семка, Семка!..

В моих сочинениях есть рассказ под заглавием «Дома» («Ивановы записки»). В этом рассказе описано, как Иван жил в дворниках. Иван этот — я, а попал на место дворника по данной мне рекомендации хозяином-рощенником.

Собственно говоря, я «замещал» временно дворника, уехавшего домой на родину в Смоленскую губернию и застрявшего там.

Помню, когда я пришел по адресу, данному мне хозяином-рощенником, на улицу Хапиловку к дворнику, он, серьезный, пожилой человек, окинул меня с ног до головы сердитыми глазами и, выслушав, что я сказал ему,— а я сказал, кто меня прислал и зачем,— подумал и молвил:

— Да так ли, парень, а? Точно ли ты от него? — И, не дождавшись моего ответа, продолжал: — Местишко, говоришь тебе, а винищем шибко зашибаешься? Знаю я Митрия Иваныча хорошо. Зря он попусту болтать не станет. Так он, говоришь, тебя послал ко мне?

— Он.

— Местов-то нету. Держутся люди крепко на местах. Да ладно, спрошу кое-кого. Заходи.

Через несколько дней я снова зашел к нему.

— Пойдем-ка чайку попьем в трактир,— сказал он,— потолкуем.

Он повел меня на Немецкую улицу в трактир, как сейчас гляжу, под названием «Амстердам». За чаем сказал:

— Вот какое дело: домой меня зовут в деревню, на некоторое время. Неотложное дело, а хозяин меня не пускает. Говорит: «Подыщи человечка подходящего за себя, пока в деревне побудешь. Тогда поезжай с богом». Вот, я, парень, об тебе и вспомнил: останься-ка ты за меня, а приеду когда, устрою тебя на место. Паспорт-то у тебя есть?

— Есть, годовой.

— Вот и оставайся. Это тебе вроде ученья будет. Только, гляди, не забалуй. Хозяин строгай. Паспорт твой у него будет. Смотри! Переговорю я с хозяином. Скажу, кто тебя прислал ко мне. Он Митрия-то Иваныча тоже знает. Ну, да ведь в случае баловства какого уйти тебе некуда. Найдут! Что делать надо, я тебе покажу. Расскажу все, что и как. В участок сходим, там скажу про тебя кому надо. Вид твой пропишем. Ну, а жалованье тебе, пока я ездию, восемь целковых на хозяйских харчах. Я тебе из своих плачу, а сам я двенадцать получаю...

Так и устроилось это дело. Остался я «заместителем», как говорят теперь, дворника.

Под моим «началом», так сказать, было два дома — «две мостовых», как говорят дворники. В одном доме, который поменьше, жил сам хозяин с чахлой, болезненной женой, богомольной и молчаливой, запуганной, да с кухаркой Анной — ворчливой, старой, злой и придирчивой бабой, а в другом, рядом, находилась так называемая «Покровская крепость», набитая жильцами, «бывшими людьми», золоторотцами, сверху донизу. Внизу, в большом подвальном помещении, ютились в тесноте и грязи самые что ни на есть отбросы, настоящая голь, пьяная, грязная, постоянно почти ссорившаяся, страшная, а наверху сдавались углы, каморки, койки. Здесь было немного почище, но в общем и там и здесь царствовал один и тот же бог — нужда.

Улица, где стояли эти дома, находилась на окраине Москвы и одной своей стороной, той, на которой стояли мои дома, выходила куда-то к

огороды-пустыри, заваленные навозом, откуда постоянно, а в особенности в оттепель, несло вонью.

Хозяин-домовладелец каждый день с утра, часов с семи, уходил или уезжал в город в ряды, на Ильинку, где у него была лавка и где он проводил время до вечера. Когда делалось темно, он возвращался, и я каждый раз «обязан» был встретить его и «доложить», что все благополучно, или же, наоборот, не все благополучно, а случилось то-то и то-то. Работы и заботы мне было по горло. В особенности трудно было, когда разыгрывалась непогода, наметая с огородов и пустырей на мостовую груды снегу, который необходимо надо было успеть скидать и очистить к утру. Случалось, и часто, что и по ночам я не спал, откидывая этот снег за забор, торопясь покончить дело до обхода помощника пристава, который каждый день по утру проходил по улице и глядел за порядком.

Помощник этот звал меня почему-то солдатом: «Эй, солдат!», и требовал, чтобы я стоял перед ним на вытяжку, «руки по швам». Человек он был, как я понял его, не злой, но ужасно вспыльчивый и горячий. Какой-нибудь пустяк: плохо посыпанная, на его взгляд, песком панель, неподметенный на мостовой лошадиный навоз,— приводил его в бешеное состояние. Он принимался орать на всю улицу, сыпал «материком» и топал ногами. Я, в силу необходимости, старался потрафить ему, и к его шествию по улице у меня все уже было готово и все в порядке. Высокую его фигуру, с задранной кверху головой и с торчащими тоже кверху усами, издали было видно, как она, не торопясь, спускается сверху под гору, к моим домам. Я с метлой или лопатой в руках становился во фронт и ждал. Фигура медленно и величаво двигалась и, не доходя эдак шагов пятнадцати-двадцати до меня, зычно кричала: «Эй, солдат!» Я со всех ног бросался на этот зов. «Здорово»,— говорила фигура. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — по-солдатски, глотая слова, отчеканивал я.— «Ну, как ты? Все исправно?» — «Так точно, ваше высокоблагородие» — «П-шел на место». Я быстро делал направо или налево кругом и отходил. А он, точно как петух с распущенным хвостом, важно и необыкновенно, как-то по-чудному шагая, следовал дальше, где около домов его точно так же, как и я, поджидали дворники.

Забот мне было тоже много. Донимали, мучили и злили меня жители моей «Покровской крепости». Чего-чего не было из-за одних только паспортов. Хозяин приказал, чтобы без паспорта никто не смел ночевать, а тем более проживать в крепости. Сколько унижений, слез, просьб пришлось мне перевидать по этому поводу. Первое время, когда я занял место дворника, то долго не мог привыкнуть к этим людям и к ихней жизни. Меня поразила эта жизнь, полная какой-то, бог ее знает, особенной, своеобразной, ни на что непохожей, ужасной, отчаянной потерянностью, как кошмарный, тяжелый сон, забытье. Люди, боясь опомниться, сами себя тянули вниз, в вонючую, грязную яму. Обовшивели и как будто гордились этим. Были среди них женщины, дети, подростки — девочки.

Осенью, когда рано темнело, когда на улице шел дождь, все было мокро, и свет от фонарей только увеличивал еще больше печальную картину, страшно

Собственно говоря, я «замещал» временно дворника, уехавшего домой на родину в Смоленскую губернию и застрявшего там.

Помню, когда я пришел по адресу, данному мне хозяином-рощенником, на улицу Хапиловку к дворнику, он, серьезный, пожилой человек, окинул меня с ног до головы сердитыми глазами и, выслушав, что я сказал ему,— а я сказал, кто меня прислал и зачем,— подумал и молвил:

— Да так ли, парень, а? Точно ли ты от него? — И, не дождавшись моего ответа, продолжал: — Местишко, говоришь тебе, а винищем шибко зашибаешься? Знаю я Митрия Иваныча хорошо. Зря он попусту болтать не станет. Так он, говоришь, тебя послал ко мне?

— Он.

— Местов-то нету. Держутся люди крепко на местах. Да ладно, спрошу кое-кого. Заходи.

Через несколько дней я снова зашел к нему.

— Пойдем-ка чайку попьем в трактир,— сказал он,— потолкуем.

Он повел меня на Немецкую улицу в трактир, как сейчас гляжу, под названием «Амстердам». За чаем сказал:

— Вот какое дело: домой меня зовут в деревню, на некоторое время. Неотложное дело, а хозяин меня не пускает. Говорит: «Подыщи человечка подходящего за себя, пока в деревне побудешь. Тогда поезжай с богом». Вот, я, парень, об тебе и вспомнил: останься-ка ты за меня, а приеду когда, устрою тебя на место. Паспорт-то у тебя есть?

— Есть, годовой.

— Вот и оставайся. Это тебе вроде ученья будет. Только, гляди, не забалуй. Хозяин строгай. Паспорт твой у него будет. Смотри! Переговорю я с хозяином. Скажу, кто тебя прислал ко мне. Он Митрия-то Иваныча тоже знает. Ну, да ведь в случае баловства какого уйти тебе некуда. Найдут! Что делать надо, я тебе покажу. Расскажу все, что и как. В участок сходим, там скажу про тебя кому надо. Вид твой пропишем. Ну, а жалованье тебе, пока я ездию, восемь целковых на хозяйских харчах. Я тебе из своих плачу, а сам я двенадцать получаю...

Так и устроилось это дело. Остался я «заместителем», как говорят теперь, дворника.

Под моим «началом», так сказать, было два дома — «две мостовых», как говорят дворники. В одном доме, который поменьше, жил сам хозяин с чахлой, болезненной женой, богомольной и молчаливой, запуганной, да с кухаркой Анной — ворчливой, старой, злой и придирчивой бабой, а в другом, рядом, находилась так называемая «Покровская крепость», набитая жильцами, «бывшими людьми», золоторотцами, сверху донизу. Внизу, в большом подвальном помещении, ютились в тесноте и грязи самые что ни на есть отбросы, настоящая голь, пьяная, грязная, постоянно почти ссорившаяся, страшная, а наверху сдавались углы, каморки, койки. Здесь было немного почище, но в общем и там и здесь царствовал один и тот же бог — нужда.

Улица, где стояли эти дома, находилась на окраине Москвы и одной своей стороной, той, на которой стояли мои дома, выходила куда-то в

огороды-пустыри, заваленные навозом, откуда постоянно, а в особенности в оттепель, несло вонью.

Хозяин-домовладелец каждый день с утра, часов с семи, уходил или уезжал в город в ряды, на Ильинку, где у него была лавка и где он проводил время до вечера. Когда делалось темно, он возвращался, и я каждый раз «обязан» был встретить его и «доложить», что все благополучно, или же, наоборот, не все благополучно, а случилось то-то и то-то. Работы и заботы мне было по горло. В особенности трудно было, когда разыгрывалась непогода, наметая с огородов и пустырей на мостовую груды снегу, который необходимо надо было успеть скидать и очистить к утру. Случалось, и часто, что и по ночам я не спал, откидывая этот снег за забор, торопясь покончить дело до обхода помощника пристава, который каждый день по утру проходил по улице и глядел за порядком.

Помощник этот звал меня почему-то солдатом: «Эй, солдат!», и требовал, чтобы я стоял перед ним на вытяжку, «руки по швам». Человек он был, как я понял его, не злой, но ужасно вспыльчивый и горячий. Какой-нибудь пустяк: плохо посыпанная, на его взгляд, песком панель, неподметенный на мостовой лошадиный навоз,— приводил его в бешеное состояние. Он принимался орать на всю улицу, сыпал «материком» и топал ногами. Я, в силу необходимости, старался потрафить ему, и к его шествию по улице у меня все уже было готово и все в порядке. Высокую его фигуру, с задранной кверху головой и с торчащими тоже кверху усами, издали было видно, как она, не торопясь, спускается сверху под гору, к моим домам. Я с метлой или лопатой в руках становился во фронт и ждал. Фигура медленно и величаво двигалась и, не доходя эдак шагов пятнадцати-двадцати до меня, зычно кричала: «Эй, солдат!» Я со всех ног бросался на этот зов. «Здорово»,— говорила фигура. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — по-солдатски, глотая слова, отчеканивал я.— «Ну, как ты? Все исправно?» — «Так точно, ваше высокоблагородие» — «П-шел на место». Я быстро делал направо или налево кругом и отходил. А он, точно как петух с распущенным хвостом, важно и необыкновенно, как-то по-чудному шагая, следовал дальше, где около домов его точно так же, как и я, поджидали дворники.

Забот мне было тоже много. Донимали, мучили и злили меня жители моей «Покровской крепости». Чего-чего не было из-за одних только паспортов. Хозяин приказал, чтобы без паспорта никто не смел ночевать, а тем более проживать в крепости. Сколько унижений, слез, просьб пришлось мне перевидать по этому поводу. Первое время, когда я занял место дворника, то долго не мог привыкнуть к этим людям и к ихней жизни. Меня поразила эта жизнь, полная какой-то, бог ее знает, особенной, своеобразной, ни на что непохожей, ужасной, отчаянной потерянностью, как кошмарный, тяжелый сон, забытье. Люди, боясь опомниться, сами себя тянули вниз, в вонючую, грязную яму. Обовшивели и как будто гордились этим. Были среди них женщины, дети, подростки — девочки.

Осенью, когда рано темнело, когда на улице шел дождь, все было мокро, и свет от фонарей только увеличивал еще больше печальную картину, страшно

8*

было отворить подвальную, приставшую к косякам дверь и заглянуть в нижнее помещение «крепости». Квадратная, большая, с низкими (высокий человек стукался головой) потолком комната-сарай тонула в каком-то вонючем, кислом, щекочущем горло полумраке. Там и сям по углам, близко и далеко, мелькали огоньки от горевших свечных огарков, около которых сидели, стояли и двигались люди, принимавшие в полосах этого трепетного слабого света какие-то странные, причудливые и страшные формы. Что-то тяжелое, невыразимое словами, наполняло душу всякий раз, когда я в это время заглядывал в подвал.

Очень часто, в особенности по праздникам, здесь по ночам происходили скандалы, драки. Мне приходилось разнимать их, не один раз я подвергался опасности получить в потемках ножик в бок.

Трудно было привыкать, но привыкнешь,— пословица говорит,— и в тюрьме живешь. Тем более, что мне пришлось уже видать «виды».

Обратно дворник возвратился домой в конце декабря, после рождества, а я вскоре после его приезда неожиданно получил известие из дому о том, что отец заболел и навряд ли встанет. Известие это больно ударило меня в сердце. Представился старик-отец, его голос, грустные, когда прощался я с ним, слова его...

С тоской, с предчувствием неизбежной беды поехал я домой.

Отец помирал. Он простудился, схватил воспаление легких, и болезнь крепко схватила его и держала не выпуская, поджидая смерть, чтобы передать его ей. И она, эта страшная гостья, пришла.

Я застал отца, лежащим на своей жесткой, короткой кроватенке в углу за переборкой. Он увидал меня и улыбнулся какой-то жалостной ребячьей улыбкой. Эта его улыбка жестоко ударила меня в сердце. Я как-то сразу понял, что он мертвец, и до того вдруг стало мне его жалко и себя самого жалко, что я, наклонившись к нему, заплакал и, помню, задыхаясь, шептал:

— Прости меня, прости меня.

Мать, повязанная черным платком, с провалившимися глазами, с посиневшими губами, то-и-дело падала на коленки перед иконами в другой каморке и что-то шептала, крестясь, и испуганными, просящими глазами глядела на доски-иконы.

Лекарства давала принимать отцу сестра. Она же меняла компрессы. Но все это было ненужно. Смерть уже подходила к отцу вплотную. Ему делалось все хуже и хуже. Обезумевшая, испуганная мать захлопотала о том, чтобы пригласить «батюшку» — причастить отца. «Батюшки» дома не оказалось. Он был в отлучке, уехал в Москву. Пришлось пригласить попа из другого, соседнего, села, а этот другой, по прозвищу «Мулла», славился на всю волость своим пьянством, и когда приехали за ним, то застали его с сильнейшего похмелья. Но делать нечего — за неимением другого пришлось взять его.

Помню и, как сейчас, гляжу на всю последовавшую затем канитель. Отца «подготовили», сказали, что послали за «батюшкой». Затеплили перед

иконами лампадки, убрались, стали ждать. Наконец, «погнавшая» на лошади за «Муллой» кума Авдотья Колосиха привезла его. Поп был одет в нагольный тулуп, с поднятым воротником, заболтанным сверху, чтобы не расходился, шарфом. Поп был небольшого роста, скуластый, чернявый, жидковолосый, с трясущимися руками и с одним испуганным, посоловелым правым глазом — на левом было бельмо.

Плачущая мать подошла к нему под благословение. Он пофукал на красные озябшие руки и, благословив ее, тихонько сказал:

— Игнатьевна, нет ли у тебя, родная, того-с... а? Маленько мне... Ча-ашечку... а?

— Батюшка, уж это нельзя ли после таинства,— сказала мать.

— Не могу, свет,— руки трясутся. Господь не взыщет, он видит. Насыть, коли есть... богом прошу! Веришь: душа с телом расстается.

«Поправившись», он взял «святые дары» и ушел к отцу за перегородку исповедывать и причащать его. Помню, он скорешенько возвратился оттуда и опять попросил у матери «ста-а-а-канчик».

Когда я вошел к отцу, он лежал навзничь и тихонько сказал мне:

— Ну, теперь мое дело в шляпе.

К вечеру ему стало хуже, а на другой день утром опять кума Авдотья Колосиха «погнала» за «Муллой» «соборовать» отца или, как говорят в деревне, «отпевать на тот свет».

На этот раз Мулла был выпимши. Народу, любопытных, набилось смотреть, как будут «соборовать», много. Полуживой отец лежал навзничь. В руку ему сунули зажженную свечку. «Мулла» приступил к «таинству». Читал, пел, мазал деревянным маслом «помазком» (лучинка с обмотанным ватой концом) отца по разным частям тела, бормотал при этом что-то, как тетерев на току, и сам очень похожий на тетерева, когда тот, распустив крылья, очумело ерзает на одном месте.

Присутствующие стояли с зажженными свечками и крестились. Мать, стоя на коленках, плакала навзрыд. После соборованья отцу стало еще хуже, и часам к двенадцати дня у него сразу «порушался» язык. Он не мог говорить, а как-то жалостно ляякал языком: «ля, ля, ля, ля, ля». Силился что-то сказать, а не мог. Грустно покачал головой, перестал ляякать — и вдруг неожиданно и точно здоровый быстро перевернулся на правый бок к стене и затих... помер.

Помню, и сейчас в ушах стоит вопль несчастной матери:

— Ба-а-тюшка, Пал Фанасич! Го-о-лубчик ты мой! Б-а-тюшки... о-о-о!

Вскоре после смерти отца «благодетели господа» переселили мать в «богадельню», в грязную, сырую, вонючую каморку-угол, рядом со злой, клыкастой, озорной ругательницей-старухой. Там, в этой каморке-углу, не прожив и двух лет после смерти отца, умерла и она.

Померла она от рака в груди. Во все время болезни меня не было. Жить там, куда посадили старуху-мать, мне было нельзя, и я после смерти отца

жил, где придется и как придется. Жил в барском, князя Оболенского имепьи,— рабочим, жил, рабочим же, в монастыре «преподобного Мефодия Пешношского», жил у «староверов». Все это впоследствии мною описано в моих сочинениях. Перед смертью матери, в конце августа, мне пришлось работать, косить овес у нанявшего меня поденно мужика в селе Ильине, на границе Московской и Владимирской губерний на речке Вели. Покончив это дело, мне захотелось повидать мать, которую уже не видал давно. Жила она в отведенной ей каморке-углу с дочерью, моей сестрой, как я уже говорил, в так называемой «богадельне».

Застал я ее в безнадежном состоянии. Лежать она уже не могла, а сидела в каком-то не то кресле, не то ящике, терпеливо дожидаясь избавительницы от страданий — смерти. Мой приход обрадовал ее.

— Сынок-батюшка,— ласковым дрожащим слезами голосом говорила она, целуя меня в голову.— Пришел... не забыл мать-то... Где ты пропадал?.. Что ты все ходишь, места себе не найдешь... Ищешь все чего-то... Чего ты, сынок, ищешь-то? А я вот помирать собралась... Жду вот сижу смерть-то... К отцу бы мне скорей, к нему, к моему голубчику под бочек... устала я, сынок-батюшка... тяжко мне... А ты не плачь!.. Полно-ка ты... Не плачь, говорю тебе. Умру я, помяни мое слово, хорошо ты будешь жить... придет, сынок, твой час, придет..

Умерла она глубокой ночью... тихо заснула, наклонив на левую сторону голову. Мы с сестрой обмыли ее тело... прибрали... положили...

Другая, так сказать, вторая часть моей жизни началась после смерти матери. К описанью этой второй части я и перейду теперь.

(Продолжение следует)

Спекторский

Б. Пастернак

Окончание

Прошли года. В них сбился б и Юпитер.
Дожди событий смыли с них число.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем,—
Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцырь,
К пустым сараям не протоптан след,
Пролеты комнат канули в пространство,
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь, с'езжая вывесками вниз,
Москва с размаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил хрустенье сонной чащи
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, недожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей шарахнутых врастяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем, что воздух родины заклят,
И половина края люди кадра,
А погибать без торгу их уклад.

Затем, что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
Что должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не видавший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут без видимых причин
Выносит солнце на аэростате
Пустого дня безрадостный зачин.

Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире,
И зерен в мере хлеба не считай.

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И значит, место мне укажет, где бы,
Не увлекаясь в те года никем,
Не стыло бы малиновое небо
В потоках крови и шато д'икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор не отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: чернолиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И все б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отполыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И эта тень — пробел в календаре.

И в киновари ренскового солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде непрямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событье исчезает за стеной,
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь старинные вещицы,
А одинокость это — рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене средь мги
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там спуском в шахты скалился Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледеневших недр.

Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли до тла
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь, ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги,

И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.

Как кратеры, дымились кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.

Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Покачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

Шли на-авось, покамест шлось, покамест
Не скашивала смаху вихря злость,
Пока салазки ладили с пайками,
Шли, падали, ползли, пока ползлось.

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки, и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.

То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссарьят.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мерилом римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант — казне.

В те дни у Сыромятницких окраин
Был полудеревенский аромат.
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И раменьем, кой-где в огне осеннем
Тянулся лес к брусам оконных рам.
Разделавшись с очередным храненьем,
Переходили к новым номерам.

Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В зрачках уставших от чужих перин
Блеснуло что-то яркое, как яхонт.
Он увидал Мариин лабиринт...

«А ну-ка,— быстро молвил он,— коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я неравнодушен к снегу,
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Стояла тишь, и если б веткой хрустнуть,
Дворовый воздух бросился б в галоп.
Как эскимос, нависшей тучей сплюснут,
Был небосвод холодный низколоб.

А за углом, смыкая круг лиловый,
И вымораживая рубежи,
Носился террор в лодке китолова
И разливал по жилам рыбий жир.

Он думал: «Где она сейчас, сегодня?»
А сумрак вторил: «Шелк! Чулки! Портвейн!»
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
В расхожий фонд. Под опись. В фонд. В подвал».
Он думал: «Нет. О, будь я и гадальщик,
Я б ни за что к разгадке не взывал.

Не надо трогать этого. Неправда ль?
Как хорошо! Ты впущен на прием
К случайности; ты будущим подавлен,
И по двору гуляешь с ним вдвоем.

Неведомое! Вот оно, без спички
В любых потемках видное лицо.
Единственное имя в перекличке,
Носимое невыбывшим жильцом.

Вызвезживало. Ночь играла в прятки
С амбаром. Взгляды отливали льдом.
«Там оказались ваших две тетрадки,
И снимок ваш попал в чужой альбом».

Международное обозрение

Обсервер

1. Вырождение реформизма в Англии

Нельзя сказать, чтобы английский реформизм когда-либо отличался особой привлекательностью. Нельзя сказать, чтобы в его физиономии когда-либо ярко горел огонь революционного энтузиазма. Совсем напротив. Мы хорошо знаем теорию и практику британского трэд-юнионизма до войны и во время войны. Мы не менее хорошо знаем, что представляла собой рабочая партия на протяжении первых двух десятилетий своего существования. Мы помним, как Клейнсы и Гендерсоны являлись министрами «военных кабинетов» Ллойд-Джорджа, как Бен-Тиллеты и О'Грэди призывали рабочих (в том числе и русских рабочих) к продолжению империалистической бойни «вплоть до победного конца». Мы все это знаем и помним и все-таки...

На исходе войны, в зареве пожара Октябрьской революции, стала быстро подыматься волна рабочего восстания и в Англии. Бурные массовые стачки 1919, 1920 и 1921 гг. Возникновение британской компартии в 1920 г. Призрак всеобщей забастовки протеста во время польско-советской войны, связавший по рукам и ногам Ллойд-Джорджа. Борьба пролетарских масс за сокращение рабочего времени и повышение заработной платы. Решительный отпор наступлению капитала в 1924/25 г. Миллионы голосов, отданные на выборах Рабочей Партии. Всеобщая забастовка и памятная стачка горняков в 1926 г. Вот самый беглый и неполный перечень событий, знаменовавших собой наступление новой эпохи в рабочем движении Великобритании.

Под влиянием этих событий английский реформизм вынужден был слегка подкраситься и «привести себя в порядок». В 1918 г. рабочая партия приняла расплывчато-социалистическую программу. В 1919—21 гг. трэд-юнионы руководили борьбой пролетариата за улучшение условий труда и отстаивали принцип национализации угольной промышленности. В 1924 г. первое правительство Макдональда признало СССР, а британские трэд-юнионы стали заигрывать с советским профессиональным движением. В 1925 г. лидеры английского реформизма, размахивая картонным мечом, грозили капитализму «непримиримой классовой борьбой» по случаю наступления шахтовладельцев на рабочих угольной промышленности. В 1926 г. те же лидеры, не будучи в состоянии оседлать стихийно-революционный порыв пролетариата, вынуждены были провозгласить всеобщую стачку... правда, только за тем, чтобы через 9 дней ее позорно предать. Надо ли напоминать историю героической борьбы горняков? Массы и тут навязали вождям революционную роль, которой те смертельно боялись, но которую вынуждены были играть, как умели. А умели они это очень скверно...

На протяжении 7 лет британский реформизм усиленно румянил свои щеки и губы, и на дальнем расстоянии, особенно для людей попроще, мог казаться почти что «революционным». Не секрет, что в те времена его

многие противопоставляли континентальному реформизму, особенно германскому и французскому, и при этом говорили комплиметы по адресу англичан.

Но так долго продолжаться не могло. Как только «стабилизация капитализма» сделала первый значительный шаг вперед, как только послевоенная волна рабочего восстания вследствие предательства вождей и жестокого наступления капитала начала спадать, английский реформизм вновь стал обнаруживать свое истинное лицо. То, что раньше было слегка завуалировано «революционной» фразой и «классовым» жестом, теперь выступило во всем своем отталкивающем безобразии наружу. Открылась эра «мира в промышленности» и продажи оптом и врозницу рабочих интересов. Открылась эра жестоких гонений на компартию и исключения коммунистов из профессиональных и политических организаций пролетариата. Открылась эра самого беззастенчивого и гнусного приспособленчества к сущности и формам буржуазного общества. Все эти Персели, Хиксы, Цитрины, Бен-Тиллеты, еще так недавно ездившие в Москву и искавшие здесь «вдохновения», теперь круто повернули фронт и запели в дудку сэра Альфреда Монда. Даже «неистовый» Кук, вождь горняков, пожинавший на 6 конгрессе наших профсоюзов такие шумные овации, совсем по-реформистски перекинулся на другую сторону баррикады и выступил с громом и молнией против коммунизма. Да, последние 3 года многое определили, выяснили и уточнили в мире британского пролетариата. Английский реформизм с наивной откровенностью превратился в «третью партию буржуазии».

Последние месяцы дали тому новое и красноречивое доказательство. В сентябре в Бельфасте происходил 51 конгресс английских трэд-юнионов. В октябре в Брайтоне заседала очередная конференция рабочей партии. И вот, когда прочитываешь отчеты о том, что происходило на этих двух «рабочих парламентах», начинаешь реально ощущать всю глубину падения, до которой в наши дни докатился английский реформизм.

В самом деле, что было в Бельфасте?

Картина была до последней степени красочная и поучительная. По общему мнению прессы, никогда еще на конгрессе британских трэд-юнионов не господствовало такой смертельной скуки, как в этом году. Коммунисты, раньше довольно часто попадавшие на конгресс в качестве делегатов от отдельных профсоюзов, на этот раз были заранее удалены из его стен мерами организационной репрессии. Нескольким смельчакам из коммунистического лагеря удалось-таки пройти сквозь игольное ушко трэд-юнионистских рогаток и попасть на трибуну конгресса. Они сумели сделать из этой трибуны очень хорошее употребление. Однако число их было настолько незначительно, что, несмотря на всю свою энергию и энтузиазм, они не смогли оказать сколько-нибудь серьезное влияние на общую физиономию конгресса. А когда секретарь движения меньшинства, коммунист Артур Хорнер, недопущенный в зал заседаний, попытался с галлереи для публики обратиться с речью к делегатам, сторожа, по распоряжению председателя с'езда, насильно выбросили его на улицу. Итак, со стороны коммунистов конгресс был достаточно хорошо защищен от какой-либо критики, а остальные... остальные упорно молчали. Молчали Персели и Хиксы. Молчал и Кук. Впрочем, виноват, Кук не все время молчал. Он однажды взял слово, но только для того, чтобы со всей решительностью обрушиться на «коммунистических раскольников» в профессиональном движении. Господство правых и правейших на конгрессе было полное, и дела конгресса громко вопиют об этом... Вот некоторые из этих дел [1].

---

[1] См. «Manchester Guardian», 3—8 сентября.

Председатель Генерального совета Бен-Тиллет, открывая конгресс, в приветственной речи заявил, что «капиталистическая рационализация неизбежна», что профсоюзы — «интегральная часть организации промышленности» и что «рабочий больше заинтересован в процветании индустрии, чем акционер, директор и управляющий». Отсюда Бен-Тиллет делал тот неизбежный логический вывод, что тред'юнионы должны всемерно способствовать «капиталистической рационализации» и с напряжением всех сил поддерживать «мир в промышленности». Но Бен-Тиллет на этом не остановился. По всему складу своей идеологии Бен-Тиллет — типичный империалист. Недаром во время войны он так яро вербовал добровольцев в английскую армию. На конгрессе в Бельфасте Бен-Тиллет в горячих и проникновенных выражениях говорил об укреплении Британской империи, об использовании ее огромных ресурсов для целей «капиталистической рационализации» и даже предложил для скорейшего осуществления этой задачи созвать одновременно с предстоящей в скором времени Имперской конференцией правительств (Англии и важнейших колоний) также Имперскую конференцию рабочих организаций. По мысли Бен-Тиллета, эта последняя конференция должна облегчить дело «капиталистической рационализации» в общеимперском масштабе.

Выступление Бен-Тиллета не явилось каким-либо резким диссонансом. Совсем напротив. Во время заседаний конгресса, естественно, встал вопрос о тех переворотах, которые втечение минувшего года Генеральный совет тред'юнионов вел с предпринимателями, в частности, с сэром Альфредом Мондом на предмет установления постоянного «мира в промышленности». Делегат Томпкинс от имени союза деревообделочников внес резолюцию, резко осуждающую «политику сотрудничества с врагами рабочего класса, грубо и беззастенчиво понижающими уровень его существования», но эта резолюция была провалена огромным большинством голосов. Наоборот, конгресс столь же огромным большинством голосов выразил одобрение Генеральному совету за его политику «кооперации» с предпринимателями, поручив ему и в дальнейшем продолжать начатое дело.

Не менее характерно поразительное решение конгресса о газете «Дэйли Херальд». Это — единственная ежедневная газета рабочей партии и конгресса тред'юнионов. Она издается в Лондоне, имеет скромный размер и тираж около 350 тысяч экземпляров. «Дэйли Херальд» все время приносил известный дефицит, так как деловой мир Англии недостаточно щедро снабжал его об'явлениями, без которых ежедневной газете вообще существовать очень трудно. Этот дефицит до сих пор покрывался рабочей партией и конгрессом тред'юнионов. Вожди реформистов уже давно носились с мечтой о миллионном тираже «Дейли Херальд» и об особом издании этой газеты на севере Англии. Недостаток денег все время тормозил осуществление этой мечты. И вот теперь конгресс тред'юнионов в Бельфасте нашел соломоново решение трудной проблемы: он постановил передать издание «Дэйли Херальд» в руки частно-капиталистической фирмы «Одемс и К°», которая должна вложить в предприятие крупный капитал и развернуть «Дэйли Херальд» в большую ежедневную газету. И притом, какой фирмы! Фирмы, которая издает едва ли не самый желтый еженедельник в Англии — пресловутый «Джон Булль»! Правда, конгресс заверяет, что «Одемс и К°» не имеют и не будут иметь никакого отношения к редакционной части газеты. Но кто же не знает реальной ценности подобных заверений? Да и к чему какие-то оправдания и оговорки? Разве конгресс не стоит на точке зрения «кооперации» между трудом и капиталом? «Дэйли Херальд» теперь будет живым воплощением этой «кооперации».

А наряду с стремительным срастанием между реформизмом и буржуазией, как его неизбежная антитеза,— резкая, истребительная борьба налево, с коммунизмом. В прошлом году Генеральный совет произвел специальное «следствие» о «раскольнических элементах» в профессиональном движении, и в Бельфасте представил большой отчет о «проделанной работе». Отчет этот, составленный в знакомом стиле антисоветских фальшивок, с постоянными ссылками на «приказы Москвы» и на «советские деньги», рекомендует полное изгнание коммунистов из тред'юнионов. Отчет был единодушно одобрен и принят конгрессом.

И еще одна любопытная деталь. Конгресс вотировал резолюцию в пользу возобновления дипломатических отношений с СССР. Тут нет ничего неожиданного. Британские тред'юнионы всегда стояли за нормализацию отношений между Москвой и Лондоном. Но вот что характерно — мотивировка резолюции. Ее сущность сводится к тому, что «подобный акт будет способствовать развитию торговли и обеспечит размещение в Англии заказов, которые ослабят безработицу». Поистине чисто-«капиталистическая» мотивировка! Под ней охотно подпишутся многие и многие воротилы Сити. Иных аргументов в распоряжении конгресса не нашлось. Случайно ли это?— Едва ли. Тут, как и в истории с «Дэйли Херальд» наглядно сказывается тот дух «кооперации» с капиталом, которым сейчас до глубины сердца проникнут английский реформизм.

А в Брайтоне?

Брайтонская конференция рабочей партии — первая конференция после прихода Макдональда к власти. Можно было думать поэтому, что она будет полна энергии, блеска и под'ема, которые так естественны на с'езде партии, только что одержавшей крупную победу. Можно было думать, что на ней развернутся яркие и интересные прения, раздадутся смелые призывы, будут набросаны вехи и контуры широкой реформаторской работы (хотя бы и в пределах буржуазного общества). Ничего подобного, однако, не случилось. Современный английский реформизм уже до такой степени поражен старческим маразмом, что больше не способен ни на какой размах, ни на какое воодушевление. Вот почему в старинных залах дворца, где заседала конференция рабочей партии, царили такие же скука и тоска, как и на конгрессе тред'юнионов в Бельфасте.

О чем, в самом деле, шла речь на Брайтонской конференции?

По вопросам внешней политики длинную проповедь произнес Гендерсон. Он сделал краткое обозрение Гаагской конференции, Женевской сессии Лиги наций, событий в Палестине, переговоров с СССР и еще целого ряда других событий предшествовавших 4 месяцев, а затем весь изошел в слащаво-пацифистских фразах о мире всего мира и о необходимости разоружения, которые только вредят делу подлинной борьбы с милитаризмом.

По вопросам внутренней политики выступало несколько ораторов, но центральным из них был «министр безработицы» Томас, который как иначе и не может быть, чувствует себя жалким пигмеем в сравнении с грандиозностью стоящих перед ним задач. Неудивительно поэтому, что речь Томаса о борьбе с безработицей или, вернее, о невозможности серьезной борьбы с безработицей, как две капли воды походила на те речи, которые по данному поводу в последние годы не раз произносили консервативные министры. Его обещание истратить в ближайшие месяцы 6 млн. фунтов (60 млн. руб.) на различные общественные работы, что может дать занятие всего лишь 24 000 человек (при 1 млн. 200 тыс. безработных), невольно вызвало улыбку даже у многих членов конференции. А его театральная поездка в Канаду с баржей отечественного угля для доказательства того, что английский уголь ничуть не хуже американского, которым питается Канада,

заслужила Томасу имя неудачного «коммивояжера» британских шахтовладельцев. Ничего более серьезного, более конструктивного «министр безработицы» не мог пред'явить конференции. Да и как иначе? Корни английской безработицы очень глубоки, они связаны с историческим закатом британского империализма, и не валерьяновыми каплями реформизма можно лечить эту болезнь.

«Проклятый вопрос» безработицы причинил на конференции много неприятностей еще другому «рабочему министру» — министру труда Маргарите Бондфильд. Эта почтенная дама, придя к власти, не только не устранила всех тех рогаток, которые ее консервативный предшественник поставил на пути получения безработными страхового пособия, но даже еще более усугубила их эффект. В результате на биржах труда поднялись вопли и стенания. Даже Брайтонская конференция не смогла спокойно снести такого издевательства над пролетариатом и едва не вынесла прямого порицания Маргарите Бондфильд (за порицание было подано 1 027 тыс. голосов, против порицания — 1 100 тыс.).

При такой «постепенности» в осуществлении социализма нисколько не удивительно, что Макдональд, отсутствовавший в Брайтоне по случаю своей поездки в Америку, в письме, обращенном к конференции, должен был умоляюще заклинать: «Дайте нам немного времени, времени для того, чтобы изучить и подумать; времени, чтобы заложить прочный фундамент; времени, чтобы обеспечить реализацию наших планов, когда они будут поставлены на испытание жизнью»[1]. Какой знакомый припев: «Терпение, терпение и терпение!» С этим лозунгом генерал Куропаткин, как известно, проиграл японскую войну. Едва ли можно сомневаться, что та же судьба ожидает и Макдональда.

Зато, если в области «осуществления социализма» Брайтонская конференция не дала ничего потрясающего — ни одной новой мысли, ни одного интересного предложения, ни одной свежей ноты! — то, наборот, по части борьбы с коммунизмом она обнаружила не меньший пыл, чем Бельфастский конгресс трэд-юнионов. Она отклонила предложение, внесенное некоторыми делегатами, о прекращении известного мируцкого процесса в Индии. Она шумно аплодировала выбрасыванию с галлереи для публики коммунистов, пытавшихся обратиться с речью к членам с'езда; она приняла новый партийный устав, усиливающий централизацию рабочей партии и совершенно закрывающий доступ в нее для представителей коммунистического мировоззрения.

Какая замечательная картина! Два реформистских с'езда — и две ослепительно ярких манифестации глубокого, органического сращивания между бюрократией рабочего движения (в подавляющей массе присутствовавшей на с'езде) и буржуазией. Такой циничной откровенности, как проявленная ныне, еще не было 3—4 года назад. История в наши дни шагает быстро, и 1929 г. войдет в ее анналы, как тот год, когда английский реформизм официально вступил в сожительство с капиталистическими классами своей страны.

2. Австро-марксисты за работой

От революции 1918 г. австрийский пролетариат вплоть до настоящего дня сохранил кое-какие, достаточно скромные завоевания.

На первом месте здесь стоит сравнительно демократическая конституция, которая была окончательно принята в 1920 г. Согласно этой конституции, каждый гражданин обоего пола и не моложе 21 года от роду пользуется избирательным правом в парламент и провинциальные собрания. Пар-

[1] «Economist» от 5 октября.

ламент состоит из двух палат: нижней, выбираемой на 4 года всеобщим голосованием населения в составе 165 депутатов, и верхней (или «союзного совета»), выбираемой провинциальными собраниями в составе 46 человек. Однако верхняя палата имеет лишь совещательный голос. Президент республики назначается парламентом, на общем заседании обеих палат, сроком на 4 года и пользуется сравнительно ограниченными полномочиями. Достаточно сказать, что он не имеет права назначать и смещать правительство. Это делает сам парламент. Вся страна подразделяется на 9 автономных провинций, с своими собственными провинциальными собраниями и назначаемыми этими собраниями местными правительствами. Одна из только что названных 9 провинций — город Вена, заключающий в своих стенах 1 865 тыс жителей, т. е. 34% всего населения республики, и пользующийся всеми правами автономии, предусмотренной конституцией. Конечно, на советский масштаб, государственное устройство современной Австрии — не бог весть какое достижение, но все-таки по сравнению с порядками старой императорской Австрии конституция 1920 г. может рассматриваться, как некоторое завоевание революции.

Далее, к тем же завоеваниям необходимо отнести особое положение Вены, на которое только что было указано. Вена — крупнейший промышленный центр Австрии, населенный многими сотнями тысяч пролетариев. Автономия Вены означает более легкую возможность для рабочего класса столицы выявить свою волю в вопросах местного хозяйства и местной политики, а также, благодаря руководящему значению Вены в стране, оказывать более сильное влияние и на парламент и на правительство. Венский пролетариат не сумел до сих пор сделать исчерпывающего употребления из предоставленных ему прав, ибо по причинам, о которых речь будет ниже, он в своем большинстве до сих пор идет за реформизмом. Поэтому венский муниципалитет состоит, главным образом, из соц.-демократов, не хотящих и не могущих вести настоящей рабочей политики. Но все-таки особые юридические права столицы дали возможность ее рабочему классу оградить свой муниципалитет, по крайней мере, от засилья черно-клерикальной буржуазной реакции.

Наконец, еще одним важным завоеванием революции является наличие так называемого «Шуцбунда» («Союз обороны»), т. е. вооруженной рабочей гвардии, организованной по-военному и находящейся в настоящее время под сильнейшим влиянием тех же соц.-демократов. «Шуцбунд», сохранившийся в Австрии со времен 1918—19 гг., давно уже является бельмом на глазу у буржуазии, и клерикальное правительство Зейпеля, правившее страной до 1928 г., сравнительно недавно произвело его частичное разоружение.

На фоне этих довольно скромных завоеваний революции широко развернула свою деятельность австрийская соц.-демократия. Для того, чтобы иметь некоторое представление о масштабах последней, достаточно будет сказать, что в настоящее время партия австро-марксистов насчитывает около 700 тыс. членов, что ее в руках находится профессиональное и кооперативное движение, и что, как только что было указано, «Шуцбунд» составляет ее вооруженную самооборону. В парламенте социал-демократы имеют 71 депутата из 165. Напротив, компартия Австрии пока еще довольно слаба, она делает лишь первые серьезные шаги по пути своего укрепления и лишь постепенно отвоевывает себе почву в широких массах пролетариата. Причины этого необыкновенного засилья соц.-демократии довольно сложны, но в основном они сводятся к тому, что в силу более слабого индустриального развития классовые противоречия в Австрии менее обострены, чем, например, в соседней Германии, и что австро-марксисты еще с довоенных времен относились к категории «левых» социалистов, которые своей лов-

костью в обращении с звонкой революционной фразой умеют лучше, чем «правые», втирать очки широким массам пролетариата. Недаром австрийская соц.-демократия насчитывает в своих рядах таких «левых» вождей, как К. Реннер, Отто Бауэр и Фридрих Адлер. Недаром также австрийская соц.-демократия сейчас считается самой «образцовой» партией II Интернационала.

Несмотря, однако, на чрезвычайное засилие соц.-демократии, австрийский пролетариат отличается большой революционной энергией. В довоенные годы он не раз выступал в открытой борьбе против господствующих классов, в наши дни он также сохранил дух жив и несокрушимую волю к победе. Достаточно вспомнить хотя бы июльские дни 1927 г., когда на протяжении нескольких дней Вена находилась в огне революции, в конце-концов, задушенной в крови полицией — палачом Шобером, при попустительстве и поддержке со стороны соц.-демократии. На протяжении последних двух лет экономическое положение пролетариата систематически ухудшалось (реальная заработная плата упала примерно на 10%), и потому сейчас широкие рабочие массы, несмотря на горькие уроки 1927 г., полны революционного протеста и негодования.

Силам пролетариата противостоят силы буржуазной реакции, которая складывается из нескольких элементов. С одной стороны, чрезвычайную активность проявляет австрийская буржуазия, озлобленная ударами послевоенной ликвидации, живущая подачками Лиги наций и страстно жаждущая как-нибудь поправить свои дела за счет австрийского пролетариата. С другой стороны, в том же направлении усиленно работают остатки довоенного господствующего класса, все эти генералы, адмиралы, придворные сановники, дворяне, бюрократы, которые привыкли играть крупную роль в императорской Австрии и для которых не находится подходящего места в крохотной Австрии послевоенных дней. Далее, необходимо отметить католическую церковь, которая всегда пользовалась в Австрии очень большим влиянием, организуя в «Христианско-социальную партию» широкие массы городской мелкой буржуазии. «Христианско-социальная партия» очень сильна и сейчас (она имеет в парламенте 73 депутата из 165), и на протяжении последних лет фактически держит в своих руках руль государственного корабля. Наконец, к силам реакции относится также крупное и среднее крестьянство, особенно в экономически более отсталых районах страны (Тироль, Форальберг, Штирия и т. д.), которое всегда относилось весьма критически к «городу», рассматривая последний, как сборище дармоедов, ищущих легкой жизни за счет тяжелого труда хлебороба. Эта часто встречающаяся неприязнь деревни к городу в послевоенной Австрии была чрезвычайно обострена предательской тактикой соц.-демократии во время революции. Имея в своих руках государственную власть, соц.-демократия в 1918/19 г. ровно ничего не сделала для крестьянства, тем самым бросив его в об'ятия реакции.

Вполне естественно, что по мере «стабилизации» европейского капитализма все только что перечисленные социальные элементы стали постепенно стягиваться и об'единяться вокруг черного знамени фашизма. Особенно быстро формирование фашистских кадров пошло после июльских событий 1927 г., сыгравших в Австрии, примерно, ту же роль, какую в Италии сыграл захват фабрик и заводов 1920 г. «Христианско-социальная партия» взяла фашистское движение под свое заботливое руководство, а бывший канцлер Зейпель даже всемерно оказывал ему самую энергичную поддержку. Правда, в «Христианско-социальной партии» имеется и свое «левое» крыло, возглавляемое лидером «Христианских профсоюзов» Куншаком,— крылю, которое обнаруживает некоторую сдержанность в отношении слишком прямолинейного фашизма, но оно не играет сколько-нибудь серьезного значения. Руко-

водящая роль в «Христианско-социальной партии» принадлежит крайним правым, рупором которых является газета «Рейхспост». А эти крайние правые поставили ставку на создание собственной вооруженной силы по примеру фашистских отрядов Муссолини. Такая вооруженная сила в последние годы действительно была сформирована в лице пресловутого «Хеймвэра» («отечественная оборона»), энергично поддерживаемого местными правительствами Тироля и Форальберга и щедро финансируемого промышленниками, банкирами и помещиками. Главную «живую силу» «Хеймвэра» поставляло крестьянство, в особенности из более отдаленных горных районов.

При таком положении вещей едва ли приходится удивляться, что между силами пролетариата и силами фашистской реакции уже не раз то там, то сям происходили открытые столкновения, подчас переходившие даже в вооруженные стычки. «Шуцбунд» и «Хеймвэр» олицетворяли два противоположных полюса австрийского социального организма, и, конечно, надолго они не могли спокойно ужиться друг подле друга. Решительный бой между ними рано или поздно был неизбежен. Это прекрасно сознавали фашисты и заранее планомерно готовились к столкновению. Когда подготовка была закончена, они смело и уверенно перешли в генеральное наступление.

Поводом послужила кровавая схватка между фашистами и соц.-демократами в С. Лоренцо, разыгравшаяся в середине августа текущего года. По всей Австрии началась бурная кампания фашистов против «марксистов и евреев» и против Вены, как главной твердыни этих опасных элементов. За газетной шумихой очень быстро последовали и практические дела. 30 августа «Союз аграриев» заявил о своем присоединении к «Хеймвэру» и пред'явил правительству ультиматум, в котором требовал «реформы» избирательного права, лишения права голоса на выборах солдат и полицейских, избрания президента республики путем плебисцита, превращения верхней палаты в сословное представительство, отмены социального страхования и, наконец, лишения Вены той автономии, которой она пользуется согласно конституции. Ответ на этот ультиматум правительство должно было дать в двухнедельный срок. Однако еще до истечения указанного срока «Хеймвэр» подкрепил требования аграриев своим собственным ультиматумом, в котором он настаивал на немедленном осуществлении «реформы конституции», грозя в противном случае «походом на Вену» и насильственным ниспровержением правительства Штерувица. Одновременно фашистская печать стала на все лады воспевать знаменитый «поход на Рим», проделанный в 1922 г. Муссолини, и ставить знак равенства между Штерувицем и Фактой [1].

Фашистский натиск не прошел бесследно. 25 сентября кабинет Штерувица пал, и на его место пришел кабинет Шобера, того самого Шобера, который построил свою карьеру на массовых расстрелах рабочих в 1919 и 1927 гг. Составленный Шобером кабинет состоял из от'явленных реакционеров, однако даже он не вполне удовлетворил фашистов. На большой манифестации этих последних, устроенной в окрестностях Вены 29 сентября, вождь «Хеймвэра» Штейдлэ заявил вполне откровенно:

«Пусть канцлер говорит своим нежным министерским языком, но нам нужно взять нагайку в руки. Если конституционные пути для нас окажутся закрытыми, мы решительно используем те пути, которые нам подскажет необходимость. Среди буржуазных партий есть люди, которые все еще продолжают болтать о соглашении с красными. Цирковых бестий смиряют ударами хлыста, а не уговорами... Нынешняя ситуация такова, что о парламентских фокусах говорить не приходится» [2].

[1] Факта—итальянский премьер-министр, сдавший в 1922 г. власть Муссолини
[2] «Berliner Tageblatt» от 30 сентября 1929.

Кажется, достаточно определенно.

Итак, по схеме «Хеймвэра», кабинет Шобера должен стремительным темпом провести «реформу конституции», а сам «Хеймвэр» в это время с винтовкой в одной руке и с нагайкой в другой будет стоять в полной боевой готовности и следить за тем, чтобы его фашистские планы не были испорчены каким-нибудь неожиданным парламентским компромиссом.

Впрочем, Штэйдлэ напрасно беспокоится. Шобер хорошо знает свои обязанности. Представленная им в середине октября парламенту программа «реформ» может удовлетворить любого фашиста. Программа эта предусматривает повышение избирательного возраста с 21 до 24 лет, сокращение числа парламентских депутатов с 165 до 120, превращение верхней палаты в сословное представительство, ограничение автономии Вены и чрезвычайное усиление полномочий президента, получающего теперь право распускать парламент, назначать и смещать правительство, командовать армией и в случаях особой нужды самостоятельно издавать «чрезвычайные декреты», имеющие силу закона. Программа Шобера широко открывает дорогу установлению фашистской диктатуры. А одновременно военный министр Вогуэн в речи на большом собрании в Вене вполне определенно заявил:

«С интернациональной соц.-демократией, которая проповедует классовую борьбу, никакое соглашение невозможно... Я радуюсь, что «Хеймвэр» преследует ту же самую цель, что и мы. Я протягиваю «Хеймвэру» руку и восклицаю: «Хеймвэр»! стой крепко и верно за правительство Шобера!» [1].

Каков смысл всей этой комедии?

Он очень ясен. Так как международная биржа, с вожделением ожидающая фашизации Австрии и превращения ее в еще один опорный пункт для атаки на СССР, считала все-таки опасным итти к осуществлению этой цели путем развязывания гражданской войны, то «Хеймвэру» дано было приказание несколько «сократиться» и на Шобера возложена деликатная миссия набросить мантию парламентской легальности на фашистский государственный переворот. Конечно, если бы во главе австрийского пролетариата стояли настоящие революционеры, эта тактика закончилась бы полным фиаско. Но акулы европейского капитала прекрасно знают современную социал-демократию, и потому они не без основания рассчитывают, что маленький фиговый листочек «законности» может лишить ее вождей последних остатков политического разума. И они не ошибаются.

В самом деле, что делала втечение последних месяцев, что делает сейчас австрийская соц.-демократия?

Казалось бы, партия, насчитывающая в своих рядах 700 тыс. членов (11% всего населения Австрии!),— партия, располагающая почти половиной парламентских мандатов и занимающая командное положение в Вене, партия, имеющая к своим услугам многочисленный «Шуцбунд»,— такая партия могла бы без труда стать решающей силой в государстве. Казалось бы, эта партия, опираясь на энтузиазм и революционную готовность пролетариата, одним ударом кулака по столу могла бы сразу опрокинуть все реакционные махинации фашистов. Никакой «Хеймвэр» не осмелился бы бросить вызов соц.-демократии, если бы он знал, что его нахальство немедленно же получит достойное возмездие. Но в том-то и дело, что современный австро-марксизм состоит из принципиальных трусов и практических предателей. Поэтому он смертельно боится всякой серьезной борьбы и, имея все карты в руках, заранее без боя очищает свои позиции. Эту основную тактическую «идею» австро-марксистов нескромно выбалтывают их друзья из «Социалистического вестника»:

[1] «Berliner Tageblatt» от 15 октября 1929.

«Чем больше этот блок (всех реакционных сил) сплачивается,— пишет Р. Абрамович,— тем труднее становится австрийскому пролетариату удерживать свои революционные завоевания перед напором изменившегося к его невыгоде «соотношения сил». И тем более он вынужден время от времени итти на небольшие уступки во второстепенных вопросах для того, чтобы сохранить основное и важнейшее [1].

Вот именно! Еще не начавши битвы, соц.-демократы уже считают, что они ее должны проиграть. Раз так, необходимо загодя итти «на небольшие уступки» противнику вроде разгрома «демократической конституции» или разоружения рабочих масс.

Впрочем, эта позорная операция проделывается не сразу, не откровенно, а по всем правилам иезуитского надувательства масс, в чем «левые» австро-марксисты являются бесспорно блестящими специалистами.

Прежде всего устраивается словесно-революционный барабанный бой, который своим оглушительным шумом должен произвести «потрясающее» впечатление на пролетариат и наглядно демонстрировать «героизм» соц.-демократии. Так, например, 19 сентября венская «Арбейтер Цейтунг», между прочим, пишет:

«Если будет сделано противозаконное покушение на конституцию, будь то государственный переворот «сильного правительства» или «взрыв» фашистов, мы будем конституцию защищать, будем бороться... Лучше несколько дней борьбы, чем десятилетия рабства».

Несколькими неделями позднее на большом митинге рабочих Отто Бауэр произносит горячую речь, в которой клянется «бороться до последней крайности против осуществления фашистской диктатуры». В том же духе на протяжении всего периода конфликта не перестают писать соц.-демократические газеты и говорить соц.-демократические ораторы. Эти систематические выступления австро-марксистов не остаются без влияния на настроение масс. Рабочие начинают верить, что соц.-демократы, действительно, полны боевого воодушевления, и что они, действительно, пойдут на смерть ради конституции. Престиж соц.-демократии растет, борьба коммунистов против ее предательской политики затрудняется.

Одновременно, однако, те же самые австро-марксисты медленно, но систематически начинают расхолаживать революционно-настроенный пролетариат. Когда фашисты устраивают большую демонстрацию в Линце, соц.-демократы пишут: «Это собрание «Хеймвэра» является неслыханной и совершенно излишней провокацией. Тем не менее мы должны при всех обстоятельствах сохранять хладнокровие и предоставить также нашим противникам неограниченное право собраний». Когда фашисты 29 сентября нахально манифестируют под стенами Вены, соц.-демократия дает рабочим лозунг: «Мы требуем от наших товарищей оставлять шествие «Хеймвэра» без внимания». Когда к власти приходит правительство Шобера, соц.-демократы в своей прессе пишут: «Это правительство пока является вопросительным знаком». Когда в порядок дня ставится фашистский переворот, соц.-демократы восклицают: «Только ради бога конституционными путями!» И при этом настойчиво убеждают рабочих, что все дело только в соблюдении парламентской легальности. Если «Хеймвэр» не станет бить стекол в окошках, все будет обстоять благополучно. Лишь бы не нарушение «основных законов», лишь бы не стрельба на улицах, лишь бы не развязывание гражданской войны!

А наряду с этой предательской тактикой гасителей революционного энтузиазма масс соц.-демократы все время настойчиво и униженно торгуются

[1] «Социалистический вестник» от 24 октября 1929

с фашизмом за кулисами. Они заявляют о своей готовности итти «на небольшие уступки» буржуазии, но смиренно просят только одного: не резать им головы сразу. Они сознают, конечно, что зарезать их нужно — таково уж несчастное «соотношение сил»,— но пусть это будет сделано по всем правилам ритуального искусства, понемногу, полегоньку, с необходимыми интервалами и перерывами. Вот и все. Кажется, не так уж много!

В самом деле, на с'езде австрийской соц.-демократии, созванном в начале октября в Вене, Отто Бауэр выступил с большой речью, в которой заявлял, что соц.-демократия готова согласиться с изменениями конституции в том случае, если буржуазные партии пойдут на «внутреннее разоружение». Одновременно «Арбейтер-Цейтунг» занялась критикой фашистских проектов, но такой критикой, которая своей нежностью и деликатностью напоминает лавандное масло. В ответ на требования фашистов о выборе президента республики путем плебисцита газета замечает, что это «нецелесообразно». В ответ на требование назначения правительства президентом газета пишет, что при раздробленности партий в парламенте это, пожалуй, может стать «неизбежным». В ответ на требование создания сословного представительства газета заявляет, что и соц.-демократия относится с симпатией к такого рода начинанию. «Представители больших общественных классов,— пишет «Арбейтер-Цейтунг»,— должны заранее обсуждать и одобрять законопроекты хозяйственного содержания прежде, чем они попадут в парламент». И все в том же роде.

Когда, не внемля австро-марксистской сирене, фашисты все-таки вносят в парламент свою «реформу» конституции, соц.-демократы торжественно предлагают «компромисс»: все партии должны заявить, что изменение основных законов может быть произведено только конституционным путем; все лица, призывающие к насильственному перевороту, должны привлекаться к уголовной ответственности; фашисты и соц.-демократы должны одновременно разоружиться. Итак, австро-марксисты готовы собственными руками обезоружить пролетариат и выдать его головой реакции, ибо, что в сущности реально означает это взаимное разоружение? Даже если бы фашисты свято выполнили взятое на себя обязательство, к их услугам всегда остается регулярная армия, за последние годы хорошо обработанная Вогуеном и К°. А что имеют рабочие, кроме своего «Шуцбунда»?

Но аппетит приходит во время еды. Чем трусливее ведет себя соц.-демократия, тем больше нахальства проявляет фашизм. Буржуазные партии отклоняют предложенный соц.-демократами «компромисс». Одновременно Штейдлэ, точно издеваясь над своими противниками, на большом митинге в Вене заявляет: «Соц.-демократические лидеры обязаны военной дисциплине «Хеймвера» тем, что их до сих пор не повесили, облив предварительно смолой и посыпав перьями». «Хеймвэр» не хочет ни соглашения, ни гражданской войны. Остается третья возможность: соц.-демократической партии придется капитулировать». Несмотря на это, К. Реннер выступает при обсуждении «реформы» в парламенте и униженно заявляет о «согласии» соц.-демократии на изменение конституции. При этом он пускает в ход свой последний и наиболее убийственный аргумент: Реннер просит не забывать заслуг соц.-демократии в борьбе с коммунистическим движением...

Да, не подлежит сомнению одно: австрийская соц.-демократия готовит самое гнусное предательство интересов пролетариата. И на это ее благословляет не кто иной, как сам «великий» Карл Каутский. В статье, напечатанной в день открытия соц.-демократического с'езда, он призывал австромарксистов, «не бряцая оружием и не высказывая никаких угроз», подождать спокойно, «пока не минует период фашистской кон'юнктуры», ибо,

по мнению этого выжившего из ума «вождя», фашистская «кон'юнктура сама себя переживет в тот момент, когда буржуазия заменит ее другой модой».

Куда же дальше?

В такой обстановке вся тяжесть борьбы за интересы пролетариата падает целиком на плечи коммунистической партии. Трудна ее задача, но и почетна. А позорное саморазоблачение соц.-демократии облегчит ей путь к конечной победе.

3. Макдональдщина в Австрии

В начале сентября в Австралии пало министерство Брюса, опиравшееся на коалицию двух партий: националистов и аграриев. Падение министерства было вызвано борьбой около принудительного арбитража рабочих конфликтов. В Австралии еще с довоенных времен существует государственный арбитраж для предупреждения стачек и забастовок. В каждом из шести штатов Австралии имеется свой местный арбитражный суд, а сверх того существует еще единый федеральный суд при центральном правительстве Австралии, разбирающий все конфликты, выходящие за пределы одного штата. Функционирование сложной машины арбитража идет в Австралии не очень гладко. Решения местных арбитражных судов часто не совпадают, а иногда даже противоречат решениям центрального арбитражного суда, и обратно. Это создает крайне запутанное положение в регулировании условий труда. Нередко двое рабочих, занятых на одной фабрике и на одном и том же станке, получают различную заработную плату. Министерство Брюса в 1926 г. пыталось ликвидировать указанные ненормальности передачей всех конфликтов Центральному арбитражному суду, но это предложение было провалено, так как каждый штат ревниво оберегает свою автономию и боится расширять полномочия федеральной власти. Теперь то же министерство Брюса сделало попытку устранить затруднения обратным путем, а именно передать рассмотрение всех конфликтов (за исключением лишь конфликтов в области транспорта) местным судам, чрезвычайно ограничив тем самым компетенцию центрального арбитражного суда. Однако и на этот раз министерство Брюса потерпело поражение. Выборы, происходившие в середине октября, нанесли тяжелый урон правительственной коалиции и дали абсолютное большинство рабочей партии, которая образовала правительство Скуллина.

Такова внешняя схема событий. Каков ее внутренний смысл?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо несколько ориентироваться во внутренне-политическом положении Австралии.

До 1914 г. в стране существовали только две партии — либеральная и рабочая. Либеральная партия об'единяла в своих рядах крупный капитал банкиров, промышленников, богатых скотоводов и т. д. Рабочая партия имела несколько пестрый состав. В противоположность английской рабочей партии, которая об'единяет в своих рядах почти исключительно рабочих (правда, главным образом, квалифицированных рабочих), австралийская рабочая партия, наряду с аристократической верхушкой пролетариата, об'единенного в трэд'юнионы, охватывала также мелких фермеров, небогатых скотоводов, ремесленников, даже небольших капиталистов (особенно в горном деле), ведущих борьбу против всемогущих трестов. Рабочую партию также поддерживали сторонники запрещения алкоголя из различных слоев общества. Таким образом, австралийская рабочая партия в сущности являлась типичной партией мелкой буржуазии, находящейся в оппозиции (конечно, «оппозиции его величества») к крупно-буржуазной партии либералов.

Обе партии, в соответствии с британскими парламентскими традициями, поочередно сменялись у власти, причем рабочая партия в период своего господства провела целый ряд мероприятий в области социального законодательства (в том числе и принудительный арбитраж), которые в предвоенные годы сделали Австралию «идеальной страной» в глазах социал-пацифистов всего мира.

Империалистическая война внесла резкие перемены в эту политическую идиллию. Либеральная партия сразу же после начала войны высказалась за решительную поддержку метрополии, в частности за посылку австралийских войск на помощь Англии. Рабочая партия горела значительно меньшим патриотическим энтузиазмом. В ее рядах шла внутренняя борьба. Лидер партии Юз, человек крупных способностей и диктаторских замашек, был решительным сторонником войны «до победного конца», но большинство партии было настроено гораздо менее агрессивно. В особенности это большинство возражало против введения воинской повинности, на чем настаивал Юз. Дело кончилось расколом: Юз с известной частью своих сторонников вышел из рабочей партии и, перейдя в либеральную партию, в 1916 г. образовал нынешнюю партию националистов, ставшую наиболее ярким воплощением британского империализма в Австралии. Втечение целых 7 лет, 1915—22 гг., Юз оставался на посту премьер-министра Австралии, проводя линию всемерной поддержки лондонского правительства. За это время он неоднократно представлял свою страну на различного рода военных и послевоенных конференциях союзников, играл крупную роль на имперских конференциях британской короны и мало-по-малу превратился в одного из виднейших представителей британского империализма. Но в той мере, в какой росли авторитет и влияние Юза в Лондоне и в Европе, падали его авторитет и влияние в Австралии, которая по окончании войны стала гораздо прохладнее относиться к международным комбинациям лондонских политиков. Австралия сильно опасалась также, как бы слишком активное участие в этих комбинациях не втянуло ее снова в какую-нибудь войну.

Результат указанного хода событий был троякий. Во-первых, рабочая партия снова стала быстро усиливаться. К этому прибавилось, что в рядах рабочего движения начало явственно консолидироваться левое крыло, определенно тяготеющее к коммунизму. Во-вторых, часть мелких скотоводов, фермеров и т. п. создала особую партию аграриев. В-третьих, наконец, в ряды самой партии националистов был внесен раздор, чему не в малой степени способствовали также диктаторские замашки Юза. В 1922 г. положение настолько обострилось, что Юз был «снят» с роли лидера партии и замещен другим вождем националистов — Брюсом, который втечение последующих 7 лет стоял во главе австралийского правительства. Юз же, формально оставаясь в рядах националистов, все время вел внутреннюю борьбу против Брюса и большинства партии. На последних выборах, происходивших в ноябре 1928 г., националисты получили всего лишь 29 мандатов из 75 и могли держаться только при поддержке аграриев, располагавших 13 голосами.

Между тем классовая борьба внутри Австралии все больше обострялась. Рост коммунистических симпатий среди пролетарских масс шел рука об руку с возникновением целого ряда крупных социальных конфликтов, среди которых особенно важную роль сыграла большая стачка работников водного транспорта, во время которой Брюс прибег к помощи организованных штрейкбрехеров. Для борьбы с растущим полевением масс тот же Брюс провел ряд реакционных законов, по своей враждебности пролетариату превосходивших даже законы, изданные Болдуином после событий 1926 г. В то же время все шире разливалось недовольство рабочих масс системой при-

нудительного арбитража, как известно, всегда идущего на пользу капиталистам. В последнее время рабочие просто игнорировали решения арбитражных судов и вели борьбу, не считаясь ни с какими официальными инстанциями. Австралийская буржуазия все с бо̀льшей тревогой взирала на эту эмансипацию пролетариата от своих легалистских традиций и от своих реформистских вождей, лихорадочно ища каких-нибудь эффективных способов «обуздания» рабочих. Политика твердой руки, проводившаяся Брюсом, явно не давала никаких результатов. Поэтому в буржуазных кругах, а особенно кругах интеллигенции, мелкой буржуазии, мелкого фермерства и т. д., все шире распространялось убеждение, что сейчас гораздо выгоднее пустить в ход оружие «макдональдовщины». Это убеждение прежде всего сказалось в рядах аграриев, от поддержки которых зависела судьба правительства, а затем оно стало укрепляться также и среди самих националистов. Последний удар был нанесен Юзом: в вопросе об арбитраже он вместе с некоторой частью националистов голосовал против правительства, чем и вынудил Брюса уйти в отставку.

Мораль австралийской басни, таким образом, совершенно ясна. Буржуазия, чувствуя свою слабость в борьбе с все усиливающимся полевением рабочих масс, на время передоверяет свои права лейборизму в расчете, что он сумеет лучше справиться с «коммунистической опасностью». Можно, однако, сильно усомниться в том, чтобы эта мера дала буржуазии особенно длительный и серьезный эффект.

В целом ряде стран реформиз сейчас занимает господствующее положение среди рабочих масс. В целом ряде стран он еще ведет за собой миллионы пролетариев, умея поддерживать в их головах конституционные и пацифистские иллюзии. Английский рабочий еще верит, что царство Макдональда принесет ему спасение. Австрийский рабочий еще надеется, что Отто Бауэр оградит его от диктатуры фашизма. Австралийский рабочий еще рассчитывает, что правительство Скуллина укрепит его позиции в борьбе с капиталом. И потому миллионы пролетарских голосов еще отдаются реформистам на выборах, нередко ставя их у кормила государственного корабля.

Но такова уж диалектика развития, что как раз эти наиболее шумные успехи реформизма таят в себе ядовитые зародыши их гибели. Английский рабочий еще верит Макдональду, но если правительство Макдональда второй раз не даст рабочему ничего, он перестанет верить реформистам и уйдет в коммунистический лагерь. Тут ахиллесова пята «конструктивного социализма». И тут лучшая надежда революционного пролетариата. Можно с известным правом утверждать, что чем больше внешние победы реформизма, тем ближе его историческое банкротство.

Конечно, отход рабочих масс от реформизма не может быть делом одного дня. Это — сложный и болезненный процесс. Однако уже сейчас внимательный глаз легко замечает яркий блеск грозовых зарниц, вспыхивающих над мировым пролетарским горизонтом. Впрочем, это особая тема, к которой мы вернемся в следующий раз.

Исторические корни „американизма“ в рабочем движении

Г. Сафаров

I. «Земельный контроль» над рабочим движением

Промышленная революция в Америке произошла довольно поздно, в период 1823—1857 гг. Но она произошла на почве, свободной от всяких остатков феодализма. Тогда как в Европе промышленная революция была силой, подготовлявшей и ускорявшей разрешение политических противоречий в буржуазно-демократических формах, в Америке она не имела таких глубоких политических последствий. Уничтожение рабства негров в южных штатах было борьбой двух фракций буржуазии.

В Европе в связи с революционным размахом буржуазно-демократической чистки в период 1789—1848—1871 гг. мы видим первый под'ем рабочего движения, выход рабочего класса на историческую арену. Правда, это первоначальное развитие рабочего движения все время тормозится и прерывается мелкобуржуазными влияниями, но зато эта связь широких полупролетарских и мелкобуржуазных масс с рабочим классом толкает последний на роль революционного руководителя.

Не то в Америке. Там буржуазный консерватизм, внушающий угнетенным массам мысль о вечности и неизменности буржуазных устоев, стоял у самой колыбели рабочего класса. У буржуазии были хорошие предохранительные средства против его революционизирования, и лучшим из них было наличие свободного земельного фонда для наделения колонистов, начинающих фермеров. Этот предохранительный клапан был всегда к услугам и действовал без отказа. «Смешение» рабочего движения с движениями мелкобуржуазных слоев происходило постоянно за счет рабочего класса, и эта «смычка» неизменно обращалась против него самого. «Англо-саксонская раса—эти проклятые шлезвиг-голштинцы, как Маркс всегда их называл,—и без того тяжело ворочают мозгами, а ее европейская и американская история (экономический прогресс и преобладающее мирное развитие в политическом отношении) еще более способствовали развитию этого качества».. Так писал Энгельс Зорге 31 декабря 1892 г.[1]

Уже в 1792 г. в Филадельфии возник первый союз сапожников, через год впрочем распавшийся. В 1794 г. в Нью-Иорке создается Типографское общество. Однако, более широкий масштаб эти попытки создания первых тред'юнионов приобретают лишь с 1827 г., когда в Филадельфии происходит

[1] Письма К. Маркса и Фр. Энгельса. Пер. Адоратского.

целая стачечная борьба за 10-часовой рабочий день в строительном деле [1]. К выборной кампании 1830 г. уже выступает на сцену «Farmer, mechanic and working men's party» — «партия фермеров, ремесленников и работников». В августе 1830 г. до 20 газет защищали платформу этой партии, требовавшей сокращения рабочего дня, «равного права на землю» и мер против спекуляции. Проповедь земельной реформы понемногу перемешивается с кооперативными попытками в духе Оуэна, с распространением взглядов Вейтлинга и утопизма Фурье, «ввезенного» в Америку Альбертом Бризбейном. Политика и социал-реформаторство захватывают период депрессии. С исчезновением депрессии пробивает себе широкую дорогу тред'юнионизм, и в 1835 г. наблюдается общее движение за 10-часовой рабочий день и защиту труда женщин и малолетних.

Депрессия, следующая за паникой 1837 г., продолжается около 15 лет, до 1849 г., до «золотой лихорадки», и именно в эти годы особенно широко расходятся «привозные продукты» европейского утопизма.

Но все же гвоздем всех стихийных и полусознательных движений является земельный вопрос, связанный известным образом с постепенно развертывавшейся борьбой юга и севера.

«До 1840 г.,— рассказывает буржуазная «History of labour in the United States,— «земельная политика правительства была только фискальной — общественные земли рассматривались, как источник государственного дохода». В период между 1840—1862 гг. социальная политика (!) приобретает все большее значение. Закон о гомстэдах 1862 г. дает по 160 акров каждому гражданину, свободному от долговых обязательств и способному использовать и обработать землю.

Эта социальная политика создалась в результате конфликта нескольких классов, отстаивавших разную политику. Из рядов рабочих Востока вышла аграрная доктрина об естественных правах, которая вошла составной частью в философию движения «за свободную землю» в период 1844—1850 гг. Из среды белых бедняков хлопковых районов юга была выдвинута подобная же доктрина, защищавшаяся теннесийским портным Эндрью Джонсоном, которому принадлежит первый билль о гомстэдах, введенный в 1845 г. Со стороны западных пионеров и переселенцев возникли требования об увеличении населенности и развитии естественных богатств (новых мест), оба они сводились к требованию гомстэдов для поселенцев и земельных участков для железных дорог. Против этих интересов были заводчики, капиталисты и земельные собственники востока и оседлых штатов. Их возражения в конгрессе были следующие: «При вашей политике вы загубите крупные промышленные интересы... Вы оторвете от занятий тысячи наших фабрикантов и рабочих, попустительствуя этому вашими законами. Вы сделаете бесполезными и бесприбыльными миллионы капитала, вложенные нашим народом в железоделательное производство... Вы обесцените собственность, вы зазываете наше население, побуждая производительных работников бросать насиженные места под предлогом соблазнительных обещаний даровой земли (the promise of lands for nothing) и железных дорог, освобожденных от налогов [2].

Старые штаты боялись подрыва своей монополии на промышленное развитие, боялись и того, что они будут лишены дешевых рабочих

[1] В Новой Англии движение за 10-часовой рабочий день началось с 1825 г.

[2] «History of labour in the United States». New-York, 1921, volume I «Humanitarianism», by Henry E. Hoagland, pp. 562—563.

рук. Ведь в Америке это в большей степени, чем где бы то ни было, обусловлено территориальным расположением той или иной отрасли [1].

Однако американская буржуазия, как класс, была больше заинтересована в том, чтобы обеспечить капитализму действительно широкий простор как в смысле использования естественных богатств, так и в смысле массовой опоры. Отказаться от завоевания Запада с помощью банка и железной дороги было нельзя, не рискуя самым существованием «национального» капитализма. Недаром же еще в 1823 г. президент Монроэ провозгласил «непрекосновенность» обеих Америк и необходимость их безусловной защиты от всех и всяческих европейских поползновений. Нотки этого монроизма, этого мотива «Америка для американцев» [2] проскальзывают и в рабочем движении за земельную реформу на этой ранней стадии. Протест был направлен, прежде всего, против спекуляции землей, разросшейся до чудовищных размеров.

В этом отношении особенно интересны взгляды Эванса, нашедшие значительное распространение.

«Рабочие на севере мало сочувствовали южным неграм, и призывы Гаррисона принимали безразлично или даже враждебно. Эванс об'яснял это отношение рабочих к рабству тем, что сами они в большей степени лишены естественных прав. Настоящие рабы, это наемные рабы городов, и это их хозяева лишили естественного права на землю. Равное право на землю должно предшествовать уничтожению рабства, личная свобода для рабов была бы только переменой хозяина».

Тут невольно вспоминаешь отрицание наций французскими прудонистами под предлогом необходимости социальной революции. Что характерно для всякой мелкобуржуазной теории, так это то, что она взывает не только к мелкобуржуазному рассудку, но и к мелкобуржуазным предрассудкам, оправдывая «революционными» соображениями реакционную отсталость.

Эванс, можно сказать, характерный представитель американской эсеровщины [3]. Развитие классовой борьбы, хотя бы в форме стачек, уже выяснило неизбежность превращения экономики в политику и их тесного взаимодействия. Однако эту материальную подоплеку политики Эванс понимает по-мелкобуржуазному, с точки зрения фермерского участка.

Показательно, что и позже каждый удар по рабочему классу влечет за собой переход рабочих на точку зрения «производителей», то есть на позицию мелких товаропроизводителей.

Рабочее движение заявляет о себе на политическом поприще по преимуществу через представителей буржуазной политики или, в лучшем случае, при посредстве очень неустойчивых мелкобуржуазных коалиций.

После гражданской войны, наводнившей страну обесцененными бумажками, оно становится жертвой «гринбэкизма», то есть мелкобуржуазной проповеди инфляционной политики дешевых денег и дешевого

---

[1] Вот пример: «Избыток воды, доступность сырых материалов, дешевизна жизни и особенно свободные (гм! гм!) условия труда (неограниченное применение женского и детского труда, запоздалое развитие тред'юнионов) вызвали быстрый прогресс хлопчато-бумажной мануфактуры на юге и привели к перенесению этой индустрии из Новой Англии в южный Пидмонт (в Южную Каролину). «American history and its geographic conditions». By Ellen churchill Semple. Boston and New-York, 1903, p. 349.

[2] В 1816 г. были введены покровительственные таможенные пошлины против европейской конкуренции. Тарифные «акты» следовали затем один за другим в 1824, 1828, 1832, 1833 гг. Тарифная «китайская стена» была воздвигнута против Европы с первых шагов американского капитализма.

[3] Правильнее было бы сказать, что Эванс и американский «аграриэнизм»—прародители «самобытной» эсеровщины.

кредита для самостоятельных хозяйчиков. Последнее связывается также и со всякого рода кооперативно-утопическими планами. Вторая конвенция «Национального союза труда» (National labor union), собравшись в 1867 г. в Чикаго, принимает предложения выходца из мелких торговцев Келлога об организации дешевого трехпроцентного правительственного кредита и обрушивается — в своей «декларации принципов» — против «денежной монополии», «монополии железных дорог и торговых домов». Только капитализм, как таковой, остается все время вне сферы действия боевого огня!

Свободная земля в руках американского капитализма оказалась той силой, с помощью которой он получил возможность с самого начала «контролировать» рабочее движение и направлять его то в русло узкой и себялюбивой цеховщины, то по пути мелкобуржуазных иллюзий,— в зависимости от кон'юнктуры. Разумеется, этот «контроль» не был проведением «планового расчета» со стороны буржуазии, он был подготовлен историческими условиями. Однако буржуазия сумела вполне сознательно воспользоваться этим «контролем».

2. Формирование американской рабочей аристократии

Уже довольно рано начинают проявляться «чисто-американские» особенности движения. Почин в этом отношении дает Калифорния.

«Гринбэкизм и иные теории средних классов никогда не имели успеха в этом штате. Калифорния, придерживавшаяся золотого обращения, не испытывала той острой депрессии, которая царила на востоке в 1867 и 1868 гг. вследствие сокращения бумажного обращения. Рабочее движение, таким образом, не нуждалось в том, чтобы искать поддержки в кооперации или гринбэкизме... Перемена к худшему в положении промышленности произошла в 1869 г., когда Восток был охвачен депрессией. Открытие первой трансконтинентальной дороги в этом году не только выбросило за борт многие тысячи, как китайцев, так и белых, но и вызвало местную депрессию, так как началась конкуренция дешевых продуктов восточных фабрик с калифорнскими» [1].— С этого начинается движение за изгнание китайцев из штатов. Прежде всего их выгоняют из местных союзов горняков.

Следующая кон'юнктурная судорога капитализма происходит в 1873 г., она продолжается до 1879 г. И вот ее «программное» отражение в местном рабочем движении: это — платформа «партии рабочих Калифорнии», принятая 5 октября 1877 года.

«Задача состоит в об'единении всех бедняков и рабочих, а также их друзей в одну политическую партию с целью самозащиты против угрожающего роста капитала...».

«Мы предлагаем возможно скорее освободить страну от дешевого китайского труда и будем добиваться этого всеми средствами, так как это еще более принижает труд и усиливает капитал...»

«Мы предлагаем уничтожить земельную монополию в нашем штате, опираясь на законы, которые бы сделали это возможным...»

«Мы предлагаем разрушить великую силу денег (!), находящуюся в руках богатых, путем известной системы обложения, которая сделала бы невозможным накопление больших богатств в будущем [2]...»

[1] «History...», volume II. «Nationalisation», by John B. Andrews, pp. 148—149.
[2] «History...», volume II, p. 255.

Антикитайские погромы и «парламентское» проведение своих кандидатов в органы местного самоуправления, нелегальные методы борьбы и широкая агитация — все пускается в ход, пока, наконец, эта цеховая «самозащита» не кончается «единением» труда и капитала под звездным флагом.— «Отношение хозяев изменилось, когда китайцы начали вторгаться в сферу их доходов (!), нанимать своих дешевых земляков и продавать свои товары, прямо соперничая с изделиями своих прежних хозяев и учителей». Следствием этой «восстановленной» гармонии был закон о запрещении китайской иммиграции в Калифорнию 1882 г.

Если китайский вопрос в Калифорнии мог казаться еще «местным», то совсем уже не местным был вопрос об отношении к иммигрантам вообще, все более полноводным потоком вливавшимся в американское хозяйство.

У американских буржуа есть своя философия истории американского рабочего движения, разумеется в духе гомперсизма.

Вот она — «Проблема ассимиляции и американизации была прямо навязана рабочим как классу, ибо иммигранты и представители других рас[1] являлись прежде всего рабочими и, только при условии ассимиляции (!) их рабочими организациями, они могли быть вовлечены в общее движение, успех которого зависел бы от их готовности отказаться от конкуренции и пойти на соглашение (!). Собственность, торгово-промышленная прибыль и профессиональные доходы росли при постоянной конкуренции со стороны иммигрантов, которые принижали рабочий класс, и тогда как имущие могли спокойно смотреть на положение масс, сами труженики было осуждены на небходимость индивидуального сопротивления им или на патриотические жертвы во имя ассимиляции после их вторжения (!). С сороковых годов, с их революциями в Европе, мы начинаем встречать на собраниях союзов два языка — английский и немецкий, после же восьмидесятых годов число их по отдельным союзам возрастает до пяти, десяти и даже больше. Освобождение негров прибавляет еще одну расу к разряду иммигрантов... С самого начала организации рабочих в конце XVIII столетия до того положения, которое мы застаем в начале XX века, мы сталкиваемся с этими острыми вопросами иммиграции, расовых конфликтов и расовой ассимиляции, определяющими характер американского движения и отличающими его от других.

Пока размах рыночной конкуренции был шире, чем в других странах, уровень цен и заработков в этих рамках поднимался и падал с чрезмерной резкостью. Циклы благополучия и депрессии характеризовали все страны в период распространения промышленности и кредитных отношений (!) в XIX веке, но американские циклы достигли более высоких точек под'ема и более низких ступеней падения...

«В тот или иной период роста цен, когда стоимость жизни отставала от роста заработка, когда дела шли в гору и был спрос на труд, мы имели агрессивные стачки, тред'юнионизм, классовую борьбу, быстрый захват промышленных районов страны. Наоборот, в периоды падения цен, с их депрессией в делах и бедствиями безработицы, труд, беспомощный и разбитый в оборонительных стачках, обращался к политике, к панацеям, к проектам всемирной реформы,— классовая борьба растворялась в гуманитаризме»[2].

---

[1] Китайцы, японцы, негры.

[2] «History...», volume I, «Introduction» by Yohn B. Commons, pp. 9—10—11.

Вот и говорите после этого, что горе-герои II Интернационала не носят обносков с американского плеча!

Кто сказал, что бизнесмены против «классовой борьбы»? Они за нее, если под «классовой борьбой» понимать чистый экономизм, стремящийся к «цеховой охране» «национального» труда за счет «нежелательных» иммигрантов и «всяких» рас!

Они признают тред'юнионы как средство самозащиты американской рабочей аристократии» от «иммигрантов и рас».

Классовая борьба может быть только «кон'юнктурной», «гармония» же труда и капитала под знаменем империализма — «вечный закон».

Гомперсизм был продуктом долгой и сложной исторической подготовки. В течение ряда десятилетий американская буржуазия вырабатывала свои особенные методы использования национальных, профессионально-цеховых и всяких иных противоречий внутри рабочего движения и рабочего класса в целом. Это шло рука об руку с ростом ее хозяйственной мощи и политической силы.

«Лишь в шестидесятые годы сложился национальный рынок, что явилось следствием соединения важнейших железнодорожных линий в магистрали и открытия трансконтинентального железнодорожного сообщения. Финансовая паника 1873 г. положила предел быстрому железнодорожному строительству, тем не менее общее протяжение железных дорог, построенных в 70-х годах, достигло 41 тысячи миль. Железнодорожное строительство 70-х годов привело к тому, что втянуло ремесленников мелких городов в прямую конкуренцию с машинным производством промышленных центров и создало для последнего дополнительный рынок в новых районах Запада... Фабричная система производства впервые стала господствующей в течение 80-х годов. Это особенно полно проявилось в производстве машин. Общая сумма капитала, вложенного в литейное дело и машиностроительные предприятия, возросла в два с половиной раза между 1880 и 1890 гг. В то же самое время средний вклад капитала в отдельное предприятие увеличился в два раза и на 50% на каждого рабочего. Фабричная система привела к сильному росту класса необученных и полуобученных рабочих с более низким заработком»[1].

Именно в это же время увеличивается иммигрантская волна. Это видно из следующей таблички[2]:

Период	Общее число иммигрантов	
В 1820 — 1830 гг.	124 640	чел.
» 1821 — 1840 » .	528 721	»
» 1841 — 1850 » .	1 604 855	»
» 1851 — 1860 » .	2 648 912	»
» 1861 — 1870 » .	2 369 878	»
» 1871 — 1880 »	2 812 191	»
» 1881 — 1890 » .	5 246 613	»
» 1891 — 1900 »	3 687 564	»
» 1901 — 1910 » .	8 795 368	»

Две волны — иммигрантская и местная — перекрещиваются между собой в этот период в американском рабочем движении.

[1] «History...», «Upheaval and reorganisation» (since 1876). By Selig Perlman, pp. 357—358.

[2] The reports of the United States immigration commission. — Взято из «Papers on inter-racial problems communicated to the first Universal races congress. London 1911, p. 212.

Возникает и широко раскидывается такая своеобразная организация, как «Благородный орден рыцарей труда» (The Noble order of the knights of labor). Самое основание этой полустачечной-полупросветительной организации с неуклюжей обрядовой конспирацией, выступающей по существу в роли «одного большого союза» рабочих неквалифицированных профессий, относится к 1869 г. Ее родина Пенсильвания, шахтерский район. Лишь к 1873 г. она начинает играть более заметную роль. Наибольшего расцвета она достигает в период 1876—1884 гг. В 1885 г. «Рыцари труда» об'единяют 700 тысяч рабочих, но затем число их падает под влиянием самостоятельной организации тред'юнионов, и в 1890 г. в их рядах остается лишь 100 тысяч.

Историческое значение этой организации в том, что она обучает рабочий класс массовой борьбе с хозяевами и стачечной — в первую голову.

Так оценивал ее Энгельс, когда писал Вишневецкой: «Я считаю «рыцарей труда» важным фактором движения, к которому не следовало бы, стоя от него в стороне, относиться с презрением, а наоборот, следовало бы революционизировать его изнутри»[1]. Участие американских рабочих в буржуазной политике (голосование на выборах за демократов и республиканцев), мелкобуржуазные увлечения Генри Джорджем и отрыжкой старого «аграрианизма» Энгельс не считал «пределом, его же не прейдеши». — «Американские рабочие не заставят себя долго ждать и пойдут, подобно англичанам, своим собственным путем. С ними начинать с теории нельзя; их собственный опыт, ошибки и дурные последствия этих ошибок сами столкнут их лицом к лицу с теорией,—а тогда all right (все хорошо)»[2].

В связи с особой текучестью и разнородностью состава американского рабочего класса Энгельс считал, что «в стране, как Америка, неизбежны постоянные новые приливы, сопровождаемые такими же обязательными отливами»[3].

В начале 80-х годов движение носит ярко-выраженный замкнуто-цеховой характер, и даже «Рыцари труда» испытывают на себе действие этих веяний. Перелом наступает с депрессией и вынужденным вовлечением в движение масс необученных, хуже оплачиваемых рабочих в 1884—85 гг. В 1884 г. «Рыцари труда» требуют запрещения иммиграции законтрактованных рабочих, поскольку этим путем насаждается штрейкбрехерство. Тред'юнионы, стоящие в стороне от «Ордена рыцарей труда», в это время насчитывают до 250 тысяч членов. Движение все больше и больше раскачивает рабочие массы. Но раньше чем на рабочих обрушиваются преследования после чикагских бомб 1886 г., рабочее движение дает трещину изнутри, на этот раз решающую. «Рыцари труда», крупнейшая массовая организация рабочих в американской истории, не найдя самостоятельного выхода на арену революционной классовой политики, терпят поражение от тред'юнионизма, который не хочет жертвовать своими привилегиями лучше оплачиваемого труда во имя классовых интересов.

Вот как описывает эту борьбу буржуазная история: «Квалифицированные рабочие стояли за право пользоваться своими преимуществами квалификации и сильной организации для того, чтобы добиться максимальных выгод для себя. Рыцари труда старались присоединить

[1] 28 декабря 1886 г. Цитируем по тому же переводу.
[2] Письмо Энгельса Шлютеру 11 января 1890 г.
[3] Письмо Шлютеру 30 марта 1892 г.

квалифицированных рабочих для того, чтобы можно было использовать их исключительно выгодную позицию (в производстве) и для необученных и полуобученных»[1]. Повидимости шел спор о степени самостоятельности тред'юнионов, по существу это был — хотя и не осознанный — конфликт между рабочей аристократией и массой рабочего класса.

Пресловутая «Американская федерация труда» (American federation of labor) появилась на свет в результате этого конфликта в декабре 1886 года. Последующие стачечные успехи тред'юнинонов закрепили их привилегированное положение на рынке труда.

Американская рабочая аристократия созрела для «долевого участия» совместно со своей буржуазией в плодах «национальной монополии».

Рабочая аристократия поняла, что ее привилегированное положение может быть куплено и закреплено только ценою эксплоатации, раздробленности неквалифицированной, чернорабочей массы и бесправия иммигрантов-рабочих.

Она помогла буржуазии помешать перерастанию экономической борьбы в политическую, в сознательную классовую борьбу против капитала.

Это и констатировал Энгельс в 1892 году. «Теперь рабочий класс развился и организовался, главным образом, в тред'юнионы. Но по занимаемому положению он аристократ, имеющий возможность простые, плохо оплачиваемые занятия предоставлять переселенцам. Из переселенцев же только малая часть вступает в ряды аристократических тред'юнионов; переселенцы разделяются на национальности, в большинстве случаев не понимающие ни друг друга, ни местного языка. А ваша буржуазия умеет куда лучше австрийского правительства натравливать одну национальность на другую: евреев, итальянцев, чехов и пр. на немцев, ирландцев и т. д., такчто в Нью-Иорке, я думаю, суюествуют такие различия в жизни рабочих, какие в других странах были бы немыслимы. К этому еще нужно прибавить, что ваше общество выросло на чисто капиталистическом базисе, лишено всякого феодального прекраснодушия и совершенно равнодушно к погибающим в борьбе за существование человеческим жизням. «Их еще много больше, чем следовало бы, этих проклятых dutchmen'ов (собственно говоря, голландцев, евреев и венгерцев)[2]. А сверх всего этого на фоне вырисовывается john Chinaman (китаец), превосходящий их всех способностью жить отбросами[3].

3. Подготовка «рабочего движения» империалистического типа

Американский капитализм по преимуществу кормится чужой рабочей силой (см. табл. стр. 149).

Кроме китайцев, японцев и иммигрантов из Европы, есть еще и негры. В 1910 г. в Соединенных штатах их было до десяти миллионов. В 1900 г. из 2 млн. негров-чернорабочих было 1 250 тысяч сельскохозяйственных рабочих, 500 тысяч поденщиков, 250 тысяч прачек. Из 1 200 тысяч

---

[1] «History...», volume II. By S. Perlman, pp. 396—397.

[2] Эту фразу можно часто слышать в Соед. штатах.

[3] Письмо Герману Шлютеру 30 марта 1892 г.

Отрасли промышленности	% родившихся вне Америки
Сельскохозяйственные орудия и с.-х. транспорт . . .	60
Сапожное производство	27
Сигары и табак	33
Одежда	72
Уголь	62
Добыча и выплавка меди . . .	65
Хлопчатобумажное производство	69
Мебель	59
Стекольное производство . .	39
Производство стали и железа .	58
Добыча железа-сырца	53
Кожевенная промышленность	67
Нефть	67
Производство крашеного шелка .	75
Производство шелка . . .	34
Бойни и консервное дело	61
Сахарное производство	85
Шерстоткацкое дело	62
Производство электрических принадлежностей .	45
Производство огнестрельного оружия	40
Литейное дело и машиностроение	55
Итого .	58%[1]

профессиональных работников было 125 тысяч мелких ремесленников, 575 тысяч полуобученных рабочих, 500 тысяч слуг. Наконец, из 250 тысяч «самостоятельных» было 200 тысяч фермеров, 40 тысяч свободных профессий и 10 тысяч купцов[2]. Американские негры — самая чернорабочая нация и, в то же время, самая низшая ступень американской общественной пирамиды.

Превращение капитализма в прямое рабовладение, столь характерное для эпохи загнивания и саморазложения капитализма, в Америке было подготовлено исторически изнутри, всем ходом внутреннего развития американского капитализма.

Самый свободный капитализм, выросший на фермерской основе, на наших глазах стал самым главным источником рабовладения. К прыжку на мировую арену он готовился исподволь, и до известной степени его внутренняя американская история была для него лишь приготовительным классом,— точно так же, как приготовительным классом для него были первые «скромные» империалистические захваты из-за нехватки сахара, резины или нефти в собственном складе.

Джон Гобсон был прав, когда писал в 1902 г., что «Куба, Филиппины и Гавайя — только «закуска» для возбуждения аппетита к более обильной трапезе»[3].

Именно в американском империализме наиболее полно и односторонне — разумеется, благодаря его богатству и общей исторической обстановке,— проявилась «тенденция буржуазии и оппортунистов превратить горстку богатейших привилегированных наций в «вечных» паразитов на теле остального человечества»[4].

В этом отношении он начал с «собственного» рабочего класса.

---

[1] «Conditions of labor in american industries». By W. Jitt, Lauck and E. Sydenstrisker. 1917, p. 2.
[2] «Inter-racial problems». 1911, p. 358.
[3] «Imperialism». London. 1902.
[4] Ленин, т. XIII, стр. 479.

Собственный рабочий класс — конечно, не в смысле его «стопроцентного американского» происхождения — он держит на положении нежелательных иностранцев, а то и просто людской «дичи», как негров.

Разве это не представляет несомненных «удобств»!?

И разве не «законно» с точки зрения «национальных» интересов стремление «генерализировать», сделать обязательным этот метод для всех наций и рас?!

Не со вчерашнего дня он имеет подспорье в лице своих Гомперсов и Гринов, к которым больше чем к кому-либо подходит ленинская характеристика рабочей аристократии, как «паразитического слоя в рабочем движении» [1].

Только в Америке еще в довоенную эпоху могли появиться такие «социалисты», которые бы совершенно откровенно проституировали марксизм в защиту звериного «бизнеса»!

Империалистическая бойня и последующие события принесли с собой целые моря этого черносотенного, ку-клукс-клановского социализма, занимающегося линчеванием угнетенных наций, если угодно даже с «Коммунистическим манифестом» в руках! Но ведь в Америке к этому пришли эволюционным путем, задолго до войны, и в этом — историческая «самобытность» американского, якобы рабочего, паразитизма.

В письме к Николаю — ону в 1879 году Маркс выражал надежду, что американские условия помогут самостоятельному выступлению рабочего класса.— «Соединенные Штаты,— писал он,— в настоящее время значительно перегнали Англию в быстроте экономического прогресса, хотя все еще находятся позади ее по размерам накопленных богатств; но в то же самое время народные массы обладают там более живым темпераментом и имеют в своих руках более сильные политические средства для выражения своего негодования против той формы прогресса, которая позволяет ему совершаться на их счет» [2].

Однако, в конечном счете, американскому капитализму удалось свалить основную тяжесть своей «самобытной», спекулятивно-колонизаторской формы прогресса на плечи «чужаков» — негров и иммигрантов, заботливо выделив сливки своей рабочей аристократии.

Как раз «американцы с давних уже пор доказали европейскому миру, что буржуазная республика есть республика капиталистических дельцов, в которой политика ничем не отличается от всех прочих торговых предприятий» [3]...

Американский капитализм выработал эту — наиболее современную с точки зрения империализма!— комбинацию,— «комбинацию босса и треста» («the combination of the Boss and the Trust») [4]. Американская политика представляет собою в максимальной степени буржуазную организацию распределения чиновничьих привилегий и правительственных концессий. Недаром же американские «ученые» определяют партию как «либо ближайшее правительство, либо уже правительство нынешнее» [5]. Разве они могут заглянуть дальше предпринимательского кармана?! «Босс»,— организатор политической фондовой биржи,— загоняет

---

1 Ленин, т. XIII, стр. 198.
2 10 апреля 1879 г.
3 Энгельс—Зорге, 31 декабря 1892 г.
4 «The American party system». By Charles Edward Merriam, p. 411.
5 Там же, стр. 58.

массу суверенного народа в стойло того или иного треста или банковского концерна, интересы которого составляют в данный момент очередное звено для американской буржуазии.

Тред'юнионистская верхушка — это боссы по профлинии. С помощью их осуществляется комбинация босса и треста в области рабочей политики. Это и есть пресловутый американский «партнершип» (partnership), участие рабочей аристократии в прибылях от угнетения разноплеменной массы рабочего класса, в том числе, конечно, и стопроцентного американского происхождения. Как с серьезным видом раз'ясняют просвещенные буржуа, это — не «партнершип индивидуального наемного рабочего и его хозяина, как проповедуют его сторонники «социальной гармонии», но партнершип — товарищество на паях рабочего класса, организованного в национальный тред'юнион или производственный союз, с классом хозяев, организованных в национальный хозяйский союз» [1].

Однако ведь это — фотография тройственного союза предпринимателей, профсоюзных бюрократов и правительства под сенью Макдональда в 1929 году. Это — «идеал», издавна вдохновлявший теоретиков II Интернационала на блудливые речи об организованном капитализме. Не кто иной, как Рудольф Гильфердинг, ставший позднее казначеем немецкой буржуазии, писал в 1924 году: «Капиталистической хозяйственной организации противостоят теперь организации производителей. Выдвижение их членов внутри бюрократически-организованного хозяйства становится главным содержанием их политики, наряду со стремлением самим влиять на организацию хозяйства и преобразовывать ее в демократическом (!) смысле» [2].

Идеология организованного капитализма — символ веры и Амстердама и II Интернационала. Недаром на недавнем с'езде в Бельфасте, представлявшем отвратительное зрелище братания профбюрократов с капиталистами, Бен-Тиллеты, Бевины и Ситрины всячески расшаркивались перед «здоровым» капитализмом. Их усердие вызвало даже благосклонную усмешку «Таймса», напомнившего, как еще недавно эти люди заседали — о, ужас! — вместе с большевиками.

Расширяя свою базу за счет конкурентов, американский капитализм навязывает последним и свои методы подавления рабочего движения. Он прививает им свою «карликовую культуру».

Однако нужна крайняя степень оппортунистической слепоты, чтобы принимать этот «организованный капитализм» за чистую монету, наделяя его чудесной способностью преодоления всех внутренних противоречий. Пролетарской революции самоновейший капитализм противопоставляет «трестированную» государственную рабочую политику. Но она не притупляет классовой борьбы, наоборот, она расширяет и углубляет ее. И наиболее гнилые углы мирового капитализма, — вроде английского капитализма, — лучше всего обнажают непримиримое противоречие между попытками индустриального мифа и ростом классовых противоречий, подхлестываемых неравномерностью развития капитализма.

Мы перелистали лишь несколько глав исторического прошлого американского капитализма, того прошлого, когда он еще ходил замарашкой и не мечтал о мировом господстве, лишь постепенно расправляя свои щупальцы. Но уже в этом прошлом мы находим в зародыше все отличительные черты новейшего рабовладельческого империализма.

---

[1] «History...», volume II. S. Perlman, pp. 519 520.

[2] R. Hilferding—Die Gesellschaft. № 1, 1-er Jahrgang.

ЗА РУБЕЖОМ

Поездка в Аравию

Г. Гастов

IV

В столице Иемена

— Вставайте скорей — солнце встало.

Такими словами будят нас аскеры, неустанно постукивая в дверь нашей комнаты. Мы не прочь полежать еще — дорога дает себя чувствовать, но не тут-то было.

— Вставай скорей — имам будет недоволен.

Мы знаем, что дело не в имаме и не в его недовольстве. Еще вчера, третьего дня, когда мы торопились, стремясь выгадать день, и понукали мулов, те же аскеры пытались приудержать наше рвение тем же доводом.

— Нельзя спешить. Мулам трудно — имам будет недоволен.

Их расчет понятен: раньше им хотелось итти помедленнее, не утомляясь и получая хорошую пищу от «знатных иностранцев». Сегодня — так или иначе — день прибытия: они хотят притти в столицу пораньше, чтобы успеть пообедать, отдохнуть до вечера. И вот «имам» — опять довод, на этот раз для спешки.

Мы вспоминаем, что на имама ссылались все чиновники, все погонщики и торговцы втечение нашего пути. Кроме имама единственным аргументом для оправдания чего бы то ни было служил бог, который также безропотно, и с еще меньшим основанием, нес на себе всю ответственность за всевозможные проявления волокиты. И когда впоследствии в Санаа, пререкаясь с телеграфистами, подчас упрямо задерживавшими нашу телеграфную переписку со ссылкой на «бога» и на происшедшую по его вине порчу линии, мы в наивном нетерпении пытались выяснить, когда же сваленные бурей столбы будут восстановлены, то получали все тот же неотразимый по своей исчерпывающей простоте ответ:

— Когда этого бог захочет.

Слово «бог» в Аравии — это как бы алгебраическая формула, обозначающая собой все неведомое, неизвестное; «иншалла» — одно из самых ходких арабских выражений — более или менее точно обозначает: «Если будет богу угодно». По существу же выражение это пристегивается почти к каждой сентенции, подчеркивая невозможность точного прогноза в обстановке стихийной первобытности. Оно соответствует и русскому «авось» и «как бог даст». Будучи пристегнуто почти ко всякой фразе, относящейся к будущему, оно лишает ее малейших признаков категоричности, набрасывая на все условный, скептический налет.

— Когда мы приедем в Санаа? — нетерпеливо спрашиваем мы у своих проводников.

— Через три часа — иншалла! — говорят они, и это последнее словечко лишает всю фразу малейшей убедительности.

Итак, иншалла, сегодня мы приедем в Санаа. Жадно глотая прохладный чистый воздух, мы всматриваемся в последнюю горную цепь, отделяющую нас от Санааской долины. Воздух мерно колышется вдали, ровно зеленеют всходы маиса и пшеницы, еще нетронутой, отклонившейся куда-то в сторону саранчей.

По сторонам видны замки с приклеенными к ним глинобитными домами, окруженные массивной каменной стеной с единственными, на ночь затворяющимися воротами. Дорога идет по равнине, порой ныряя под уклон и вновь выползая на высокое плоскогорье. Проезжаем огромный — с царь-колокол величиной — камень с отверствием вроде двери, внутри выдолбленный, непроницаемое убежище не только от дождя и ветра, но и от грома, молнии, пуль и ядер. С каких времен он здесь — никому неизвестно, как неизвестны, впрочем, и дата возникновения Санаа и время постройки всех замков и башен, которые мелькнули перед нами по пути. Расспрашивать бесполезно — ответ один: лишь богу это известно. Мимо нас мелькают непонятные, полные глубоких исторических тайн здания, селения, сооружения, предметы, и мы, жадно вглядываясь в них, на все вопросы получаем один короткий ответ:

— Не знаем... об этом знает бог...

Спрашиваем о другом. О крестьянской жизни, о том, когда было лучше: прежде, при турках, или теперь...

Уверяют, что лучше стало теперь. Раньше вся «власть на местах» принадлежала шейхам. Шейх сдавал крестьянам землю, получая арендную плату ввиде половины собранного урожая. Он же собирал с крестьянина «ушр», т. е. на словах десятую (на деле бо̀льшую) долю дохода и, удержав ее у себя, выплачивал небольшую часть ее стоимости турецкой казне. Крестьяне были в полном подчинении и экономической кабале у шейхов.

Теперь власть шейхов на местах ослабевает. Появились чиновники имама, присланные из столицы, они собирают «ушр», сдавая его непосредственно в казну, и произвол при исчислении сбора тем самым уменьшился. «Ушр» уже не сдается на откуп шейхам и мультезимам (сборщикам). Шейхи недовольны, недовольны они еще и тем, что воинскую повинность крестьяне стали также отбывать прямо в войсках имама, минуя шейхов. В селах появились школы, сократилось влияние духовенства. Все эти проблески улучшения невелики, но один факт ослабления власти шейхов на местах и подчинение их центральной власти ободряет население, которое видит в центральном правительстве, в лице имама, кое-какую гарантию от прежде ничем необузданного произвола.

Дальше однако выясняется, что налоги распределены неравномерно: в то время как крестьяне платят по меньшей мере $^1/_{10}$ урожая, домовладельцы в городах отделываются взносом в казну $2^1/_2\%$ арендной платы, получаемой ими за свои дома. Больно ущемляет крестьян отсутствие кредита: о банках и речи нет, за кредитом нужно обращаться к шейху, но он обычно дает взаймы лишь купцу, ханжески отказываясь от процентов (коран запрещает — оттого и банков нет), зато требуя долю той прибыли, которую купец выручит впоследствии благодаря займу. Доля эта достигает $^1/_3$ прибыли купца. И совесть спокойна — Коран не нарушен, пророк не обманут, и капитал приумножен.

Что до крестьян — то им шейх дает иногда ссуду для обработки снятой у него же земли, получая впоследствии эту ссуду с лихвой обратно натурой вместе с половиной сбора, причитающейся за аренду.

Купцы не платят налогов; освобождены от налогов и владельцы транспорта, так как из скота обложены ушром коровы, овцы и пр., но вьючный скот — верблюды, мулы, ослы — не обложены, что в первую очередь выгодно опять-таки купцам, удешевляя перевозку грузов из портов в глубь страны и обратно. Таким образом получается своеобразная социальная лестница, наверху которой находятся шейхи-помещики, обладающие реальной политической властью и возможностью эксплоатировать крестьянство и отчасти прижимать купцов, хотя последние в свою очередь имеют на шейхов сильное орудие воздействия, будучи скупщиками кофе, зерна и других продуктов, которые шейх сам к морю не везет, а продает через посредство купца. Купец платит мало налогов и не стеснен в праве свободной наживы за счет, в первую очередь, того же крестьянства, у которого он за бесценок скупает кофе и ввозит ему с накидкой 50—100% заграничные товары.

Наконец крестьянин вынужден работать на всех: на казну, платя ей ушр и отбывая воинскую повинность; на шейха-помещика, которому платит испольщину и для которого выполняет ряд работ в стиле «барщины»; и на купца, которому дает возможность наживы на товарообмене. Каждая из этих трех основных групп населения делится, конечно, на ряд различных прослоек.

... Едем три, четыре часа... А Санаа не видно, дорога ничем не отражает на себе близости столицы. Разве что немного чаще стали мелькать маленькие навьюченные ослики, раза два встретились по-столичному разряженные в шелковые халаты шейхи на кровных, подлинно «арабских» конях...

Дорога стала каменистой, исчезла зелень, лишь утесы да огромные усыпанные камнями пространства кругом. Мулы мерным шагом поднимаются по отлогому под'ему. Вправо возвышается высокий каменистый пик. Мы поднимаемся на перевал и вот —

... Долина, необ'ятная, зеленая, колыхающейся воздушной вуалью затянутая, расстилается далеко, глубоко внизу под ногами наших мулов. В первый момент, ослепленные, мы не можем рассмотреть детали, мы видим лишь безбрежно-зеленое озеро, посреди которого серебрится белым шатром город, а вдали по разным сторонам разбросаны массивные уступы одиноких, разорванных гор.

Понемногу ослепленный взор начинает различать детали. Посреди зеленой шахматной доски цветущих полей белоснежный комок города выделяется в отчетливо расчлененном виде: шпили мечетей, плоские крыши, несколько массивов высоких домов, возвышающихся в разных концах города. Зубчатой ломаной линией вьется крепостная стена с башнями по углам. Зелеными пятнами, обведенными серовато-белой каймой, разбросаны усадьбы шейхов и небольшими крапинками крестьянские хижины в окрестностях. Вдали от города, в 5—6 верстах по всем радиусам гнездятся каменистые массивы соседних селений. Отдельные зубчатые горы нескладными кусками торчат на зеленой равнине. Далеко на горизонте — на северо- и юго-востоке — эти горы сжимают долину, и она лишь узкими лентами убегает туда — к берегам Индийского океана и в бесплодные пески пустынь Роб-эль-хали. Как будто прямо над городом — на противоположной от нас восточной стороне — нависла огромная гора Джебель-Нугум, на вершине которой гнездятся сторожевые посты.

А со склона горы Джебель-Асвад — близ которой находимся мы — зигзагом спускается вниз шоссированная дорога и, попав на равнину близ небольшого, утопающего в садах поселка — преддверие Санаа,— идет дальше, отмеченная телеграфными столбами, и врывается прямо в ворота еврейского квартала, составляющего западную часть Санаа.

Как медленно шагают невозмутимо-хладнокровные мулы, каким тягуче длинным кажется тот отрезок пути, который — он весь цепочкой лежит перед нами — надо еще преодолеть, чтобы достигнуть Санаа! Мы слезаем с мулов и предоставляем проводнику, не спеша, сводить их по бесконечным зигзагам дороги, а сами кубарем скатываемся к подножью по узкой, крутой, каменистой тропке, доступной лишь для людей и ослов.

Обтрепанный старик в маленькой глиняной землянке у склона встречает нас корзинкой свежего инжира — это первые плоды «счастливого Иемена», о которых так часто и так безрезультатно спрашивали мы по пути, получая в ответ неизменное «мафиш» (нет).

Мулы, запыхиваясь и поводя ушами, недоуменно глядят вслед нашей спешке. Мы не ждем их и доходим до небольшого поселка: 2—3 дома, караван-сарай, обширный водоем и зеленый сад — это форпост Санаа, оторванный кусочек селения АСР, запрятавшегося в стороне за высокой каменной стеной.

Здесь нам приносят кувшин санааской воды, той воды, о которой мечтают жители Тихамы, принимая, как лучший подарок, небольшую бутылочку этого вожделенного для них напитка. Нам дают желтокорые лимоны, которые мы очищаем и едим — такие они сладкие, слаще апельсинов. Нам хотят готовить обед; аскеры наши, не опасаясь уже прогневать имама, тоже не прочь здесь пообедать, они пускаются даже на обман, уверяя, что город, раскинутый перед нами, не Санаа, а лишь ее еврейский квартал, а Санаа за горами. На этот раз мы беспощадны — никаких задержек, никаких обедов. «Имам будет недоволен,— безжалостно бьем мы аскеров их же оружием,—имам будет недоволен, видя, как медленно в'езжаем мы в его столицу. Скорей...»

Недовольные, разочарованные аскеры, рассчитывавшие напоследок плотно пообедать, прежде чем вернуться на скудный гарнизонный паек — ворча трогаются, и мы по кружной дороге, обогнув городскую стену, под'езжаем к Савским воротам (Баб-эс-Саба), центральным воротам Санаа.

Зной в полном разгаре. Облака пыли окутывают дорогу; невозмутимо глядят на нас орлы, стая которых расположилась у ворот, роясь в кучах вывезенных за город отбросов. В Ходейдене—на пристани нас приветствовали белые пеликаны, в Баджиле — летучие мыши ютились у нашего изголовья, а здесь орлы роются в навозных кучах в 10—15 шагах от дороги.

Опять переоценка ценностей: орлы здесь совершенно лишены царственного величия, им не охота парить за облаками, они предпочитают рыться в городском мусоре. Впрочем, что с них спрашивать, если даже земные арабские короли, расставшись с былым великолепием, понемногу переходят на более скромное, но более производительное занятие — административные и хозяйственные хлопоты, вплоть до разбора мелких тяжб и заключения торговых сделок?

Но нам не до философии — тяжелой усталой поступью мулы входят под массивные своды ворот, недоуменно оглядывает нас непредупрежденный часовой, наскоро выслушивая раз'яснения проводников. Мы на площади: в одну сторону тянется длинная улица с мелкими овощными, бакалейными, мясными лавчонками; на ней кишат бедуины, одетые в синие кофты с кинжалами за поясом, мальчишки шныряют с лотками, выкрикивая названия товаров, мулы и ослы, пустые и нагруженные, торопливо пробираются с разных сторон сквозь нестройные людские толпы. Перед нами стена, за которой виднеется четырехэтажное зубчатое здание — дворец имама. Тут же под раскидистым деревом двухэтажный домик — аптека. Купол небольшого водоема и слева здание ввиде стены, ворота которой выводят на другую площадь,— то комендатура Санаа. Над маленькой площадью доминирует до-

зорная башня, примыкающая к наружной стене; прямо вдоль стены королевской резиденции тянется широкая дорога, по которой снуют аскеры, пешие и конные,— она ведет к главному входу в королевский дворец. Эта дорога— этап великого пути от Адена до Мекки, по которой встарь шагали богомольцы.

Прождав некоторое время на площади посреди облепившей нас толпы торговцев, аскеров, верблюжьих проводников и несметного количества мальчишек, мы проезжаем сквозь ворота комендатуры, через широкую площадь — и дальше по узким улицам со сплошными глиняными заборами — к дому, отведенному нам для жилья. Заспанный аскер с неизменным кинжалом за поясом отворяет нам скрипящую калитку и дверь дома и вводит по полутемной лестнице в обширную, устланную коврами комнату; сквозь разноцветные стекла окон мы видим зеленый ковер травы тихого благоухающего сада. Срывая с себя опостылевшую дорожную одежду, облегченные бросаемся на разостланные тут же на коврах матрацы и, глядя в окно, стараемся впитывать в себя первые впечатления «вечной» столицы.

Воздух насыщен летним зноем. Сверкают многоцветные стекла окон во всем многообразии форм (угольники, спирали, параболы, всевозможные геометрические фигуры) всеми цветами радуги, со стены гипнотизирующе глядят витиеватые арабские надписи — цитаты из древних поэтов. В сторы окна видны лапчатые листья кактусов, пирамидки кипарисов и ровные, раскидистые очертания абрикосовых деревьев. Вся местность впереди — сплошной зеленый сад, пересеченный глиняными стенами, отделяющими одно владение от другого. Вдали разбросаны стрелы-мечети и суживающиеся массивы отдельных, окруженных садами трех-четырехэтажных глинобитных домов с плоскими крышами и зарешеченными четыреугольными и другими ввиде амбразур окнами.

Это — загородный квартал, здесь нет ни уличной торговли, ни шума прохожих караванов, сюда не врываются людские и лошадиные голоса с базара. Но отчего-то весь воздух пронизан неумолкающей волной звуков, напоминающих курлыканье стаи индюшек летней порой. Вначале этот неумолчный звон даже не обращает на себя особого внимания — до такой степени сросся он со всей обстановкой. И осознаешь его только в послеобеденные часы, когда он вдруг затихает, с тем, чтобы возобновиться к вечеру.

Эта трель, это курлыканье — основная симфония Санаа, производственный лейтмотив, характеризующий жизнь города. Сразу не уловишь его происхождения. Я начинаю чувствовать, что не птицы издают это курлыканье. Вылезаю на плоскую крышу: вдали вижу горы, вижу стену, со всех сторон окружающую город, на стене — небольшие пушки, поглядывающие вверх в ожидании вражеских аэропланов. Вслед за зелеными садами нашего квартала видна белая масса строений основного арабского города, изредка украшенного шпилями мечетей. Ищу — откуда же это неумолчное курлыканье — и после долгих тщетных поисков вижу: по пологому под'ему меж двух глиняных барьеров поднимается изможденный верблюд, которого за повод тащит босоногий мальчишка в неизменной чалме. Дойдя до вершины массивного глинобитного вала, верблюд поворачивает и спускается прежним путем вниз, туго натягивая канат, перекинутый через поперечное бревно, вращающееся на вершине вала; из глубины колодца показывается кожаный мешок — арабское ведро, которое с шумом выворачивается, выливая воду в пристроенный тут же бассейн. Отсюда по жолобу вода переливается во двор, наполняя кадки, бассейны, каналы для поливки садов и огородов.

Вот он «азиатский способ производства» (не о нем ли толкуют наши востоковеды), вот он тот основной нерв, который пока что движет всю

экономику «счастливой Аравии», вот на чем основано благоденствие «вечного города» Санаа.

В этом неприхотливом, неуклюжем сооружении — целый исторический этап: в Тихаме воду черпают ведрами из вонючих водоемов или, в лучшем случае, женщины вытягивают ведра руками из одиноких колодцев, верблюды кадками развозят ее потребителям. Здесь пущено в ход что-то вроде машины — небольшой блок со скрипучим колесом, глинобитное сооружение, животная тяга, сеть каналов. Эта разница составляет водораздел между дофеодальной Тихамой и феодальной, с зачатками культурного земледелия и промышленности горной полосы...

Под тропиками летний день короток — он почти равен ночи. Седьмой час — и в комнате темнеет. Первый официальный визит — нам докладывают, что пришел «сын имама»; наше недоумение быстро рассеивается, когда мы узнаем, что своего рода титул «валяд эль-имам» (буквально «дитя имама») прилагается ко всем ближайшим сотрудникам короля, в том числе к его слугам и ад'ютантам. Пришедший — один из ад'ютантов короля — по внешнему виду мало чем отличается от обычно просто одетого бедуина офицера-выдвиженца. Узкая бородка, баки, чалма, кинжал, открытый благородный взор (что за ним скрыто — вопрос другой); он приветствует нас от имени короля и спрашивает, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь. Это — довольно стереотипная форма приветствия, на которую нельзя ответить иначе, как из'явлением своего полного удовольствия и благодарностью за прием и внимание. Он об'являет нам, что имам считает нас своими гостями и приставленные к нам слуги состоят в нашем полном распоряжении.

Он уходит. Темно. При свете небольшой керосиновой лампы мы жадно с'едаем приготовленный обед — яичница, зелень, кусочки мяса.

Выхожу еще раз на плоскую крышу. Громады окрестных гор почернели и как будто вплотную надвинулись на город. Скрип колодцев утих, взамен его издали раздаются отрывочные аккорды военной музыки. Муэдзин прокричал последнюю вечернюю молитву на соседней мечети, в окнах домов зажглись кое-где огоньки, а на юге близ горизонта, чуть вбок от горы Джебель-Асвад, с особой отчетливостью вырисовался Южный Крест. Южный воздух сух и прохладен, четкая прозрачная тишина охватывает замерший город. Спускаясь вниз по кривой лестнице, не раз ударяясь лбом о притолки низких дверей и раскрыв наглухо закрытые окна (арабы, как и русские, боятся воздуха и спят взаперти), камнем засыпаю на мягком тюфяке, брошенном среди пыльных персидских ковров.

И снятся смешанные, сбивчивые историко-литературные образы: иностранные купцы — послы Герберштейн и Олеарий, побывавшие в Москве в XVI—XVII веках, янки из Коннектитута — силой фантазии Твэна, попавший в средневековое царство короля Артура, машина времени Уэльса, переносящая людей за сотни и тысячи лет в прошлое и будущее.

Просыпаюсь — солнце ярко слепит глаза, мухи роем безжалостно ползают по лицу, воздух насыщен курлыканьем колодцев и ароматом окрестных садов. Я вспоминаю: я в XX веке, но — на средневековом островке среди стихии капитализма, в стране, которая со своими смешными наивными способами тоже хочет догнать (перегнать она не надеется) далеко ушедшие вперед страны далекого Севера и делает неуклюжие нескладные попытки перемахнуть из царства кричащих ослов и скрипящих колодцев — в мир электромашин, радио и жужжащего авиамотора.

Утром нас навещает «секретарь имама» кади Рагиб.

Входит седой худощавый старик с узкой заостренной бородкой и тонкими пронизывающими глазами. На нем синяя мантия, перехваченная через плечо широкой лентой из зеленого сукна, белая чалма и лакированные

европейские ботинки. Он учтиво низко кланяется, разводя руками и как бы растаивая в приветливой улыбке. К нашему изумлению, он расточает подряд несколько галантных французских фраз. Оказывается, под витиеватой внешностью арабского «лукавого царедворца» скрывается модернизированный турок, достаточно усвоивший тон и манеры великосветских салонов Европы. В его лице мы видим представителя той группы турок, которые, придя в Иемен как завоеватели и колониальные администраторы, настолько освоились и сжились с этой страной, что остались в ней служить новому, национальному режиму, подчинившись тем, кем привыкли повелевать. Свой административный опыт, технические навыки, образованность и знание международных отношений они отдали на службу арабской стране, угнетавшейся ранее режимом султанов, а теперь завладевшей остатками оттоманского наследства.

Рагиб — наиболее выдающийся представитель этой категории. Старый оттоманский служака, занимавший посты в посольствах Петербурга, Парижа и Вены, знакомый со всеми ухищрениями Абдул-Гамидовского режима,— он потом перешел на колониальную службу, занимая губернаторские посты в арабских провинциях (Иемен, Ирак). Мировая война застала его в Иемене на посту губернатора одной из провинций этой страны. Он пробыл в Иемене до конца войны, принимая участие — вместе с турецкими войсками и присоединившимися к ним арабскими партизанами — в борьбе против Англии. Борьба шла успешно. Аден был не раз под угрозой взятия турками. Защита его требовала оттяжки немалого количества английских войск с других фронтов. Турки капитулировали лишь по приказу из Константинополя в связи с общим крахом германо-турецкого фронта. Рагиб уехал в Турцию — там он не успел принять активное участие в национально-освободительном движении кемалистов, и, не сумев приспособиться к новой обстановке, предпочел вернуться в далекий Иемен, как он говорит, для того, чтобы посильно помогать иеменскому народу строить независимое, прогрессивное государство.

Впрочем таков не только он. Несколько десятков турецких офицеров и учителей остались в Иемене, перейдя на службу к имаму. Их усилиями создалась иеменская регулярная армия всех родов оружия (пехота, кавалерия, артиллерия, обозы, пулеметные части) из разрозненных, недисциплинированных партизанских отрядов. Силами турецких преподавателей функционирует военная школа, основанная при турецком режиме, но теперь готовящая смену из арабской молодежи, пополняющей ряды офицерского состава молодой иеменской армии.

Таковы те людские остатки оттоманского наследства, которыми сумели воспользоваться строители новой иеменской государственности. Наряду с ними остались и другие брюзжащие, недовольные, мечтающие о невозвратном прошлом, это — турецкие купцы, домовладельцы, лишившиеся своих былых привилегий, потерявшие часть имущества и затираемые вырастающей арабской буржуазией. Эти немногочисленные живые обломки Оттоманской империи группируются вокруг небольшой кофейной, затерявшейся в обширном базарном квартале Санаа. Там с утра до вечера, сидя на старых, расшатанных диванах они потягивают наргиле, запивая его маленькими чашечками турецкого кофе, поигрывают в нарды (игра вроде шашек, но при участии костей с очками) и вздыхают, поглядывая на висящий на стене портрет султана Махмуда.

Но это пришлось узнать позже. А пока — я слушал медоточиво-любезную речь Рагиба, который, передавая приветствия от имама, увлекся воспоминаниями о своем пребывании в Петербурге, перебирая имена царских министров и описывая балы и приемы Зимнего дворца. Он считал нелишним высказать свое восхищение перед страной, откуда мы прибыли,

как будто не замечая, что восхищение былой роскошью Петербурга не встречает сочувственного резонанса на лицах собеседников. Мы спешим разочаровать его: Россия не та, старого Петербурга нет и в помине, былой роскоши России тоже нет, как нет создавшейся ею нищеты народных масс, есть трудовая стройка, есть Ленинград, Днепрострой и дом отдыха для крестьян в Ливадии.

Мы говорим это не для того, чтобы сагитировать его в пользу советской власти. Это в данном контексте и бесполезно и ненужно. Но со всей отчетливостью мы с первых же слов хотим внести ясность в наши отношения и со всей необходимой вежливостью даем ему понять, что комплименты по адресу старой России нам не нужны и на свой счет мы их не принимаем.

Это удается не сразу. Понадобилась неоднократная фигура повторения с нашей стороны, чтобы Рагиб понял, что перед ним люди другой страны, далеко не похожей на памятный ему блестящий Петербург с его дворцами, балами, цыганами, «Медведем», лихачами, икрой и балыками. Вместо того, чтобы таять от удовольствия при его комплиментах, мы любезно отвечаем, что теперь этого нет и не будет.

Мы видим: Рагиб проверяет результаты своего зондажа. Маневр его, повидимому, состоял в том, чтобы выявить, кто же мы, собственно: прежние ли русские, которые сохранили под новым ярлыком «истинно-русские» традиции и, следовательно, явились на Восток с теми же империалистическими аспирациями, что и прежние царские консулы, или мы чем-то отличаемся от них.

Позже мы узнали, что одним из основных аргументов наших противников в Иемене (да только ли в Иемене) были ссылки на то, что-де большевики приходят с теми же корыстно захватническими целями, что и прежние русские; «восторги» Рагиба имели целью косвенно выявить нашу психику и дать соответствующее заключение руководителям Иемена, а через них,— в той или иной степени, остальным слоям населения страны.

Другой прием — не менее характерный: желая выявить степень нашей искренности, проверить, не маскируемся ли мы, не подделываемся ли под арабский вкус,— Рагиб ставит нам вопрос — как относимся мы к религии, к Христу, к Магомету.

Вопрос — опасный вдвойне: рискуешь или выявить себя наивным пропагандистом-безбожником, либо лицемером, хамелеоном. Даем ответ в сдержанно корректных формах: мы в бога не верим, считаем, что понятие «бог» служит людям лишь для об'яснения всего непонятного. Кроме того религия в иных случаях необходима правительствам для воздействия на народные массы. Чем народ культурнее, тем более суживается значение религии. Христос, если только он существовал в действительности, был несомненно видным политическим деятелем, оставившим глубокий след в истории человечества, но по природе своей он, разумеется, ничем не отличался от других людей. В чудеса его мы не верим. Приблизительно то же думаем мы о Магомете.

Позже мы узнали, что наш ответ попал в цель. Не изменив своего лица, мы опровергли подозрение в лицемерии; ограничившись краткой четкой формулой, мы подчеркнули свое воздержание от «пропаганды» и не дали оружия в руки наших противников, ловивших, как мы узнали впоследствии, каждый наш шаг, каждое слово с целью использовать его против нас.

Здесь нелишне отметить то исключительное недоверие, с которым встречаются иностранцы в странах Востока. Наученные многолетним горьким опытом народы Востока заранее подозревают всякого приезжающего к ним иностранца в каких-либо корыстных умыслах по отношению к их

стране. И это недоверие не испаряется, а растет как снежный ком, если иностранец начинает с места в карьер твердить о своем бескорыстии; и оно, это недоверие, превращается в острую враждебность, едва только лицо, твердившее о своей бескорыстности, будет изобличено в проявлении тех или иных хотя бы вполне законных аппетитов по отношению к материальным ценностям страны.

По турецкой поговорке, раз обжегшись на горячем молоке, Восток начинает дуть на югурт (кислое молоко), авансом расценивая каждого иностранца с поправкой на жулика.

Как иллюстрацию фальшивых методов, дающих обратные результаты, можно привести следующий пример. В Санаа приехал весьма видный американец с именем международного калибра. Для приобретения популярности он пустил в ход следующий прием. Заявляет восточному собеседнику, что должен сообщить ему величайший секрет, зазывает его в свою комнату, тщательно закрывает окна и двери, будто проверяя, не подслушивают ли, и затем торжественно вытаскивает из внутреннего кармана коран и, показывая его недоумевающему собеседнику, патетически изрекает:

«Эту книгу я ношу всегда при себе. Я — в душе мусульманин, но никто не подозревает об этом. Вам одному доверяю я эту тайну...»

Не приходится говорить, что подобный прием вызвал к американцу чувство брезгливости и презрения, сразу создав вокруг него аромат фальши. Не поняв этого, американец пустил в ход новый трюк. На аудиенции у короля он заявил:

«...Ваше величество, всем восточным владыкам я даю один совет, за который они впоследствии благодарят меня. Разрешите дать его и вам...»

Получив разрешение, он проникновенно и таинственно произносит:

«Ваше величество, никогда не доверяйте иностранцам, не давайте им никаких концессий и прав в вашей стране...»

Недоверчивое недоумение, с которым был встречен подобный «совет», сменилось у короля и его приближенных чувством острого презрения, когда несколько дней спустя этот же американец запросил у иеменского правительства небезвыгодную концессию на разработку соляных копей. С тех пор о нем в Иемене вспоминают не иначе, как с презрительной усмешкой.

О том, как внимательно следили наши враги и недруги за каждым нашим шагом и как придирчиво учитывали каждый наш поворот, можно увидеть из следующего инцидента.

В предвечерние часы, когда пустующие дворы, сады и дома оживали и в них начинали учащенно мелькать силуэты вернувшихся с работы или со службы людей, мы любили на время проникать в эти дворы, переносясь туда силой цейсовских стекол. Иногда из далеких садов мы замечали приветливый кивок тронутых нашим вниманием горожан, но иногда...

...Однажды под вечер (я забегаю далеко вперед) к нам пришел взволнованный Рагиб и на правах старого друга сообщил об опасности, которая угрожала одному из наших, не в меру увлекшихся этим занятием, товарищей. Старый арабский офицер, возмущенный тем, что глаз иностранца проникает в его двор и рассматривает его жен и домочадцев, призвав гнев аллаха на голову неверных, побежал в дом за винтовкой, намереваясь метким выстрелом угодить прямо в коварное стеклышко Цейса; к счастью, пока он бегал за винтовкой, наш товарищ успел закончить свое «вечернее обозрение» и уйти с крыши. Драмы удалось избегнуть, но в дальнейшем нам рекомендовалось быть осторожнее, так как на этом «инциденте» консервативные элементы Иемена хотели дать бой правительству и убедить его в необходимости нашего изгнания из страны.

Приведем еще одну иллюстрацию тех подводных мин, которые подбрасывали нам наши противники, стремясь изобличить в глазах имама нашу злокозненность.

Мы были в Иемене в памятную пору, когда твердолобые из Адена прилагали все усилия, чтобы взорвать строящееся здание молодой иеменской государственности. Все было пущено в ход, подкуп государственных деятелей и племенных вождей, организация внутренних восстаний (Зараники, Хашиды), искусная пропаганда и сеяние ложных слухов по всей стране — и, как венец этой политики, ежедневные аэропланные налеты с обстрелом беззащитных селений и городов. И вот, в эту пору некий санааский купец, ведший с нами переговоры о какой-то сделке, явившись к одному из наших товарищей, уезжавшему обратно в Ходейду, попросил его передать письмо, адресованное в Ходейду одному из тамошних довольно видных чиновников.

Так как личность купца не внушала нам по ряду причин особого доверия, то, узнав об этом, мы пожурили товарища за неосмотрительное согласие и, да простит нам почтенный купец, вскрыли письмо. Оно оказалось написанным на небольшом листке бумаги, разграфленном надвое. На одной стороне шел перечень всевозможных сведений о положении на фронтах, в столице и во всей стране. Частично эти сведения соответствовали действительности, хотя и носили явно недоброжелательный для Иемена характер, сообщая о налетах англичан на ряд городов, о восстании хашидов, о бегстве из Санаа зажиточного населения и т. д. Частично же они были явно вымышлены и составлены в специфически-паникерских тонах: так, сообщалось о бомбардировке английскими аэропланами Санаа (куда до сих пор враг не долетал), о разрушении дворца имама (он был целехонек), о начавшемся наступлении английских войск и т. д. Лист был разграфлен таким образом, что против сведений более или менее правдоподобного характера стояла пометка «цены на сахар (или на муку, кофе и пр.) понижаются», против же сведений явно вздорных стояло: «цены (на что-нибудь) повышаются». Так была налажена передача панических слухов, циркулировавших по всей стране и ставивших целью подорвать авторитет имама, вызвать против него восстание, путем которого у власти могли бы стать слои более приемлемые с точки зрения аденских авантюристов.

Было ясно, что иеменские англофилы стремились использовать нас как передатчиков ложных слухов и тем самым втянуть нас в свою игру. Это было бы еще полбеды, но вся обстановка, в которой проделывалась эта затея по ряду соображений, о которых здесь распространяться не место, заставляла подозревать, что интриганы помимо этого намеревались в дальнейшем изобличить нас в глазах правительства, осведомив его тем или иным способом о факте передачи именно нами провокационного «письма». Перед нами встала задача, как выпутаться из положения, в которое мы попали. Ясно, что о передаче письма по назначению не могло быть и речи. Самым простым выходом было, конечно, передать письмо в руки властей и тем самым подчеркнуть свою «лойяльность». Но это значило бы обмануть доверие давшего нам письмо лица (хотя бы оно и сделало это с провокационными целями), а обман доверия на Востоке не прощается даже теми — в пользу кого это доверие обмануто. Мы решили честно остаться на позиции невмешательства в сложный переплет иеменских внутренних отношений и после от'езда товарища, вернули купцу обратно его письмо, извинившись за недоставку «по независящим от нас причинам».

Но мы забегаем вперед. Все перечисленные факты имели место впоследствии. А пока кади Рагиб ,вдоволь поинтервьюировав нас, удалился, обещав, что имам примет нас немедленно после приезда из своей летней резиденции

Вади д'Ахр — небольшое дачное селение (Санааский Петергоф, говорили мы) — в 10—12 км. от столицы.

Через несколько дней мы — в сопровождении Рагиба — имели первую аудиенцию у имама.

Дворец имама — его личное жилье и канцелярия — находится в помещении бывшего турецкого вали и ничего специфически йеменского в нем нет. Вся резиденция помещается за четырехугольником массивных глинобитных стен с дозорными башнями по углам. Вход — через решетчатые разукрашенные витиеватыми надписями ворота. Нас приветствует взвод аскеров, выстроившись в виде шеренги. Поднявшись в сопровождении Рагиба по наружной лестнице, мы проходим через длинный коридор в большую, убранную коврами комнату в полуевропейском стиле с креслами и столом. Мы садимся и ведем беседу с Рагибом. Через несколько минут входит имам. Мы приподнимаемся и по-европейски здороваемся, затем все садимся.

Это весьма зрело обдуманный стиль приема. Дело в том, что имаму неудобно вставать перед «неверными», но ему не хочется и выглядеть азиатом, встречая своих гостей сидя. Поэтому выработан этикет, не задевающий достоинства ни той, ни другой стороны.

В халате и накидках, опоясанный саблей, с четками в руках, имим Яхья напоминает царя — первосвященника библейских времен. Резкими нервными поворотами он усаживается в кресло и, перебирая четки, осыпает нас вопросами.

Он в том возрасте, когда человека еще не вполне можно назвать стариком. Он подвижен, восприимчив, внимателен, активен в разговоре. Неустанно втечение 30—40 минут он расспрашивает нас обо всем, и о том, как мы себя чувствуем, как доехали, и о всех международных проблемах. Что делается в Германии? Окрепла ли она после войны? Каково положение теперешнего правительства в Англии? Каковы отношения Советского Союза с Турцией, Персией, Афганистаном и с другими странами Востока и Запада? Смогут ли Индия и Египет добиться независимости? Каково положение в Китае? Кто победит — северяне или южане?

Вопросы следуют один за другим. Кади Рагиб, стоя в почтительной позе, слегка согнувшись, не без труда справляется с нелегкой для него — турка — задачей переводить слова имама на французский язык, а наши ответы на арабский. Это нелегко тем более, что имам задает вопросы не для того, чтобы удовлетвориться общим бессодержательным ответом, он неоднократно переспрашивает, уточняет свою мысль. Наши ответы выслушивает с напряженным вниманием, тут же налету продумывая их и переключая порождаемое ими настроение в нервные быстрые подергивания четок. Временами он быстро нервно смеется, как бы стремясь смехом дополнить то, чего не хочет сказать словами. Слегка тучная фигура его в эти моменты вздрагивает, глаза попеременно перебегают с одного собеседника на другого.

Я смотрю на энергичное, хотя слегка одутловатое лицо имама с окладистой бородой и припухлостью щек, и поражаюсь тому, что человек, проведший всю жизнь в горах и пустынях Иемена, ни разу не побывавший не только за границей, но даже в Тихаме, человек, ни разу в жизни не видевший моря, льда, парохода и железной дороги, оказывается до такой степени ориентированным в сложнейших проблемах международной политики, что я начинаю временами чувствовать себя в положении вузовца, сдающего экзамен по политграмоте. Припоминаю то, что слышал об его жизни. Многолетнее скитание по пустыням и ущельям Иемена, суровая боевая жизнь вождя и организатора партизанского анти-турецкого движения, приведшего к окончательному успеху лишь за 2—3 года перед мировой войной, когда турки признали религиозные прерогативы имама в Иемене и дали ему

возможность сесть и закрепиться в Санаа; лишь с 1912 г. установилась в Иемене своеобразная переходная форма двоевластия — в лице имама с его шейхами и партизанскими отрядами бедуин, с одной стороны, и султанского вали (наместника) с турецкой жандармерией и войсками — с другой. Это был своеобразный переходный период — обе стороны готовились к продолжению борьбы: турки проводили шоссейные дороги и строили крепости, а имам вел агитационную работу среди племен, сплачивая их вокруг себя, исподволь создавая армию. Мировая война изменила ход событий, поставив обе стороны перед лицом общего врага — Англии, которая с 1830 г., завладев иеменским Аденом считалась исконным врагом Иемена; в борьбе против Англии иеменцы до такой степени сблизились с турками, что оставались из всех арабских государств наиболее лойяльными по отношению к Оттоманскому государству и лишь после Лозаннского мира сняли у себя турецкий флаг.

После конца мировой войны фактически, а после Лозанны и формально, иеменцы остались один на один против Англии, с которой пришлось и приходится вести длительную, упорную борьбу. В этой борьбе враг испробовал все методы для взрыва молодой иеменской государственности, начиная от оккупации Ходейды и дальше ввиде организации внутренних восстаний, натравливания на Иемен соседних с ним государств (Геджас, Ассир), экономической блокады, подкупов, шпионажа — и летом 1928 г. — открытых аэро-обстрелов. В этой борьбе от имама и его соратников требовались не только личная отвага и боевые организационные качества. Этого было достаточно, чтобы во главе повстанческих партизанских масс бить дезорганизованные турецкие отряды, находившиеся под руководством тупых, невежественных султанских пашей, но для борьбы с Англией, умевшей бить и дубьем, и рублем, и агитацией, этих качеств оказалось недостаточно. И вот люди, никогда не видавшие моря и почерпнувшие чуть не все свое образование со страниц корана и других религиозных книг, начали спешно перевооружаться. Используя людские и материальные остатки турецкого наследства, они завершили начатую во время войны организацию регулярной армии, принялись создавать промышленность, строить дороги и даже приобрели аэропланы.

Иностранные газеты, в первую очередь египетские, стали основным пособием для изучения мировой политики. Появилось сознание необходимости привлечения европейской техники, установления торговых отношений со странами Запада — и даже страшно сказать в обстановке арабского фанатизма,— сознание необходимости установления формальных связей с другими странами. Турки, итальянцы, немцы были в той или иной степени привлечены к делу строительства страны, в столицу стали приезжать иностранцы, беседы с которыми стали также служить способом изучения загадочных дотоле международных проблем. И вот результат: потомок пророка, глава старейшей в мире династии, в понятии своих почитателей — духовный глава всех мусульман — дошел до сознания пользы и необходимости, с точки зрения интересов своего народа, встречи, беседы, и в дальнейшем установления договорных отношений с представителями первой в мире социалистической страны, находящейся по другую сторону земного полушария.

Аудиенция после 1½-часовой беседы подходит к концу. Имам уполномачивает кади Рагиба разрешать с нами все деловые вопросы. Кади Рагиб — один из ближайших советников имама, он играет роль министра иностранных дел, но формально министров в Иемене нет, есть секретари, они носят титул «кади» и ведают известными секторами государственной работы; есть подчиненные им заведующие департаментами, есть амили (начальники округов), но все они скромно величают себя «рабами» имама, всех он называет на «ты», и формально, да в значительной мере и фактически, он с ними не

считается. Имам — больше чем любой европейский монах средневековья может сказать о себе: «государство — это я»; в его руках армия, государственный аппарат, казна и неисчислимое личное имущество ввиде запасов золота и сокровищ, унаследованных от предков. Ему принадлежат лучшие земли в стране, лучшие дома и сады в столице и близ нее, в его закрома стекается лучшая часть кофейного урожая; в его руках — зачатки модернизованной индустрии Санаа: электростанция, типография, оружейный завод, хлопкоочистительная машина и мельница, управляемые нефтяным двигателем. Его личный интерес почти неотделим от государственного, до такой степени тесно связаны понятия имущества казенного и личного, королевского. Вот почему имама интересует все: и смена кабинета в Англии, и смена мула для путников из Ходейды. Он в полном смысле слова и царствует и управляет. Все йеменцы его «слуги» и «рабы», начиная от настоящих рабов, в самом точном смысле слова, вплоть до министров — точнее секретарей. На первый взгляд он может показаться монархом неограниченным, абсолютным.

. Но... я уже упоминал, что ему не удалось отказаться от жвачки ката, он вынужден был запретить своим сыновьям ходить на радиостанцию слушать европейские концерты, ибо приобщение сыновей духовного главы к музыке неверных, да еще передаваемой женскими голосами — было сочтено недопустимым со стороны «общественного мнения», олицетворенного кучкой влиятельных шейхов из категории так называемых сеидов, т. е. потомков пророка. Эти шейхи, подразделяющиеся на несколько прослоек и связанные множеством кровных, имущественных и религиозных нитей со всей помещичье-купеческой знатью Иемена, неусыпно следят за тем, чтобы абсолютный монарх — имам — творил их волю, ограждая их интересы, которые считаются тождественными интересам страны и религии. Самый незначительный реформаторский почин, на который отваживается имам, встречает с их стороны ожесточенное сопротивление и с большим трудом имаму и окружающей его группе своеобразно прогрессивных сановников при поддержке армии и вырастающей торговой буржуазии удается вводить те или иные новшества. Такие начинания, как применение автомобилей и мотоциклов, разрешение практики иностранным врачам (первыми были итальянцы), отправка учащихся за границу (в Италию для обучения авиации) — все это встречало упорное сопротивление шейхов и преодолевалось лишь после долгого и искусного маневрирования. Что же касается таких актов, как заключение договоров с иностранными державами (Италия, впоследствии СССР), или обсуждение вопросов о войне и мире, то здесь всякому решению предшествовал длинный ряд совещаний, с'ездов, закулисных переговоров имама с шейхами и т. д. В общем небольшая кучка главарей секты Зейди (мусульманская секта персидского происхождения, занимающая промежуточное положение между суннитами и шиитами) является своеобразным центральным руководством этой секты, которую можно сравнить с правящей партией Иемена. В этой постановке имам является не более как председателем этой «партии», и формально должен быть избираем путем какой-то сложной процедуры. Получается какое-то сочетание наследственного и выборного принципов, смесь самодержавия с примитивным (и притом реакционным) конституционализмом шейхов.

Впрочем одного-двухмесячного пребывания в столице Иемена недостаточно, чтобы отчетливо уяснить себе все тонкости не такой уж простой государственной механики и все ухищрения правительственного аппарата, вынужденного преодолевать интриги мощного внешнего врага, сопротивление консервативных элементов внутри страны и разрешать сложные и неизмеримо трудные задачи реформирования страны, продираясь сквозь чащу сложнейшего сплетения классовых, племенных и религиозных конфликтов.

Еще труднее дать точную характеристику имама, не под силу разобраться —какие его поступки вытекают из его личной психологии и по его собственной инициативе и какие он вынужден совершать под давлением обстоятельств или шейхов. Можно лишь вкратце отвергнуть распространенное о нем иностранными журналистами представление, как об особо реакционном, скупом и деспотическом, по сравнению с другими арабскими королями, деятелем. Эти представления создаются в результате упорной, хотя и не всегда ярко выявленной, борьбы, которую имам ведет против попыток империалистического проникновения в Иемен и в результате естественной подозрительности, которую он питает к иностранцам и их товарам, убедившись по опыту с итальянцами, что его на каждом шагу готовы надуть, сплавить дрянь за бешенные деньги. Так, из четырех присланных итальянцами аэропланов, некоторое время полетал лишь один, остальные даже не удалось пустить в ход. Присылалось старое негодное оружие, за баснословную цену продавались старые негодные автомобили и т. д. Слово «итальянский товар» стало в Иемене обозначением всякой дряни, а поскольку слово «итальянец» (как когда-то у нас немец) стало синонимом слова «иностранец», ко всякому импорту из-за границы появилось опасливо-предупредительное отношение, что и нашло свое выражение в пресловутой «скупости» имама (переплатившего огромные суммы за негодные поставки) и в сугубой осторожности, с какой он производит уплату, ставя предварительным условием, чтобы привезенная машина была на его глазах пущена в ход.

Из ближайших помощников имама следует отметить так наз. «великого визиря» — кади Абдалла. Если кади Рагиб является типичным представителем пришлых мусульманских элементов, готовых посильно помогать Иемену в деле осуществления его национальных задач, но по существу культурно превосходящих средний уровень этой страны и потому несколько оторванных от массы и не имеющих в ней достаточно прочных корней,— то в лице кади Абдалла (его мы навестили позже) представлена прогрессивная часть коренной, почвенной иеменской верхушки. Иеменец до мозга костей, тоже никогда не видавший моря, Абдалла обзавелся кое-каким опытом от тех же турок, на службе которых состоял во время оккупации ими Иемена. Молодой (около 35 лет), напоминающий по внешности Бориса Годунова, с окладистой черной бородой, баками, умными, выразительными глазами, он воплощает в себе организаторскую силу Иемена, будучи с утра до вечера занят инспекцией деятельности государственных органов, наблюдением за правильной работой заводика и других зачатков индустрии, за снабжением армии и ее обучением. Как и имам, и Рагиб — он работает с 7—8 часов утра до полудня, затем следуют часы ката, после которых вечером работа возобновляется, продолжаясь иногда до поздней ночи. Будучи мало образован, веря, что Санаа основана сыном Ноя Симом,— он в то же время является горячим поборником идеи индустриализации, мечтая о создании текстильной промышленности на базе прекрасного иеменского хлопка и, как уверяют, значительных запасов угля.

Замкнутый образ жизни в Санаа лишил нас возможности глубокого ознакомления с жизнью страны, ее народных масс и с ее политическими деятелями. К тому же пора была тревожная — в ожидании аэроналетов город опустел, вся мало-мальски зажиточная часть населения выехала в горные селения, ряд учреждений, школы перестали функционировать, торговля сократилась, опустел базар, людские силуэты не появлялись на плоских, зубчатыми стенами обведенных крышах и не зажигались огоньки по вечерам в решетчатых очертаниях окон. Город притих и только беспрерывным потоком вливавшиеся толпы солдат создавали видимость оживления, да пробная ночная тревога, неожиданные маневры по ночам оживляли увядшую жизнь «вечного» города.

Но даже с'ежившись и притаившись, город в сокращенных размерах жил той же жизнью, что и в обычные дни, когда миновала угроза налета. А обычный ход этой жизни, ее симфония, монотонно повторялся изо дня в день, причем лишь пышные войсковые парады — селямлыки — войск имама по пятницам нарушали ее однообразие.

Когда закатывается за силуэты гор Южный Крест и начинают тухнуть звезды — крик загородных пастухов здесь, как и в русской деревне, раньше всех возвещает о приближении дня. С горы Джебель-Нугумгум раздается протяжный окрик часового и военный рожок трубит что-то вроде зари. На тонкой каемке минарета, на верхушке стрелюобразной мечети, испещренной всевозможными сочетаниями разноцветных прямых и ломанных линий — показывается чернеющей точкой фигура муэдзина, и протяжный надрывный голос, провозглашая величие Аллаха, призывает вставать на молитву.

В амбразурах и за оконными решетками домов начинается движение, распахиваются двери и сереющие силуэты появляются во дворах. Заспанные женщины начинают запаливать очаги и варить кофейную настойку. Начинает доноситься протяжный рев верблюдов и ослов, растворяются калитки дворов, а на всех концах города раздвигаются массивные половинки городских ворот.

На земле еще тень, но солнце, не вырвавшееся из-за горной завесы, уже освещает своими лучами небесный купол. На скатах колодцев показываются очертания изможденных верблюдов, мулов и горбатых быков, натягиваются канаты, и скрипы вращающихся перекладин, разрастаясь во всепоглощающую звуковую волну, заливают город неумолчным курлыканьем. На обширном, захватившем чуть не половину города базаре раскрываются прилавки, появляются лотошники, продавцы зелени и фруктов, из ворот караван-сараев выходят вереницы суетливых осликов, спокойных мулов и тупо-невозмутимых верблюдов; шумящие толпы разнородных путников со всех концов пробираются к различным городским воротам, откуда караваны разбредаются дальше вглубь страны. Мясники выгоняют за ворота стадо баранов и тут же на поляне начинают их резать, обдирая вслед за тем подвешенные на треножнике туши. Базар начинает жить; лавки, кофейни, мастерские, харчевни, улицы, проулки, тупики — все захлестывается людским потоком, закипает нестройным хором голосов, мычаньем и блеянием животных, стучат молотки и швейные машины, визжат пилы, сверла в приземистых темных мастерских. Ремесленники принимаются шлифовать и серебрить грациозные курильницы кальяна, наводят позолоту и узор на ножи кинжалов, оттачивают их клинки. Под сырыми темными входами высоких строений верблюд с завязанными глазами начинает вращать жернов, выжимающий масло из семян, а в ткацких мастерских подросток начинает перебирать немногочисленные струны убогого станка. Из-за стен военного городка появляется дымок оружейного заводика, немецкий летчик-инструктор под'езжает на муле к отдаленному загородному аэродрому и, осматривая мотор, начинает распекать подведомственных ему учеников-арабов за лень, невнимательность и кражу бензина. На окрестном поле и городских площадях появляются марширующие части аскеров, выкатываются батареи орудий и всадники гарцуют вдоль городской стены.

Около дворца имама, у дверей дома кади Абдалла и других учреждений появляются кучки визитеров и челобитников, приезжающих порой из самых отдаленных уголков страны. Жизнь бьет ключом, невзирая на палящий солнечный диск и мутные волны пыли.

Наступает полдень, обед,— городской шум начинает понемногу стихать, еще час и в свои права вступает время ката,— кат о'клок, как прозвал его один желчный иностранец. В эти часы замирает торговля, разбегаются чиновники, стихает скрип колодцев и все мужское население от мальчишек до дряхлых стариков, от нищих, имеющих хотя бы медяк, до королевских

сыновей и шейх-уль-ислама впадает в блаженную нирвану, прожевывая кат. Кажется, что в этот час враг мог бы появиться под стенами города, но дозорный часовой на башне не выплюнул бы из своего рта сочные зеленоватые листья.

После двух-трех часов кат о'клока город начинает жить той же жизнью, что утром, но в ослабленном, затухающем темпе. В городские ворота понемногу вливаются вереницы труженых караванов, подвозящих заморские товары из портов и тюки растительного сырья и кож из страны, прекращается учение солдат на городских плацдармах. Имам, сделав загородную прогулку в раскидистой карете в сопровождении нестройной свиты из двух-трех десятков всадников, возвращается во дворец. На окрестных полях крестьяне продолжают вымолачивать просо и вспахивать землю сохой, в которую впряжен верблюд. Солнце скатывается к западу, и на потемневшем минарете муэдзин вновь славословит Аллаха, сигнализируя окончание трудового дня. Все расходятся по домам, воцаряется тишина, лишь изредка нарушаемая далеким лаем собак да нестройной мелодией военного оркестра. Площади и переулки пустеют и зияющая темнота их лишь изредка прорезывается колеблющейся точкой фонаря в руках запоздалого пешехода. Исчезают огоньки в домах, и лишь за стенами королевской резиденции всю ночь сверкают лампочки и слышно пыхтенье мотора небольшой электростанции, освещающей дворец, монетный двор, типографию и здание телеграфа. Заперты все семь городских ворот, и лишь часовые на башнях вглядываются в еле заметные очертания дорог, ведущих на враждебный Аден, знойную Ходейду и недоверчиво-таинственный Мареб, древнюю столицу Савского царства. Чувствуется, как под покровом ночи зреет и крепнет новая сила, которая, пробудившись от тысячелетнего сна, выбирается на широкий простор независимого национального существования, кипучей созидательной — и в дальнейшем коллективной — работы. И, кажется, будто скоро рухнут, как ненужные исторические обломки, глинобитные стены и старые дома, а на обширной окрестной равнине задымятся фабричные трубы и по колеям железных дорог со всех сторон будут вливаться неизведанные сырьевые богатства страны в ненасытные глотки заводских ворот. И лишь несколько площадей, сохранивших название уже снесенных к тому времени «ворот», пара пощаженных старых мечетей, да вечно-неизменный массив Джебель-Нугумгум будет напоминать о том исчезнувшем, хотя и недалеком прошлом, когда Санаа была городом, которому угрожало колониальное ярмо, где царили феодальный гнет и первобытная косность и куда на 12 году Октябрьской революции впервые прибыли люди из страны, называвшейся Советским Союзом.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Лед, разломанный людьми

(Очерки Карской экспедиции)

Макс Зингер

Беседы старых полярников

Туман ушел как табачный дым. Машины «Красина», находившиеся в получасовой готовности, сразу в трех местах вспенили воду под ледоколом. «Красин» пошел к Югорскому шару. Здесь в бухте Варнека должна была произойти встреча с Чухновским и первым караваном судов Карской экспедиции. Уже несколько раз сообщали радиостанции, что Чухновский вылетел из становища Бугрино с острова Колгуева. Но Чухновский не появлялся еще на Вайгаче. Слишком ответственна была задача, чтобы рисковать дорогим самолетом в туман и непогоду.

Малым ходом, равняясь на створы, распознавая знаки, кресты, поваленные штормами, поломанные ураганами, шел «Красин» Югорским шаром, к бухте Варнека.

— Приготовить правый якорь!

— Готовьсь!

— Отдать правый якорь!

И «Красин» остановился в полутора милях от берега. Каменистые берега поросли травой и цветами. Издали был виден яркий убор на этом суровом острове, где ничто не возвышалось над горизонтом, кроме морских знаков, поставленных гидрографами для мореплавателей.

Снова навалил туман и закрыл берег. Поднялся ветер и разорвал туман. Выглянуло солнце, засинело небо. Мимо «Красина» прошло зверобойное судно «Новая земля», обменявшись салютами.

Командование ледокола решило послать моторный бот к «Новой земле» и пригласить на «Красина» их капитана.

«Новая земля» — моторная шхуна. Она еще слишком молода; ей исполнилось всего семь лет. Она ходит за зверем зимой, а летом рейсирует по западному берегу Новой земли, перевозя пассажиров-самоедов из фактории в факторию, из становища в становище.

На этот раз кроме обычных своих заходов «Новая земля» должна была еще войти в Карские льды. Пять человек комсостава и шесть матросов — вот весь экипаж этого бесстрашного судна.

Мотор полным ходом шел к «Новой земле». Люди спустили штормтрап со шхуны и приняли на борт «красинцев».

По палубе шхуны бегали новоземельские собаки, где-то в углу шипели дикие гуси, пойманные моряками на Новой земле и валялись окровавленные, ободранные туши морских зайцев — белух.

Пассажиры — два самоеда и одна самоедка, с ног до головы закутанные в меха, рассматривали прибывших с большим любопытством. Впоследствии один из них, побывав на «Красине», все осмотрел и хвалил, но в машинное отделение наотрез отказался итти, опасаясь наказания своих богов. Этот же самоед рассказывал, что однажды был в Москве и рад, что вскоре попал обратно на родину.

— Скучно у вас в Москве, — заявил совершенно серьезно самоед.

На борт «Красина» по штормтрапу поднялись трое со шхуны «Новая земля».

Синельников, Михаил Федорович, уполномоченный архангельского райисполкома на островах Ледовитого океана (Вайгач, Колгуев, Новая земля, Матвеев и Земля Франца-Иосифа).

— Начальник островов, — так называли его самоеды.

Михеев, Андрей Васильевич, капитан шхуны «Новая земля» опытнейший навигатор и старый полярник, сам — северянин, родом с Онеги.

Плечева-Анучина. Анастасия Гурьевна — фельдшерица, она же доктор Новой земли. Самоотверженная женщина, зимовавшая год на острове. Большая общественница, женорганизаторша — единственный представитель медицинского мира на заполярном острове, самый популярный человек у самоедов после Синельникова.

— Позвольте, время-то у вас какое?— глядя на часы, висевшие в кают-кампании «Красина», сказал капитан Михеев.

— У нас четвертый пояс.

— То-то я и смотрю.

— Суденышко у вас отличное, но отчего оно в белом цвете? — спросил Михеева капитан ледокола.

— А каким же его выкрасить?

— Ну, черным хотя бы.

— А мы белым цветом пользуемся, как защитным. На белом фоне льдов к зверю легче подойти с белым кораблем.

— Трудно нам ходить здесь с «Красиным». С нашей осадкой то и дело остерегаешься всякой пакости,— заметил капитан ледокола Сорокин.— Хорошо, если грунт не костистый, а то заденешь камень, может быть и не почувствуешь, а вода в трюмах из пресной станет соленой.

— Мы со своей посудиной здесь и то остерегаемся. Хотя у нас всего двенадцать футов осадка,— рассказывал капитан Михеев.— Самоедский берег он ни чорта не изучен. Тут ползает одна коробочка, исследует берег. Но, ведь, сейчас ледяные поля голые, а зимой лед со снеговой подушкой. Долбанешь — нечувствительно. Карта Пахтусова неверна. Идешь, а сам остерегашься. Ни знаков, ни мигалок, а уже чего говорить о маяках. В Савиной сейчас восстанавливают избу. В прошлом году ее не открывали. В избе лед лежал круглый год.

— А в становище Красино, в Черную губу не заходили? — спросил начальник Карской экспедиции Евгенов.

— Как же, как же.

— Сколько там жителей?

— Восемь ружей.

— А человек сколько?

— Человек, значит, двадцать пять. В Русанове там одиннадцать ружей. А в Белужьей у нас база. Там целый городок. Жителей девяносто четыре человека.

— Самое тяжелое дело здесь собрание проводить, — жаловался Синельников — начальник островов. — Вот на последнем собрании у меня было двенадцать человек самоедов. Собрание продолжалось одиннадцать часов.

Иной раз спорят, спорят, потом запросятся поесть и опять спорить начинают. Раз прибежал на собрание самоед, об'явил, что белуха в бухту пришла. Запросились самоеды на белуху.

Со шхуны «Новая земля» подошла шлюпка. Несколько человек из экипажа шхуны поднялись на палубу «Красина». В кают-кампанию вошел помощник капитана Михеев, сам бывший капитан, разжалованный в штурмана за аварию, от которой здесь на Севере не упасешься, каким навигатором не будь. Течения не изучены. Карты неверны. Знаков нет или они повалены и постоянно туманы.

— Ну, как там наш поживает, этот славный морячина, длинный такой? — спрашивает один из штурманов-красинцев.

— Растрату произвел. Сам во всем признался. Отсидел срок. Теперь выпустили. Опять плавает. Работник великолепный, но вот эта штука его зашибает, — и капитан Михеев сделал характерный жест.

— Хорош знак стоит на мысе Белом, покойный Николай Васильевич Морозов ставил, — сказал Евгенов.

— Хороший, знатный был гидрограф. Другой раз идет судно, поставит знак и никому не сообщает. Или запишет себе в колдовочку. Сам пользуется, а ни с кем не поделится.

— С такой осадкой как наша, Югорий еще не видел кораблей никогда,— говорит капитан Сорокин.— Но чорт бы ее побрал, сколько здесь нервов поизведешь. Промеров нет. Идешь все время и лоты с обоих бортов забрасываешь.

— А водичку на соленость исследуете?— спросил Евгенов.

— Как же, как же. Занимаемся иногда, когда время есть. У меня с собой тут на посудине три бутылочки. Могу презентовать.

— Премного обяжете,— благодарил Евгенов.— Мне в прошлом году несколько бутылок с морской водой разных широт прислал по моей просьбе английский капитан Хьюс с парохода «Сингльтон Абби». Еще на каждой бутылке написал: «хорошо для желудка», «лучшее английское виски».

— Вот посмотрите карту. Здесь помечена степень солености воды, и вы видите ясно направление пресных и речных вод и течений.

Николай Иванович Евгенов подарил капитану Михееву несколько карт и просил сделать наметку ледовой обстановки, которую придется им встретить на шхуне в Карском море.

— Вот у нас шхуны покупают, а снабжения никакого нет. Лага и то хорошего не найдешь,— говорил Михеев.— Архангельский порт в отношении ледоколов больше всех обижен. «Красин» — бывший «Святогор» — построен ведь был для нас, для Архангельска, он должен был проводить в военное время суда в Архангельск, а теперь мы, архангельские, за редкость считаем побывать на этом корабле. Вот ходишь тут на суденышках, поднимется штормяга, опустит между волн — клотиков не видать. Волной так воду поднимет, что у петуха ноги хватит. Один раз ко мне в каюту прибежал штурман — у него в руках несколько мойв. Вот вам говорит на уху принес, от главного компаса, волной намыло,— Михеев отпил чаю и продолжал. — В Архангельск тральщики прибывают с каждым годом, а капитанов нет. Их нескоро сделаешь. То есть сделать можно, хороших вот трудно сделать.

— А собачек вы нам постарайтесь доставить с Усть-Енисейска,— сказал начальник островов.— Нужны нам очень собачки. Породу освежить. Больно уж от чумы гибнут.

— Вы тут обо всем, я вижу, заботитесь,— сказал Евгенов.

— Приходится и попом и нотариусом и судьей и кем угодно быть. Принес ко мне раз самоед сына своего новорожденного на октябрины.

— Ты уз крестный подерзи ребенка, раньсе отец Наркиз дерзал, в водицку кунал, теперь ты подерзи.

— Что вы прикажете делать? Беру ребенка на руки. Мальчонка так разорался, что хоть беги из дому. Самоед и говорит: «Вот когда отец Наркиз дерзал — никогда дети не крицали и в воде купались». Долбаешь, долбаешь людям, что трудно здесь одному работать. И навигатором, и администратором, и канцеляристом быть. А богатства здесь много. Сейчас возьмут 1 600 тонн пробы свинца. Порода чистая, прекрасная.

— Ну, а как балуют здесь иностранцы-браконьеры?

— Баловали, да теперь перестали. У нас в каждом становище теперь орган власти,— сказал начальник островов.— В момент протокол составят. А Чичерин с той же Норвегии спросит. Раньше бывало бесцеремонно приходили к нам, спаивали самоедов, задарма покупали ценные меха и уходили к себе с нашими богатствами. Сифилис нам оставляли, а богатства забирали. Я скажу так: если бы здесь плавало еще одно такое судно, как наша «Новая земля», так за два года, ручаюсь, ни один норвежанин в наших водах браконьерствовать не стал бы.

— Что это сегодня на Вайгаче птицы не видать? Наши матросы сошли на берег с ружьями и жалуются: никакой живности не встретили,— сказал капитан Сорокин.

— Сей год вся птица на Северный остров улетела. Там гусей много. Самоеды предсказывали, что и зверя сей год не будет. И правда, как вухо взять, мало пришло зверя.

— И оленей не видать совсем!— сказал Сорокин.

— Они здесь, куда им деваться, все в тундре пасутся. Остров Вайгач — священный остров у самоедов. Самоедин считает так, если олень кормился лето на Вайгаче, так его уж сибирская язва не возьмет, он все болезни перенесет. Это, конечно, тем об'ясняется, что здесь корма сытные, несмотря на крайний север, благодатное место, трава густая, сочная. Самоеды перегоняют оленей вплавь через пролив. Вожака ведут на буксире, остальные олени за ним плывут. Они здесь здорово раскармливаются. Правда, при переходе через Югорский шар они много силы теряют.

После чаепития гости-полярники распрощались с хозяевами.

Моторный бот ушел к шхуне «Новая земля» вместе с ее командиром.

«Красин» пошел в ледовую разведку расталкивать ледяные глыбы и поля. Вдруг из-за торосов показался парус. Кто мог в такое время осмелиться итти между льдин, когда даже «Красину» это было едва под силу. С «Красина» все стали следить за парусом. Долго шел ледокол, дымя могучими трубами, разбивая льдину за льдиной или подминая лед под свою могучую приподнятую по-военному грудь. А парус то показывался, то скрывался за торосами. Наконец, небольшая лодочка, вооруженная парусом, показалась близко по левому борту ледокола. На ней было три самоеда. Куда они шли — никому не было известно. Лодочка пробиралась узкой водной тропой между обломками ледяных полей, которые точно живые ползли, двигались, сталкиваясь друг с другом. На корме ледокола следили за смельчаками и думали-гадали, какая льдина раздавит их. Но смельчаки делали повидимому какое-то обычное, будничное дело и спокойно, не обращая внимания на ледяные заторы, продолжали путь.

Тайны моря

Солнце не хотело уходить на покой и стояло над горизонтом. Море было спокойно. Вдруг след, который шел за кормой, круто изогнулся.

— Ну, опять запахали!

Но рулевые не пахали. Курс ледокола был взят вправо. Вдруг в машинном телеграфе прозвенело. Машины все застопорили, и с левого борта опустили лот. Глубина девяносто футов. Осадка корабля была двадцать восемь. Ледокол пошел вперед. Но его все тянуло куда-то вправо. Кто-то отклонял его от курса. Рулевые обессилили держать штурвал, сколько не крути, — все тянуло вправо.

— «Красину» пресной воды захотелось,— говорил старший механик,— он в Обь и тянет. Матросы подговорили, мыться нечем.

— Сколько у нас оборотов на правой машине? Восемьдесят? Уменьшить до семидесяти!

У штурвала стал помощник командира и сам следил за курсом. Ледокол вело вправо. Приходилось все время держать руль лево на борт.

— Уменьшить левую до шестидесяти пяти оборотов!

— Уменьшить до шестидесяти!

Ледокол продолжал итти вправо.

— Смотрите на компас. Он спит и ничего не показывает. Вот ленивый! Как только на таком корабле держать такой инструмент,— говорит вахтенный начальник.

— Руля не слушаешься, будешь слушать машин,— сказал капитан Сорокин.

— Кормовую оставить на прежнем положении, левую пустить на сорок пять, а правую на шестьдесят пять,— предложил капитан старшему механику.

Через несколько минут корабль пошел по истинному курсу.

— Карское море,— вспомнились мне слова полярного художника Борисова,— страшный и неразгаданный зверь. Вы знаете, что Гольфштрем доходит до проливов Новой земли и пропадает куда-то. А пропадает ли он совсем? А не уходит ли он в глубину и потом выходит на более высокие слои? Унесло же Брусилова на «Св. Анне». Так до сих пор никто не знает, где эта самая «Анна» гуляет. Только два человека спаслись с корабля. Это Альбанов и Конрад. Они покинули корабль и пешком прошли на юг, к земле Франца-Иосифа. Вон куда их сдрейфовало.

Прав ли старик Борисов, или страхи его преувеличены, во всяком случае Карское море еще недостаточно изучено.

Двадцать футов под водой

Ледокол не дошел до острова Белого. Курс изменил на Маточкин шар. Продолжалась ледовая разведка. В полдень на горизонте показался лед. Белая полоса приближалась навстречу ледоколу. Вот стукнула в скулу корабля первая льдина, вторая, третья, и началась ледовая канонада. Лед был крупно-мелко битый. От полутора до двух с половиною метров толщиной. Запряженный всего в семь тысяч с половиной лошадиных сил «Красин» неумолимо раздвигал льдины, изредка поднимая свой нос и наседая на ледяное поле, задерживавшее путь ледоколу. Из-под носа корабля на льдину хлестала вода с брызгами и пеною, шумя точно водопад, и мелкие рыбешки, выброшенные из моря, как черви извивались на льдине.

«Колдунчик», показывавший направление ветра, говорил о норде. Ветер был холодный, и на мостике нельзя было долго выстоять А лед крепчал. Он становился грознее, торосистей, не давал такой слабины, как прежде, и проталины между полями все суживались и показывались реже. Ледоколу чаще приходилось поднимать свой нос и наваливаться всей тяжестью на ледяные поля. Взобравшись на лед, он рыскал вдруг в сторону, будто испугавшись, и снова продолжал путь, ища слабину.

На несколько минут застопорилась одна из машин ледокола. Винт не мог провернуться. Так одолевали технику ледяная стихия. Линейный, первый в мире ледокол сегодня делал ничью со льдами Карского моря.

Мы спустились со старшим механиком поздней и светлой, как день, ночью в машинное отделение. В двадцати футах над нами шумело Ледовитое море. Ломался лед, пенилась студеная вода, ледокол брал ледяные барьеры.

В дейдвудном отсеке дейдвудные трубы, через которые валы главных машин выходили в море и вращали гребные винты, были перед нами и вертелись в масле равномерно, словно где-нибудь на береговой станции. И машинисты спокойно расхаживали около машин и подливали масло в подшипники.

Четырехлопастные винты в шестнадцать тонн весом каждый вращались с невероятной быстротой и двигали корабль на ледяные поля.

Стены корпуса ледокола, около которых стояли люди, были покрыты инеем. Так холодно было море.

Чухновский сидел где-то на острове Колгуеве со своим самолетом и людьми. Лед забивал Югорский шар покровом в пять баллов. К Маточкину шару нельзя было пробиться даже с ледоколом. Дул норд-ост в пять баллов и гнал лед к берегу, закрывая дорогу Карской экспедиции. А здесь в двадцати футах под водой стыли механизмы, индевели корпуса циркуляционных помп, и все трубоохлаждение было покрыто снегом.

«Красин» не сдался, но изменил курс, жалея уголь, свою кровь, которая двигала его по этому суровому морю. Он пошел по старому пути вдоль западного побережья Ямала, где должен был быть еще чистым ото льда путь.

Справа по курсу надвигался туман. Серые тучи закрыли все небо. Впереди был виден грязный торосистый лед. Люди на корабле не спали от шума и треска льдин и, словно тени, шатались по железным коридорам корабля, стуча деревянными каблуками.

Дрейф во льдах и тумане

По курсу лежал тяжелый лед — обломки ледяных полей. Трудно пришлось «Красину» в эту ночь. Трехметровые льдины расклепали форпик ледокола. «Красин» получил течь. Карское море мстило ледоколу, бесцеремонно расталкивавшему полярные льды. И насос ледокола уже откачивал морскую воду, просачивавшуюся в его утробу.

Радиопеленг не работал. Радиостанция Югорского шара была перегружена, радисты-зимовщики не спали несколько ночей. Ледокол завалил их телеграммами. Это были оперативные телеграммы и метеосводки, которые нужны были «Красину», как верные путевки. Но больше всего ледокол нуждался в южных ветрах, которые могли отогнать лед от берегов и очистить путь для каравана. Было немыслимо проводить по такому тяжелому льду коммерческие пароходы. Одна льдина, случайно ударившая в борт парохода, сделала бы в нем дырку. Ледоколу пришлось бы заняться спасанием людей с тонущего парохода, а не проводкой кораблей в устья сибирских рек.

В красном уголке происходил шашечный турнир.

— Должно быть наверху не знают, где мы находимся?

— Может быть и не знают, но только нам не докладывают.

А наверху с капитанского мостика видно было впереди только на четверть мили. Густой туман-молоко накрыл море. Ледокол со всех сторон был окружен льдом. Ручка машинного телеграфа звенела «полный вперед», нос коробля ударял льдину и раскалывал ее. Трещины ползли, ширились, и

огромные куски льда, не находя себе выхода, торосились друг на друга. Ледокол входил в проталину, и ручка машинного телеграфа звенела «малый ход». Ледокол делал сейчас всего шесть узлов в час.

Командование щадило ледокол. Он был легко ранен в бою со льдом. Капитан реже посылал его в атаку на льдины, стараясь лавировать между ними.

Югорский шар сообщал по радио, что пролив забит льдами. А здесь в этом проливе была назначена встреча с коммерческим караваном. Карские ворота и Маточкин шар были тоже закрыты льдами, и «Красин», единственный корабль в Карском море, не видя впереди себя ничего на четверть мили, кроме льда и густого тумана, шел тихим ходом. Бортовые машины делали тридцать пять оборотов, а кормовая сорок пять. Это считалось легкой вахтой для кочегаров и машинистов.

Ручка машинного телеграфа прозвенела «стоп!» Ледокол прошел несколько метров вперед и, уткнувшись в огромную льдину, стал. «Красин» лег в дрейф.

Нельзя было подходить к берегу в таком густом тумане. Можно было наскочить на банку, загубить ледокол и тем закрыть надолго Северный морской путь.

Солнце не показывалось. Льды можно было различить лишь у самого ледокола, а дальше все закрывал туман. Определяться было не по чему. Несколько раз радисты корабля пробовали пеленг. Но каждый раз получались разные расстояния от Югорского шара. Все же общее мнение командования сводилось к тому, что ледокол дрейфует в десяти-пятнадцати милях от радиостанции Югорский шар. Лед медленно, со скоростью нескольких миль, продвигал за день ледокол на восток.

— Все еще туман,— заглянув в иллюминатор, сказал капитан.

— Ну, как с погодой?

— Да вот, еще не составили карту. Кругом все станции перегружены.

— А все-таки норд-ост дует.

— Если зюйдовые ветры подуют, картина в один день изменится.

— Получили радио от первого каравана. Они уже идут сейчас Баренцовым морем. Там шторм восемь баллов.

— Здорово мы выскочили.

— Нас шторм уже догонял, но мы спрятались от него в Карском море. Новая земля его не пустила сюда. Зато льду здесь хватает.

— Куда это вы, Иван Иванович, с винтовкой?

— На вахту. Тот раз стоял, смотрю, тюлень высовывается. Бесцеремонно лезет на льдину. Нельзя же такому охотнику, как я, терять время.

— Что-то сейчас Чухновский поделывает на Колгуеве?

— В гости к самоедам ходит.

— К самоедкам, может быть?

— Там такой же туманище стоит, как и здесь.

— Не веселая штука, но в полярном плавании без тумана и льдов не обойдешься.

Не было конца сырой пелене густого тумана. Льды подвигали ледокол в неизвестность на восток. А Ксения, буфетчица, закончив мытье посуды, скатывала половики и готовилась к генеральной уборке кают-компании. Это было равносильно священнодействию или во всяком случае третьему звонку в Московском художественном театре. В кают-компанию никто не допускался, когда там с ведром и половой тряпкой, засучив по колено юбку, расхаживала Ксения. Человек, перешагнувший по сырому полу, мог потерять расположение Ксении навсегда и не получать позже расписания чай и бутерброды.

— Да-а, так, говоришь, в'ехали мы в полярный круг,— все еще дразнили в красном уголке молодого матроса. В'ехать можно только в рожу, а полярный круг мы миновали, вот что.

Никто не мог сказать, долго ли простоит туман у Югория, когда разгонит льды и очистит путь.

Ледяной мешок Карского моря был набит льдами. Туман-молоко закрывал путь. Уткнувшись в ледяное поле, «Красин», словно в раздумье, держа машины в получасовой готовности, выжидал, когда раз'яснится и можно будет войти в Югорский шар и провести на чистую воду первый караван судов Карской экспедиции.

В крошеве льдов

Солнце ярко светило и даже пригревало. Небо было ярко-синее. И море темнело синевой. Но по синему полотну моря было наляпано художником-норд-остом сколько ослепительно белых мазков, сколько пригнало льдин, что глазам смотреть становилось больно. Палубная команда сразу будто бы вся ослепла. Все одели полярные очки с дымчатыми или желтыми стеклами. Лед забивал Югорский шар. Там, где вчера легко проходил ледокол, сегодня стопорились его машины. Ручка машинного телеграфа то и дело звенела «полный задний ход». «Красин» шел в разведку льдов к Карским воротам. Слышны были бурные всплески воды из-под расталкиваемых льдин, ледокол ухал по льдинам своей стальной грудью, словно из пушки. Обломки полей, шурша своими краями о борта ледокола, отскакивали в сторону, и ледокол, словно опытный боксер, норовил отойти от их внезапного удара. Он рыскал, как говорили моряки.

К Карским воротам нельзя было пробиться. Чем дальше на север, тем поля становились обширнее и мощнее. Торосы выростали с каждой милей. С носа ледокола несколько раз стреляли по тюленям, с любопытством высматривавшим ледокол.

«Красин» повернул обратно, держа курс опять к Югорскому шару.

— Куда это мы идем?— спрашивал на юте моряк моряка.

— Есть уголек, вот и гоняем взад-вперед.

Но командование парохода учитывало каждую тонну угля. Календарный план прихода караванов Карской экспедиции заставлял искать чистую воду для пароходов в Карском море.

Южный ветер, коварный южный ветер, на тебя возлагала столько надежд Карская экспедиция. Но ты медлил на свидание с кораблями. Метеорологи предсказывали тебя очень часто. Ты дул всюду, где не нужно было ледоколу, но не подступал к Карскому морю и не отодвигал своей волшебной рукой ледяные поля и крошево к северу, в океан.

— Чухновский в воздухе! В пятнадцать двадцать его видели над Гуляевскими кошками у устья реки Печоры. Он летел к Югорскому шару.

Настроившись слушал, превозмогая сон и усталость, вахтенный радист позывные самолета «Комсеверпути».

Самолет не показывался.

— Он сел, должно быть, в бухте Варнека.

— Неудобно как-то получилось, мы здесь в стороне от него. Никто не встретил самолета. Как они там сели — неизвестно.

— Самолет!

— Летит!

— Чухновский, Чухновский! — бежали люди на палубу из кубриков.

На горизонте показалась точка. Через миг у нее отрасли маленькие крылья. Затем крылья эти увеличились, можно было различить отдельные части воздушного корабля.

Стали слышны удары мотора.

Море ослепительно блестело льдами. Нигде не было видно чистой воды для посадки. Какая-нибудь неполадка в моторе и — гибель людей и самолета была неизбежна. Самолет, снизившись над ледоколом, описал круг и взял курс на север. Через несколько минут он превратился в точку и скрылся из поля зрения.

— Приветствуем ледокол началом совместной работы в Карском море,— выстукивало радио на «Красине».

Самолет посылал ледоколу радио-привет.

На самолете шли Чухновский, Страубе — пилотами, летчик-наблюдатель и конструктор-радист Алексеев, борт-механик Шелагин, первый, увидевший группу Мальмгрема. В качестве пассажира шел сотрудник «Комсеверпути» — Шевелев.

Куда ушел самолет — никто не знал.

— Правильно делают. Погода прекрасная. Они решили ее использовать. Безусловно они ушли в ледовую разведку. Горючего у них еще достаточно,— говорили на верхнем мостике.

Самолет шел на север с бешеной скоростью. Под ним не видно было промоин чистой воды. Горючего оставалось всего на несколько часов. А ледовые поля все теснее жались внизу под самолетом, и черные полоски воды становились все уже и уже.

Ледокол сообщил по радио место будущей встречи с самолетом, и вскоре над «Красиным» низко прошел «Комсеверпуть», и можно было отлично видеть людей на воздушном корабле.

Посадку на острове Вайгач нельзя было сделать — самолет был на лодках, грунт острова каменист. Море — сплошь в ледяном крошеве.

— Ну, а если Чухновский не найдет чистой воды, выйдет горючее, садиться придется поневоле,— говорили на корме.

Да, это был действительно цирковой номер без той предохранительной сетки, которую натягивают на арене, когда замолкает даже оркестр. Пять жизней в воздухе на изящной дюралюминиевой птице находились в смертельной опасности.

Самолет пошел берегом Вайгача и стал кружить над бухтой Варнека.

— Летчика можно узнать только при под'еме и посадке,— говорили на корме.

— Он место выбирает.

— Рассчитывает.

Небо, яркое, синее небо закрывалось с востока черной поволокой. Многомильными шагами быстро надвигался туман.

Новый противник выходил против отважных людей в воздухе.

— Еще угробятся, пожалуй.

— Ты только не беспокойся, там ребята выдержанные, в крайнем случае улетят на вест, сядут в море.

Не стало видно самолета.

— Та-та-а-а,— прогудел сигнал в штурманской комнате. Это вахтенный матрос вызывался в радиотрубку за телеграммой для начальника экспедиции.

— Сел восточной части бухты Варнека. Стою буксире Пахтусова. Привет,— рапортовал Чухновский.

Лед шел из Карского моря в Югорский шар и закрывал последнюю калитку экспедиции. Туман уничтожал видимость.

Туман смеялся над солнцем, то разрешая, то запрещая ему глядеться в полированную гладь моря.

«Красин» не мог зайти сам в бухту Варнека, где опустился самолет. Из губы Лямчиной вышли в бухту Варнека пять пароходов первого каравана Карской экспедиции. Они вышли тогда, когда вход в бухту Варнека был свободен ото льда. Но теперь они рисковали своими скулами, своими чугунными винтами, которые при первом же ударе о встречную льдину разлетелись бы на куски и вывели бы из строя пароход.

«Красин» вышел навстречу пароходам за кромку льдов.

Ледокол шел на запад, а вслед за ним торопился туман. На горизонте показалась длинная линия дыма. Она росла медленно, вытягиваясь, словно китайский дракон на новогодних китайских демонстрациях. Вот показались уже мачты пароходов.

Пароходы росли, ширились, подходя к ледоколу в кильватерной колонне, стройно, будто военные корабли в этом пустынном море.

На кораблях горели ходовые огни.

Ледокол поднял красный вымпел начальника экспедиции и сигнал «Л. Ш.» — по международному своду флажных сигналов это означало: «Станьте на якорь по способности».

Первый корабль «Синглльтон Абби» подошел с левого борта к ледоколу и пришвартовался к нему.

— Это английский пароход. Англичане народ такой — у них начальство — свои, англичане, а команда — колониальные рабы.

— А роба-то у них похуже нашей!

— У них в кубрике, что в свинушнике. На английских коробочках всегда грязь невылазная.

— Вот у норвежцев, действительно, порядки. Норвежец тот побольше всех чистоту любит.

— Уж чего говорить. Мы англичанам в пример итти можем в любое время.

По палубе английского парохода проходили цветные матросы. Изредка свистел, отдавал приказания вахтенный начальник. На верхнем мостике английского корабля видно было округлое лицо полярного капитана Черткова.

— Приветствую с благополучным прибытием,— прокричал в рупор Евгенов.

— Спасибо,— ответили с парохода.

С сегодняшнего вечера начиналась Карская экспедиция.

Первый день календарного плана уже был просрочен. Льды преграждали путь экспедиции во всех проливах. Только никто еще не знал, что творится на севере Карского моря, у мыса Желания Новой земли. Туда не заходил ледокол, туда не залетал самолет.

Но люди решили победить ледовое Карское море и провести караваны к устьям великих сибирских рек Оби и Енисея за экспортными товарами. Там высокими штабелями был сложен лучший в мире сибирский строевой лес — наша валюта. Сквозь льды Сибири нужно было пробиться для того, чтобы не выпало одно звено из пятилетнего плана индустриализации страны. И люди делали это.

В ледовый поход на моторной шлюпке

Симолет «Комсеверпуть» бросил якорь в бухте Варнека на острове Вайгач. Норд-осты гнали в Югорский шар льды и забивали проход караванам экспедиции в Карском море. Лётная площадка для лодки-самолета из-за льдов становилась все меньше и меньше, и вскоре Чухновский сообщил, что

возможность взлета исключена. Но утром течением отнесло лед несколько в сторону, и льды перестали угрожать тончайшей оболочке лодки-самолета.

Вот уже две недели, как экипаж самолета не видал горячей пищи, не спал в культурной обстановке и умывался соленой морской водой, которая не пенит мыло. С ледокола «Красин» был спущен морской бот, чтобы взять экипаж самолета на борт парохода. От ледокола до бухты Варнека все пространство было забито пловучими льдами, которые подвигались на восток по Югорскому шару, откуда шел туман черной рваной полосой.

— Карту обязательно с собой возьмите и компас,— сказал капитан вахтенному начальнику Кайвунену.— Вас может накрыть туман на обратном пути.

— Дайте нам знать тогда о себе сиреной,— кричал Кайвунен.

— Топор есть? — спросил Кайвунен палубного матроса, шедшего на моторе.

— Топор есть.

— Хлеба, сухарей захватили?

— Есть хлеб, сухари.

— Пресная вода?

— Есть пресная вода.

— Идешь на два часа,— говорил мне в пути Кайвунен, лавируя между обломками ледяных полей,— а бери запас на неделю, потому что море не шутит.

Иван Иванович Кайвунен, командир ледокола «Силач», пошел в Карскую экспедицию потому, что ему надоели льды Финского залива. Он захотел посмотреть полярные льды Северного моря. Кайвунен пошел в ледовитое Карское море, как идут в институты усовершенствования люди с высшим образованием. Карское море для Кайвунена должно было заменить полярный университет моряка-ледокольщика.

Кайвунен начал плавать с тринадцати лет на парусниках. Отец его сорок пять лет ходил в море. И сейчас, когда мощная фигура Кайвунена склонялась над штурвалом, и моторный бот, послушный его руке, пробирался между льдин, в мысль не приходило, что вот одна маленькая льдинка при первом неловком повороте штурвала стукнет в борт шлюпки и пустит ее ко дну со всеми пассажирами.

Стая уток шла по воде, чуть касаясь ее поверхности. Заметив мотор, они ушли под воду и вынырнули под самым носом корабля.

Грохнули выстрелы, и две утки окрасили воду кровью.

— Принять уток на борт,— командовал Кайвунен.

Багром притянули уток и бросили в шлюпку.

— С охотой кончено,— заявил Кайвунен охотникам.— Мне дано указание взять Чухновского на борт «Красина», и я не могу уклоняться от выполнения этого прямого задания.

Впереди ясно обрисовывались мачты двух пароходов: «Ломоносова» и «Пахтусова». Мотор вышел на чистую воду и полным ходом шел к самолету, распластавшему свои серые крылья с красными звездами над водою.

Нас заметили с самолета. Двое людей осторожно вылезли из кабин самолета на его жабру и кричали нам, что Чухновский на «Пахтусове».

Кайвунен попросил людей на самолете приготовиться к посадке на мотор и повернул к «Пахтусову».

Чухновский и Алексеев в кожаных пальто и шлемах стояли у поручней «Пахтусова».

— Стоп,— скомандовал Кайвунен.

Быстро спустились по штормтрапу летчики на мотор.

— Тов. Чухновский, начальник экспедиции приказал мне приветствовать вас с благополучным прилетом на остров Вайгач и просил пожаловать к нему на ледокол с товарищами по вашему усмотрению,— торжественно рапортовал Кайвунен.

На ледокол пошел весь экипаж самолета. Начался обратный поход среди льдов.

Лед развело ветром. Туман, шедший на бухту Варнека, ветром рвало в клочья, и они висели низко над берегом в сорока-пятидесяти метрах.

Фотографы на ледоколе взяли на изготовку свои аппараты. Свободные от вахты моряки все высыпали на палубу посмотреть Чухновского и его людей.

Вечером в каюте начальника экспедиции за круглым столом, где раскинуты были морские карты, полярные моряки и летчики разрабатывали план совместных оперативных действий.

Нужно было скорее выяснить количество неприятеля — льда, его расположение и плотность.

Проводка первого каравана

Пять иностранных пароходов,— первый караван Карской экспедиции,— пришли из Гамбурга. Хозяева пароходов знали, ч т о они посылают в Карское море.

Головной корабль «Сингльтон Абби» во время перехода Гамбург — Харстад дал трещину в соединении трюмного днища с запасной цистерной, и вода из форпика хлестала в трюм. Набралось около 5 футов воды в трюме. Начали откачивать, засорились помпы. Еле дотащились до Бергена. Норвежцы кое-как исправили. У парохода «Хилл Крафт» вода просачивалась в носовой трюм. В трюме было полно угля, и никак нельзя было определить, в каком месте протекает.

Пароходы каравана шли с задраенными носами. Кормы были осажены. В таком невероятном положении корабль плохо управлялся, плохо слушался руля. А предстояли маневры между ледяными полями. Большого хода нельзя было давать, стукнешь льдину — и пароход пойдет ко дну.

Капитан «Красина» Сорокин в шутку сказал Черткову: «У вас «Сингльтон Абби» идет, как аэроплан, нос поднят, хвост спрятан».

Югорский шар очистился ото льда. Это случилось в одну ночь.

— Вот чудеса,— удивлялись моряки.

— Обычная картина,— поясняли полярники.— Южные ветры хорошо гонят лед.

«Красин» шел впереди, а в кильватерную колонну за ним следовали пять судов каравана. Это была величественная картина. В Карском море за целый год это были первые корабли. Море было пустынно. Лед угнало, поднялась волна, и стало прикладывать пароходы. С кормы «Красина» видно было, как ныряли суда при свежем ветре.

На иностранных кораблях работали рабы английских колоний: негры, арабы, малайцы, индусы, сингалезцы.

Хозяева кораблей ежедневно служили в иностранных портах молебствия о ниспослании погибели на их корабли — так хорошо они были застрахованы.

Пелена тумана спускалась все ниже и ниже. Уже не стало видно с ледокола пятого корабля каравана. Вот накрыло серой пеленой и четвертый пароход, и вскоре за «Красиным» следовал один лишь головной «Сингльтон» Абби». «Красин дал сигнал гудком «остановиться». И вперемежку ледокол и головной корабль каравана стали гудеть, созывать корабли.

Сирена «Красина», басовито начиная сигнал, переходила в душураздирающий вопль. Как только прекращался вой сирены на ледоколе, «Сингльтон Абби» протяжно и нудно тянул у-у-у-у.

— Пропали все коробочки!

— Не все, а четыре только!

— «Сингльтон» — молодец, он держался все время за корму «Красина» и сохранил себя. Остальные, небось, теперь держат курс на полюс.

— Не слыхать гудков.

— А, может, ветром отгоняет.

— Вот уже полчаса, как мы их потеряли, они миль пять, небось, отмахали.

— У них теперь аврал, водяная тревога, такая полундра, что и не говори.

— А-и-и-и-и,— ревела сирена ледокола.

— У-у-у-у-у,— басил «Сингльтон Абби».

Никто не отвечал на призывы.

— Очередное морское развлечение,— говорил Евгенов, шагая по верхнему мостику и вглядываясь в туманные дали.

Туман стало ветром рвать в клочья. Небо засинело пятнами, и прямо над кораблем пронеслись хлопья разорванного тумана. На горизонте в нескольких милях севернее ледокола в кильватерной колонне показались четыре парохода Карской экспедиции.

Через полчаса, когда маневры были закончены, корабли пошли друг за другом.

Кончились льды. Экспедиция выходила на открытую воду. Несколько часов ледокол еще сопровождал караван на север и затем повернул курс на вест.

— У-у-у-у.

— У-у-у-у.

— У-у-у-у,— трижды салютовал ледокол головному кораблю.

«Сингльтон Абби» ответил троекратным салютом.

Поравнявшись со вторым кораблем, «Красин» обменялся с ним также салютом. И каждый корабль отвечал на прощальные приветствия ледокола.

После салюта «Красин» давал еще один короткий сигнал, который обозначал «гуд бай!».

«Красин» уходил на вест до кромки льдов. Нужно было выяснить, далеко ли от каравана расположился лед. Не подкарауливает ли он себе добычу. Сильным вестом могло надвинуть лед на корабли и сжать им ребра.

Первые льдины показались милях в тридцати от кораблей. Даже при штормовых ветрах эти льды за сутки не могли настигнуть уходивших в устье Оби пароходов. Ледокол изменил курс на зюйд.

Снова потянулись ледяные поля. Снова ледокол взбирался на льдины, давил их своей грудью, прокладывая путь к Югорскому шару, куда подходил уже второй караван.

Весь путь, который вчера проходил «Красин» открытой водой, был сегодня забит тяжелыми льдами. Радиостанция Югорского шара сообщала, что пролив весь закрыт крупнобитым льдом.

— Удачно мы проскочили,— говорили в кают-компании.

— Вот так метаморфоза!

— Идешь в полярную экспедицию, ожидай всего и запасись терпением. Пэйшенс, пэйшенс,— говорил Евгенов, начальник Карской.

— Раньше, когда не было радио, воздушной разведки и мощных ледоколов, тоже снаряжались карские экспедиции,— говорил Евгенов.— Подходили к проливам Новой земли, и если проливы были закрыты льдами, экспедиции поворачивали обратно. Теперь, когда мы вооружены техникой, отличной службой погоды, которая сообщает нам о ветрах, двигающих льды, мы знаем его приблизительные маршруты и можем проводить операции.

— Да, но у нас радиостанции никуда не годятся,— говорил один из радистов ледокола. — Они сооружены еще в довоенные или военные годы. Плохо оборудованы или просто устарели. Построили бы на мысе Желания и на острове Белом по станции, и метеосводки были бы полнее, и связь была бы лучше. А то ведь наши телеграммы лежат по суткам на береговых радиостанциях. Радисты-зимовщики с ног валятся.

— Карское море — это центр зарождения всех воздушных движений, здесь делается погода,— говорил метеоролог Пуйше. — А ведь Карское море нам почти совсем неизвестно. Сколько раз карту погоды приходится составлять ощупью, втемную, приблизительно. Потому что мы не имеем самых главных сведений, мы не знаем, что же творится на севере.

— Ходить небезопасно с такими паршивыми коробочками, которые мы фрахтуем в иностранных портах для карской экспедиции. Это равносильно тому, что вам дадут рваные сапоги и скажут: «Пройдитесь по болоту и не замочите ног»,— сказал капитан ледокола Сорокин.— Необходимо построить хотя бы десяток таких пароходов, которые строят немцы, типа «РУС», с усиленными шпангоутами, стальными винтами, не боящимися ударов о льдины, и усиленным форштавнем. Иди себе за ледоколом и расталкивай встречные льдины. А то ведь получается так: самый лучший в мире ледокол и самые худшие в мире пароходы. Необходимо строить пароходы, приспособленные ходить во льдах. На лето их можно будет эксплоатировать в Карском море, а зимой они будут работать во время ледокольных кампаний в Ленинградском или в Архангельском портах.

— На северные моря вообще обращается мало внимания,— сказал один из присутствовавших,— и очень возможно потому, что на этом море нет курортов, где бы можно было провести отпуска.

— Никто не говорит, что Карская экспедиция есть Великий северный морской путь,— говорил Евгенов.— Но что это есть просто Северный морской путь, который себя ежегодно оправдывает и оживляет север,— это неоспоримый факт. Карские экспедиции содействуют возрождению Севера и экспорту товаров, которые бы оставались нетронутыми богатствами республики.

Перед самым Югорием лед стал немного реже, и ледокол чаще входил в полыньи. Чухновский все еще сидел в бухте Варнека, ветры и туманы не давали ему возможности уйти в ледовую разведку.

Трудно было ледоколу работать в полярном море. Но еще труднее была задача самолета. Нужно было обладать полярным терпением Чухновского, чтобы не разбить самолета, выжидая неделями хорошей видимости.

Покровитель птиц

— Ни один готовый костюм никогда ко мне по мерке не подходит. По своей толщине я должен быть высокого роста. Если мне по росту взять костюм, то я должен быть в два раза худее,— говорил Леман, заведующий голубиной станцией и электрик ледокола «Красин», на корме, около клетки, где угрюмо сидел желторотый орел, пленник корабля.

Большая клетка, в которой уже несколько дней проживал орел из бухты Варнека, привлекала большое внимание команды ледокола.

— Он скоро сдохнет,— говорили одни.

— Так вы ему будете пихать всякую чертовщину, конечно, он сдохнет,— говорил Леман.— Вчера ему один принес хлеба, другой тащит кусок селедки. Нашелся один чудак и стал его поить из чашки водой. Орел — это хищная птица,— поучал Леман моряков.— Орел воды не пьет. Он ест только мясо и влагу берет из мяса. Ну, как же можно будет его дрессировать, когда у него сто хозяев?

— Фомка, Фомка, Фомка,— звал Леман орла, подходя к клетке и крутя пальцами вокруг носа птицы.

Орел не обращал внимания на своего воспитателя и, потупив очи долу, втягивал шею под самые крылья, сжимаясь от холода и сырости тумана.

— Леман, сколько у тебя голубчиков осталось? Никак ты сегодня опять запускал.

— Ну, как Леман, прилетели, что ли, голубки? — подтрунивали на корме.

— А как вы думаете, если вас будут кормить в будке, то вы туда не станете прилетать? Кушать захочется — прилетите. Так и голуби. Только они умнее вас,— обижался Леман.

— Время-то восемь часов, надо в библиотеку пойти сменить книжку.

В библиотеке, где шли выдача и прием книг, в красном уголке корабля залихватски играл импровизированный джаз-банд. Это был шумовой оркестр, который заглушал и грохот льдин и шум кормовой машины. Вместо баса один из кочегаров палкой половой щетки в такт потирал с силой об пол. И палка издавала басистый смехотворный звук. Первый азикист на корабле машинист Холодов играл на самодельном инструменте. Это была палка с тремя туго натянутыми струнами, а под ними вместо кобылки бачок солдатский, по которому стучат, как в барабан. На палку сверху прибито две крышки от консервных коробок. Они дребезжат при ударе палки об пол. Кастаньеты, бубен, несколько гитар, мандолин и балалаек дополняли оркестр

— Вот, в прошлом году много крыс было на ледоколе,— рассказывал Леман. — Орлы очень любят крыс. Жалко, что в этом году их нету совсем. Всех потравили. У меня был один знакомый боцман, спец по ловле крыс. У них на коробочке житья от них не было. Так он придумал даже особый аппарат. Если бы это было в Америке, на него бы давно уже выбрали патент. Обыкновенная бочка наполнялась водой настолько, чтобы крыса, попав в нее, не могла сразу утонуть. Над бочкой вместо крышки вырезался по размеру жестяной круг, который и ходил на оси посредине. Над кругом и под ним, на острие, расположена приманка — сало обыкновенно. К бочонку вела жердочка. Крыса, увидев сало, бежала по жердочке и как только становилась на круг, он проваливался, и крыса падала в бочонок, круг переворачивался и приманка снова была наверху для следующей крысы. Следующая крыса попадала в бочонок таким же образом, как и ее подруга. На дне бочонка лежал небольшой острый камень. Он возвышался над уровнем воды в бочке. На нем только одна крыса могла найти себе спасение от воды. Вторая крыса, попав в бочонок, выбившись из сил от плаванья, лезла на камень и старалась спихнуть другую крысу с камня, спасая собственную жизнь. Поднималась отчаянная возня, писк. Крысы слышат, что их подруги пищат в бочонке. Значит, — там пожива. И все прут на бочонок, и падают в воду. Боцман рассказывал, что однажды ночью в бочонок нападало столько крыс и такой подняли писк, что спать не было возможности.— Встал я с постели,— рассказывает боцман,— подошел к бочонку и смайнал его за борт вместе с крысами.

— Фомка, Фомка, Фомка,— звал Леман орла, отрезая ножом провегривавшееся на юте мясо.

— Фомка, Фомка, пора уже завтракать.

Орел одним глотком проглотил большой кусок мяса.

— Он может проглотить маленькую птичку, хотя сам еще почти птенец,— говорил Леман.

В тумане

— Кто сейчас вахтенный начальник?

— Старший помощник.

— Плохо везет, все норовит по кочкам.

И, действительно, «Красин» шел, словно по кочкам. Лед был торосистый, без промоин. Такой тяжелый лед не встречался еще ледоколу в Карском море. Где-то вспыхнувшие северные ветры пригнали этот могучий лед и закрывали путь каравану. Разведка показала невозможность проводки каравана, и ледокол возвращался обратно, а позади него, делая всего на три узла меньше, шел сплошной массой лед, желая наказать человека за его дерзость, за смелость бороться с законами неизведанного моря.

— Тут без какого-нибудь неизвестного течения дело не обходится.

Ледокол подходил к Югорскому шару со стороны Карского моря. Начальник экспедиции Евгенов вызвал суда навстречу ледоколу еще третьего дня. Тогда дули вестовые ветры. Они обещали изменить картину к лучшему.

— Что это там за штуковина? — указывая на маленькое облачко, сказал Евгенов капитану.

Оба, закинув головы, всматривались в бинокли.

— Туманчик. Но его, кажется, уже рвет ветер.

Через полчаса снова показалось такое же облачко слева от курса. Облачко ширилось, и вскоре все кругом ледокола закрылось пеленою тумана.

Корабли сообщали, что их накрывает туман, и что они держат путь на сближение с ледоколом.

Югорский шар — опасное место для ледокола. Он тесен и неглубок. Дно костисто. В ясную погоду опытные моряки идут здесь, все время посматривая на створы и знаки, сверяясь с картами, забрасывая для проверки лоты. Давно уже накрыло туманом берега материка и острова Вайгач. Единственная надежда оставалась на компас, да и тот лениво работал.

Метеорологи не получали полных сводок с радиостанций о погоде и не могли составлять подробных карт погоды. Они чертили свои изломанные кривые, подчас согласуясь со своим метеочутьем. Правда, это были лучшие в республике метеорологи, но чутье могло обмануть каждого.

Югорский шар был опоясан мощным поясом льдов. Выходит в Карское море вместе с судами было невозможно. Форсируя лед, разламывая ледяные поля и торосы, «Красин» прошел бы и сейчас по южной части Карского моря. Но с хрупким хвостом кораблей даже «Красин» не решился отправляться в море.

Суда шли навстречу «Красину». «Красин» шел навстречу судам. Туман закрывал все корабли. «Красин» не видел кораблей. Корабли не видели ледокола. Но каждый знал, что они идут навстречу друг другу. Об этом сообщало радио. Возвращаться судам обратно в удобную для стоянки бухту Варнека было поздно. В такой туман легко можно было вылезти на банку.

«Красин» дал протяжный свист сирены. Вопль сирены повторился, сирена вопила, отсчитывая минуты, словно стараясь разорвать туман своим безумным воплем.

— Вылезем на берег при таких потемках.

— Должно быть, станут на якорь.

— А другие суда как?

В караване было два англичанина, один норвежец и два советских корабля. Течение шло из Югорского шара со скоростью две с половиной

мили в час. Когда суда шли Югорским шаром мимо селения Хабарова, был полный штиль.

— Где вы находитесь? — запрашивал «Красин» головное судно.

Ответа не было.

— Если возможно, идите в бухту Варнека,— сообщал «Красин» судам.

Туман густел над льдами и становился, как молоко.

Тяжелый лед сплошной лавиной шел на Югорский шар, навстречу хрупким судам. Суда не видели опасности. Они не знали о наступлении неприятеля.

Сирена на «Красине» разрывалась от крика. На палубе никого не было. Все были на своих местах.

— Ходи, чего задумался? Не задерживай игры,— кричали в красном уголке ледокола.

Матросы с остервенением стучали в азики. И даже шумовой оркестр, организованный кочегарами, не мог заглушить игры.

Ветер усиливался. С полбалла он поднялся до трех. И «колдунчик», показывающий направление ветра, предвещал недоброе.

С левого борта ледокола в ответ на протяжный кричащий голос сирены вдруг где-то вдалеке послышался гудок какого-то корабля. Через минуту гудок повторился. Потом послышались гудки на разные голоса. Идя на гудки, корабли находили друг друга. Это были опасные подходы. Неизвестно куда шел лед. Никто не мог поручиться, где был берег. Он был близко, это все знали. Лучшие моряки Балтики, стоявшие на мостике, определили местонахождение корабля и отдали якорь.

Около ледокола собрались все суда каравана и загромыхали якорными цепями. Подул южный слабый ветерок и стал понемногу отгонять наступавшие на караван льды. Но туман закрывал море.

В это время первый караван шел на Обскую губу, не встречая льда. Он был уже на траверзе пролива Малыгина. Третий караван из-за границы прошел уже остров Колгуев, держа курс на Югорский шар.

Туман стал редеть. И в полчаса открылся весь берег. Пять кораблей, окружив «Красина», стояли в таком построении, будто бы их направили сюда при полной видимости. Линейный ледокол «Красин», управляемый опытным капитаном и штурманами, не имея на борту ни работающего радиопеленгатора, ни хорошего компаса, отдал якорь в таком месте, где оно было отмечено на карте. Морская задача была выполнена блестяще.

— Балтийские моряки это не самые плохие моряки на свете,— не без гордости заявил мне Кайвунен.

Через полчаса туман снова накрыл море и корабли. Машины, приведенные в получасовую готовность, все еще бездействовали. У штурвала стоял молодой матрос, исходивший все моря. Сейчас на стоянке не нужно было, обливаясь потом, вертеть непослушный штурвал ледокола. Корабль стоял «на яшке».

— Матросу палубному все нужно знать. Матрос должен быть и хорошим уборщиком, и хорошим такелажником, уметь управлять шлюпкой в любую погоду и быть цирковым акробатом. Матрос обязан в любую минуту полезть на такую высоту и с такою ловкостью, с которой ходят только в цирках канатоходцы. Вот прозвони сейчас аврал на ледоколе, народ выскочит из кубриков, и я вам поручусь, что половина из них не знает, как вяжутся морские узлы, как вести шлюпку на волне, как по воде можно определить направление ветра, не имея под руками никаких приборов. А по-настоящему лишь тот — моряк, который все морское дело знает. Другой плавает кочегаром второго класса на коробочке и думает: я—моряк. А какой он моряк? Беспомощный он человек, больше ничего. Ведь, на такого «Красина» моряков набирают со всех кораблей. Иной раз сюда

приходят люди, они и моря-то не видали. Что же от них спросишь? А морское дело — штука вежливая,— говорил рулевой.

Где-то за серым небом чуть светило солнце.

В ледяной ловушке

Второй караван Карской экспедиции в составе пяти судов прибыл в Югорский шар под командой капитана Рекстина. Капитан Рекстин не раз плавал во льдах Карского моря, он знал цену этому зверю.

Ветры южных румбов неожиданно стихли. Снова поднялись норды. Никто не знал, свободен ли еще проход берегом Ямала к острову Белому. Капитан Чертков сообщил, что он идет на траверзе острова Белого, не встречая льда. Первый караван благополучно достигал цели — Обской губы, где его поджидала речная экспедиция с экспортным товаром. Там, на Оби, в Новом порту, почти в открытом море, должна была произойти встреча речных и морских судов и начаться лихорадочно-спешная перегрузка. Иностранные пароходы должны были нагрузиться нашими товарами по ватерлинию, и ледокол «Красин» должен был провести их всех обратно в Баренцово море без повреждений.

— Эх, придем в Ленинград, выйду на берег, наймусь в дворники. Надоело плавать. Весь свет уже три раза исколесил,— говорил один из рулевых. Он обливался потом, накручивая и раскручивая штурвал. Ледокол плохо слушался руля и рыскал, ударяясь в льдины. С верхнего мостика все время поправляли рулевого:

— Два градуса лево!

— Еще два градуса лево!

— Пять градусов лево!

— На румбе!

— Есть на румбе,— отвечал рулевой, повторяя приказания, а сам тихо приговаривал про ледокол:

— Удержишь его на курсе, такого дурака! Попробуй! — Это был старый рулевой. Он отрешился от родных, от родного забытого языка его малочисленного народа, но он изнывал за рулем, не видя предмета, на который идешь. Целыми днями стоял туман. Целыми днями по курсу лежали льды, которые нужно было форсировать, в поте лица удерживая ледокол на курсе.

— Уж такая наша вахта удачная. Как мы на вахту выходим, так непременно туман накроет, и льды подойдут,— говорил рулевой.

Матросы с «Рабочего» рассказывали:

— Капитан Лукашевич очень был недоволен, когда набирали моряков в Карскую экспедицию. Зачем это так пышно называют? Вот моряки и неохотно идут. Обыкновенное плавание, такое же, как и в Финском заливе. А то — экс-пе-ди-ци-я! Ишь, как важно! Никого и калачом не заманишь в нее.

Но люди начинали уставать от тяжелого ледового похода.

— Ух, ты, чорт возьми, еще сто двадцать одну вахту отстоять придется.

— Ребята, а правда, говорят, у нас один жене телеграмму дал: «Снился плохой сон, срочно сообщи, что с тобой».

Орленок Фомка подрастал у всех на глазах.

— Придем в Ленинград, сдадим его в Зоологический сад,— мечтали матросы. И каждый подходил к клетке и называл орленка по имени.

Голуби привыкли к своей будке, и Леман без опаски выпускал их на волю. Полетав вдосталь, они возвращались всегда на свое место.

Перед тем как взять с собой десять кораблей, стоявших у входа в Югорский шар с карской стороны, «Красин» ушел еще раз в ледовую

разведку. У входа в Югорский шар стояло редкое для Карского моря количество кораблей. Рисковать сразу столькими кораблями не отваживался ни один мореплаватель.

Полным ходом, делая восемьдесят пять оборотов, «Красин» шел в разведку на северо-восток. Разреженные льды вскоре сменились обломками полей, но ледокол нашел лазейку чистой воды, которой можно было провести караван.

Ледокол пошел обратно к каравану. Нужно было торопиться. Каждая минута была дорога.

Ввиду изменчивости погоды решили не брать сразу весь караван, а только часть его — пять кораблей.

На головном корабле «Ниц Абби» пошел за ледоколом полярный капитан Рекстин.

Разреженные льды сменились обломками полей, и вдруг накрыло туманом. Нельзя было узнать, где находилась лазейка чистой воды для прохода каравана. Туман густел и ширился, он становился молоком, как говорили моряки.

Чухновский запрашивал погоду на Диксоне, Морра-Сале, он собирался лететь в ледовую разведку. Но это было невозможно. Если сейчас в бухте Варнека был ясный день, и разведка казалась еще возможной, здесь всем было ясно, что о полетах нельзя было и думать. Сплошной туман, ледяное крошево. Если даже пролетишь удачно и сядешь в полосе видимости, то в закрытом туманом месте не определить, есть ли там лед или нет.

Вечерело. Солнце перестало быть незаходящим. И ночи становились темнее. На ледоколе электрики готовили прожектора.

Слышно было, как перекликались корабли условными сигналами:

Один протяжный гудок значил — иду вперед, иди за мной.

И пароходы отвечали таким же гудком, что означало — делаю.

Один протяжный, один короткий — уменьшите ваш ход.

Семь коротких — застрял во льду.

Три коротких — дай полный ход назад.

Два протяжных — не следуй за мной.

Протяжный, короткий и протяжный — готовься принять буксир.

Головной корабль часто давал ледоколу один протяжный и один короткий гудок. Караван не поспевал за ходом ледокола, и ледокол шол на самом малом ходу.

Сигналы кораблей стали раздаваться учащенно. Гудели сразу по несколько пароходов, и нельзя было разобрать, кому что нужно. Наконец, выяснилось: пропал «Сиксти Фор». Отбился от кораблей в тумане. В этом ледяном мешке он один мог быть увлеченным неизвестно в каком направлении.

Все корабли стали звать его гудками.

Самый басовитый сигнал был у советского корабля «Рабочий».

— Вежливо гудит наш «Рабочий»,— не без гордости говорил вахтенный рулевой «Красина».

Нашелся «Сиксти Фор». Он пришел на сигналы.

«Красин» почти вплотную подошел к «Ниц Абби». Начальник экспедиции Евгенов взял начищенный с утра матросами, блестевший даже в тумане рупор и прокричал:

— Иван Эрнестович!

Ветер отнес призыв в сторону. Несколько раз поднимал начальник рупор.

— Элло,— услышали наконец ледокол.

— Иван Эрнестович, я думаю, что дальше бессмысленно итти. Нужно остановиться переждать до ясной погоды.

— Нужно итти дальше на восток. Там может быть чистая вода,— кричал в рупор Рекстин.

— Хорошо. Мы пойдем на восток с ледоколом одни и вас оставим ждать нас.

— Я поставлю «Сиксти Фор» вторым за моей кормой. Я сам поведу его.

— Хорошо, идите к «Сиксти Фор», вы с ним скорее договоритесь.

— До берега восемь-девять миль, лед нажимает к берегу. Не лучше ли обождать? — еще раз спросил Евгенов.

— Я думаю нужно итти на восток.

— Идем на «Красине» на восток. Посмотрим, не загибает ли кромка к берегу. Постойте часа полтора. Когда будем подходить, давайте по два длинных сигнала.

Через час ледокол вернулся обратно к каравану.

— Встретили обломки тяжелых ледяных полей. Разреженный лед отводил нас к самому берегу. Считаю необходимым стоять во льдах в ожидании лучшей видимости,— кричал в рупор Евгенов.

— Ол райт,— прозвенел металлический ответ Рекстина.

— Если станет отжимать льдом к берегу, мы будем входить в лед, а вы за нами. Итти сейчас — это тыкаться вслепую.

— Ол райт,— подтвердил и Рекстин.

Морской джигит Рекстин успокоился. Даже он не хотел более рисковать. Это было бы безумием.

— Вот это капитан на великий палец!

— На зекс капитан,— соглашались на рулевой рубке матросы.

На минуту прояснило, показался берег.

— Это матерой берег,— сказали матросы, указывая на материковый берег. С верхнего мостика все сошли в кают-компанию, только остались вахтенные матросы и вахтенный начальник.

Даже Якова Петровича Легздина не было на верхнем мостике. А он проводил там круглые сутки. Согнувшись над главным компасом, он вел корабль. Это он отдавал указания рулевым, какой держать курс, когда с обоих бортов ледокола были банки и нужно было этот неуклюжий корабль провести, не задев каменных часовых моря.

— Лево на борт!

— Отдерживай!

— Два градуса лево!— говорил в рупор Яков Петрович.

Яков Петрович не любил много рассказывать о себе. В кают-компании, где каждый вечер был вечер воспоминаний моряков, только один Яков Петрович сидел безмолвно.

Крепко зажав мундштук зубами, в одной руке держа секундомер и закинув назад голову, широко, по-морскому, расставив ноги, Яков Петрович ловил секстаном солнце. По солнцу определяли местонахождение судна. Сейчас этого не нужно было делать. Вот уже двое суток не показывалось солнце.

Яков Петрович за многие сутки отдыхал сегодня впервые, но каждую минуту вахтенный матрос мог подойти к его каюте, постучать и сказать обычное:

— Яков Петрович, вас капитан на верхний мостик.

И Яков Петрович влезал в свои гамбургские шлепанцы, торопливо одевался и шел на мостик. Там нужна была его консультация.

Это был такой моряк, которому доверяешь с первого взгляда.

Вторые сутки стоял туман. Вторые сутки стояли корабли во льду. Каждые сутки их дрейфовало на десять-пятнадцать миль. Угрюмо, пригнув свою шею, караулил суда скалистый берег. Ледокол поставил себя между берегом и кораблями и в случае нажима льдов он не позволил бы льду выбросить корабли на берег.

У штурвала

— Проклятое море, что ни день, то туман.

— Такой уж здесь порядок.

— В Ленинграде, говорят, тридцать градусов жары.

— Сейчас наши ребята там живут на великий палец.

— Вежливо живут.

— Куда это мы идем?

— В разведку, должно быть. Давно не ходили. Соскучились по льдам.

— Хорошо шататься по южным морям. Не захочешь другой раз и полярный паек получать в этом чортовом море.

— Отдерживай! Отдерживай! Не давай вправо ходить!— раздалось вдруг в трубке над ухом рулевого. Это Яков Петрович, старший штурман, следил по верхнему компасу за ходом ледокола.

— Рыскает здорово, его дьявола не удержишь,— жаловался рулевой, утирая пот своей кепкой.

— Два градуса лево!— металлически прозвучало в трубе.

— Есть два градуса лево,— ответил рулевой и завертел штурвал.

Впереди показалась огромная льдина, обломок ледового поля.

— Десять градусов лево!

— Есть десять градусов лево.

— Льдину обходят. И чего нам ее обходить? Стриженная девка косы не заплетет, как мы уж с этой льдиной рассчитаемся.

— Не хотят форсировать. Уголек жалеют.

— Вчера к нам приходил капитан с «Ниц Абби». Вежливый парень. Бутылец с собой захватил. А карман-то дырявый. У него бутылец до самого голенища проскочил. Люблю запасливых людей. У них на иностранных пароходах пять в море запрещается, но все равно без газу они в путь не пускаются. У каждого есть смолдроп.

— А лед здорово разредило. Скоро, пожалуй, и на чистую воду выгребем.

— Так вон же чернеется чистая вода.

— Скоро, значит, будем джентльменов изо льда на чистую воду выводить. А то померзнут, бедняги.

— Мы сами же виноваты. Нам подождать в Югорие денек. А то полезли в туман, вот и вперли. Они на верхнем мостике стояли, видели узкую полоску воды и шли по ней. Она их в берег и привела. Совещались. А чего тут совещаться? Ведь кругом же нас чистая вода. Посмотри. Все небо черное. Нигде не видать айсбликов.

— В морском деле это бывает.

— Сегодня, говорят, один парень из команды дал радио домой. Ему сон плохой приснился.

— Очень простая вещь. Вот в прошлом году, когда в поход ходил, так условился с женой, как только она обо мне подумает, чтобы записывала — в какой час и в какую минуту, я тоже, как об ней подумаю, в книжечку замечал. Пришли мы в Ленинград из экспедиции, сверили наши записи. Так, понимаешь,— настоящий радиотелеграф.

— Ну, товарищек, покрути теперь ты, а мы пойдем харчиться, пора.

На смену рулевым пришла новая вахта.

— Руль право на борт,— командовал Яков Петрович сверху.

— Есть право на борт.

— Поворачиваем, должно быть, обратно к кораблям.

— Сейчас по одному начнем их вытаскивать.

Проход найден

— Вижу чистую воду в семи-восьми милях по курсу ледокола,— свернув ладони трубочкой, прокричал вахтенный начальник с наблюдательной бочки.

— «Красин» дал полный ход и зашуршал своими бортами о льдины.

— Этим льдом суда не провести,— сказал один старый полярник.— «Красин» идет сейчас в разведку только для бодрежа команды.

Чем дальше приближался ледокол к предполагаемой чистой воде, тем льды становились тяжелее. В озерки, голубевшие на тяжелом двухлетнем льду, с носа ледокола матросы забрасывали брезентовое ведро и черпали совершенно пресную воду. Лед становился не под силу даже ледоколу. «Красин» осаживал назад перед непокорной льдиной, делал разбег и снова ударял своей грудью.

Чистую воду можно было уже видеть с верхнего мостика. Канал, образуемый ледоколом, закрывался дрейфующим льдом. Обломки полей с шумом и треском наскакивали друг на друга.

— Слышите, это стучит винтом о льдину,— говорил на корме старший механик.

Начальник экспедиции несколько раз сам поднимался на Марс и всматривался биноклем в черневшую даль, где должна была быть чистая вода.

Лед становился разреженней. Ледокол выходил на чистую воду, но проводка судов была невозможна. На протяжении пяти миль лежал тяжелый двухлетний лед и торосистые поля в три метра толщиной.

Пять судов дрейфовали у входа в Байдарацкую губу возле залива Шпиндлера. Лед теснил, отжимал их к берегу. Глубина под судами становалась с каждым часом меньше. Накрывало небольшим туманом.

В раздумьи возвращались руководители экспедиции к судам, дрейфовавшим во льду. Льдами прижало их еще ближе к берегу. В бинокль можно было различить мшистый покров берегов и уходящие хребты Пай-Хоя — уральских отрогов.

«Красин» подошел к головному кораблю «Ниц Абби».

На мостике «Ниц Абби» уже стоял капитан Рекстин, держа наготове чорный рупор. Евгенов вооружился медным, и, когда суда поравнялись, начался рупорный разговор. На кораблях затихли. Стали прислушиваться к разговору двух командиров.

— Иван Эрнестович, получили ли вы мое радио?

— Нет.

— Картина такова: прошли курсом норд-ост сплоченным льдом четыре мили и одну милю разреженным. След за нами закрывается. Судам за нами не пройти. Нужно ожидать южных ветров.

— Пойдемте параллельно берегу,— предложил Рекстин.— Или обсудите вопрос о выводе каждого парохода буксиром.

— Мы сами застреваем. Опасно для скул ваших пароходов. Передаю рупор капитану Михаилу Яковлевичу Сорокину,— он как старый ледокольщик вам лучше об'яснит.

Рупор взял Сорокин. Он был в непромокаемой зюйдвестке, прорезиненном плаще и высоких гамбургских сапогах. Лицо его было красно от ветра, и голос устал отдавать приказания рулевым, как держать корабль.

— Мы сами не можем иметь равномерного хода в таком льду,— сказал капитан Сорокин.— Если мы вас возьмем на буксир, это поведет к тому, что вы врежетесь нам в корму, как только мы задержимся около какой-нибудь тяжелой льдины. Вас изуродует.

— Буксируйте нас вплотную к корме!

— Ледокол не станет слушаться руля!

— А вдруг ветер повернется и выжмет нас на берег?

— Если выхода иного не будет, придется буксировать. Но я больше всего опасаюсь, что при буксировке вы врежетесь нам в корму и нанесете себе непоправимый вред.

Рупорные разговоры прекратились. Командование экспедиции через несколько минут снова появилось на мостике.

— «Ниц Абби», готовы ли вы следовать за нами?

— Идите вперед, могу следовать за вами,— ответили с «Ниц Абби».

Ледокол стал разворачиваться.

— Не давите нас! Вы сломаете нам руль!— вдруг закричал Рекстин в рупор.— Назад! У нас под кормою огромная льдина.

«Красин» дал протяжный свисток, и ручка машинного телеграфа прозвенела «полный назад».

— Вот когда началась настоящая ледкампания,— говорили старые ледокольщики.

— Полный вперед!

— Полный назад!— звенела ручка машинного телеграфа.

Два полярных дня, сорок восемь часов, Евгенов и Сорокин простояли на мостике. Люди забыли о сне. Нужно было окалывать каждый пароход, давать ему путь. А пароход то и дело сигналил семь коротких, застревая во льду.

Старший машинист Ольховский стаял на вахте в это жаркое время у левой средней машины, Куприянчик нес вахту у правой. У кормовой стоял Веске. И старый ледокольщик Сорокин был на мостике у машинного телеграфа. По десять, по двадцать раз в минуту звенел, отдавая приказания в машинное отделение ледокола, машинный телеграф. Стрелка телеграфа со звоном бежала перед старшим машинистом. С полного заднего она бросалась вдруг на полный передний. Нужно было сразу принять команду, отзвонить капитану исполнение и повернуть нужные рычаги.

Если же машинист, задумавшись вдруг, или сгоряча, исполнив подряд за вахту полтысячи приказаний, вместо «полного вперед» дал бы «полный назад», а такие случаи бывали в морской практике, корма ледокола, ударив в нос корабля с полной силой, пустила бы его ко дну, а ледокол лишался руля. Один неправильный ход машиниста мог провалить всю экспедицию.

— Все равно нам транспортов не вывести из этой ловушки,— говорили в машинном отделении.

— Проведем, не бойся! И не такие по Финскому заливу провожали в ледкампанию.

— В Финском одно, а в Кара Си — другое.

Так говорили люди, которые могли переговариваться, имели свободные секунды. Но глаза старших машинистов были прикованы к стрелке машинного телеграфа. Глаза машинистов бежали за стрелкой. Руки машинистов хватались за нужные рычаги. Поднимали или опускали их, и мощные коленчатые валы, в десять раз выше человеческого роста, будто подумав

с полсекунды, вдруг начали вращаться с «полного вперед» на «полный назад», послушные человеческой воле.

В машинном отделении было шестьдесят градусов жары, а на верхней палубе люди ходили в полярной робе, прятали руки от холода в карманы или теплые рукавицы.

— Вот вперли действительно. В такую погоду ежели бы по чистой воде, так с песнями можно было вести караван,— говорили на юте.

— Чухновский летит! — закричал кто-то.

— Чухновский!

Раздвинулась, словно по чьему-то указанию, туманная завеса, на несколько минут показалось солнце, и самолет, протяжно гудя, прошел над ледоколом. Чухновский уходил в ледовую разведку южной части Карского моря. Вскоре его опять накрыло туманом и не стало слышно шума пропеллера.

Вечером в густом тумане послышался снова шум самолета. Над судами, едва видимый в тумане-молоке, держась береговой линии, низко шел самолет.

— В таком тумане только держись линии берега. Видать, что морской летчик, понимает морское дело,— говорил вахтенный начальник.

Чухновский дал полную разведку льдов от Байдарацкой губы до параллели южной конечности Новой земли. Вечером поздно, уже к самой ночи получили телеграмму с парохода «Леонид Красин»: «Благополучно опустился у селения Хабарова в Юшаре. Стою на бакштове у «Леонида Красина». Подробности разведки сообщу немного позже. Чухновский».

Путь морскому конвою Карской экспедиции был открыт. «Красин» вытаскивал по одному пароходы из ледяной ловушки. Все льды залива Шпиндлера, истертые ледоколом, покраснели от сурика, которым была окрашена подводная часть ледокола.

Командиры-полярники на капитанском мостике, метеорологи за картами погоды, рулевые у штурвала, машинисты у машин, радисты в радиорубке, не смыкая глаз, делали тяжелое общее дело.

Корабль за кораблем выходил из ледяных об'ятий в открытую воду.

Каждый пароход конвоя салютовал первому в мире ледоколу. Иностранные моряки шумно приветствовали «Красина». Выстроившись в кильватерную колонну, караван судов уходил на север. Иностранные пароходы несли через Ледовитое море в своих глубоких трюмах сельхозмашины для Сибири, где в устьях великих рек Оби и Енисея лежали терпко пахнущие смолой штабеля пиленого экспортного леса.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Пути развития революционной живописи

А. Михайлов

I

В непрерывных спорах о том, «быть или не быть станковой живописи», воскресающих всякий раз, когда новые формы художественной практики сталкиваются со старыми, в обстановке борьбы и конкуренции многочисленных художественных об'единений во имя своих групповых интересов мы нередко не осознаем масштаба и значения тех сдвигов, которые происходят в советском изобразительном искусстве. Вопросы, по поводу которых идут еще схоластические дискуссии, уже решаются на практике, и последняя выдвигает те или иные формы искусства, вопреки интересам отдельных группировок, пытающихся нередко затормозить быстрые темпы нашего художественного развития во имя сохранения старых художественных традиций и идеалов.

Так обстоит дело и на фронте живописи. Та классовая диференциация, которая обостренно выявилась здесь как результат усиления классовой борьбы на настоящем этапе нашего развития, привела не только к изменениям деклараций, идейных установок, но и самой художественной практики. Она стимулировала, вместе с тем, целый ряд процессов, на характеристике которых следует остановиться.

Прежде всего, мы имеем достаточное количество фактов, говорящих о росте буржуазных и мелкобуржуазных тенденций в области живописи. Возрастание «аполитичной» тематики, формально-технический консерватизм, борьба против индустриальной техники в области искусства, против художественной реконструкции, стремление сгладить или совсем вытравить в своих произведениях классовую борьбу — вот основные признаки буржуазной и мелкобуржуазной художественной практики. Те выставки, которые мы видели в прошедшем художественном сезоне (выставка О-ва имени Куинджи и «Круг» в Ленинграде, выставки об'единений: имени Репина, «4 искусства», «Жар-цвет», «Московских художников», «Бытие», «Жизнь и творчество» и др. в Москве), не только не показывают какоголибо движения вперед, но, напротив, говорят о значительном регрессе. Этот регресс характеризуется как уходом в антиобщественную, реакционную тематику, так и прогрессирующим снижением формального мастерства. Даже взявший на себя роль гегемона по отношению к буржуазным и мелкобуржуазным живописным группировкам, строго оберегающий качество дореволюционного живописного мастерства ОМХ (Общество московских художников) демонстрировал явное снижение своего профессионального уровня.

Число самих выставок катастрофически снизилось и отнюдь не только в Москве; так что об'яснять это жилищным кризисом едва ли приходится.

Причины здесь лежат гораздо глубже: выставка перестает быть общественно-актуальной формой художественной практики,— она не привлекает внимания широкой общественности.

Центр художественной практики живописца с изготовления картин и этюдов на рынок перемещается на задачи художественного оформления общественных зданий, массовых празднеств и т. п. Выставка же является специфической формой демонстрации художественных произведений в рыночных условиях буржуазного общества; произведение ждет здесь своего покупателя, и только тогда, когда оно куплено и водворено в определенное место, оно начинает подобающим образом выполнять свою роль организатора быта и сознания человека. На выставке произведение только демонстрирует свою способность к выполнению этой роли.

Вполне естественно, что в наших условиях, где частный художественный рынок, с его анархией, вытесняется планомерным коллективным потреблением искусства, когда место мецената и индивидуального покупателя занимают клуб, организация, профсоюз, выставочные базары становятся излишними. С другой стороны, выставка как специфическая форма рыночного показа художественной продукции адэкватна определенным способам художественного производства и именно — станковым. Выставка не может, например, демонстрировать фресковую, монументальную роспись, она может показать лишь макеты этой росписи; но такая демонстрация теряет свой смысл в рамках обычной выставки, ибо монументальная роспись, рассчитанная на данное конкретное помещение, должна быть воспринята и оценена именно в органическом единстве с последним. Поэтому для монументальной росписи и вообще художественного оформления определенных зданий выставка теряет значение необходимого звена в продвижении искусства к потребителю: здесь речь должна итти о предварительном общественном просмотре и обсуждении проектов художественного оформления на месте, для которого оно предназначено, и об общественном просмотре художественного оформления после его выполнения. Но кризис выставочной формы есть только одно из следствий общего процесса реконструкции в области изо-искусства. Содержание этого процесса сводится в конечном итоге к созданию классового пролетарского искусства, характеризующегося новым типом и формами художественной практики. Этот процесс идет не только по линии развития массового, самодеятельного искусства, он использует все положительные достижения ранее бывших форм художественной практики, использует профессиональное изо-творчество, подчиняя его задачам обслуживания своих конкретных потребностей.

На первый план в области искусства выдвигаются новые формы, обнаруживающие быстрый и прогрессивный рост: архитектура, которая координирует вокруг себя живопись и скульптуру; производственные искусства; массовые формы, преимущественно полиграфические (плакат, лубок, оформление книги и пр.), кино, фото и т. д. Одновременно с этим вытесняются менее прогрессивные формы, рассчитанные на организацию индивидуально-замкнутого быта — формы станково-камерные (особенно это заметно в области живописи и скульптуры).

Если учесть эти сдвиги по отношению к живописи, то здесь основными следствиями реконструкции следует считать: утерю живописью своего главенствующего, ведущего положения в области изо-искусства и постепенное вытеснение станково-камерных форм живописи формами монументально-фресковыми, органически связанными с архитектурой и рассчитанными на коллективное восприятие, формами декоративно-живописного оформления массовых празднеств и массовыми полиграфическими формами.

Весь истекший сезон прошел для живописи под знаком этих сдвигов, и только реальный учет их значения может помочь осознанию действительного смысла происходящих изменений. Конечно, совершенно неправомерно существо указанных нами процессов рассматривать как перманентное состояние кризиса на фронте изо. Именно так был поставлен вопрос редакцией «Жизни искусства». Открывая дискуссию на тему: «Как улучшить положение художника», редакция заявила: «Не подлежит сомнению, что у нас на фронте изо с каждым годом все острее ощущается состояние кризиса». Здесь кризис отдельных течений, отдельных видов художественной практики был об'явлен кризисом всего изо-искусства. Но разве мы можем сказать, что наши архитектура, полиграфические искусства и ряд других производственных и массовых форм, а также наше нарождающееся монументальное искусство в области живописи переживают кризис? Нет, так мы сказать не можем, ибо в пределах этих отраслей искусства лишь **некоторые наиболее регрессивные течения и школы** переживают состояние затяжного кризиса и не кризиса роста, а скорее умирания.

Прогрессивные виды художественной практики, конечно, испытывают трудности роста, но именно трудности роста, а никак не кризис. И в самом деле, на что ссылаются обычно, выдвигая положение о «перманентном кризисе?» — На то, что массовый зритель не ходит на выставки станковых произведений, следовательно, говорят, он не интересуется изо-искусством вообще, он не дорос до него, он некультурен; что станковые произведения, появляющиеся на этих выставках, не покупаются, возвращаясь вновь в мастерские художников, и т. д. При этом многие художники ищут виновника в массовом зрителе. «Основной минус работы художника — это невнимание к ней широких масс» (Акимов); «В настоящих условиях становится очевидным, что наше искусство современному человеку не необходимо, а может быть, и не нужно» (Н. Э. Радлов) — вот что читаем мы среди ответов на вопрос, поставленный редакцией «Жизни искусства».

Что же предлагают эти художники в интересах изживания «кризиса»? Может быть, они осознали необходимость дать трудящимся массам не индивидуалистически-камерное искусство, а искусство, действительно говорящее на языке масс, обращающееся к коллективу, оформляющее быт этого коллектива? Нет,— этого художники обычно не предлагают. Они предлагают или «усиленно работать над проблемами «чистого» искусства» (Суков), т. е. совсем оторваться от общественно-актуальных задач искусства во имя голого формализма, или пропагандировать во что бы то ни стало и всеми средствами (через кино, печать, непрерывные выставки и т. д.) те самые станковые картины, которые художники не могут продать. Художники-станковисты предлагают об'явить их продукцию государственной и общественной ценностью и взять их (художников) на госбюджет[1].

Таким образом, **художники считают, что «кризис» должен быть изжит не с помощью новых форм художественной практики, более близких массовому потребителю, а с помощью обязательного навязывания ему старых, изживаемых форм.** И именно в том, что значительное большинство художников, оставаясь в плену буржуазных и мелкобуржуазных форм искусства, не может понять тех требований, которые выдвигает пролетариат, и заключается существо разрыва, наметившегося наиболее резко именно в практике истекшего сезона,— разрыва между старыми формами и новыми требованиями.

[1] См. «Жизнь искусства» за 1929 г., №№ 15, 16, 17 и след.

Мы уже не говорим здесь о таких художественных группировках, как «Общество художников-реалистов» (ОХР), «Куинджисты», «Репинцы» «Жар-цвет» и других им подобных,— они остались на старых позициях мещанского, антиобщественного индивидуализма, с его пассивно-эклектическими приемами, слащавой идеализацией мещанских представлений о действительности. Процесс реконструкции, обнаживший классовое лицо художественных течений, принудивший каждую группировку определить свое место по линии расстановки классовых сил в живописи, заставил эти об'единения лишь яснее обнаружить реакционное содержание их художественной практики.

Важнее отметить те сдвиги, которые наметились в практике более прогрессивных об'единений. Мы имеем ввиду АХРР, «Круг», «РОСТ» и др. По старой терминологии группы эти можно было бы назвать «попутническими». Отправляясь от старых форм, они пытались через революционную тематику приблизиться к новым формам и новому стилю. Они в той или иной мере выражали психо-идеологию более прогрессивных мелкобуржуазных групп, но они хотели ответить на требования революционной эпохи старыми средствами и формами, приспособляемыми к этим требованиям. Но период реконструкции поставил требование коренного изменения основных форм художественной практики. Чисто внешнего приспособления, одной лишь революционной тематики, интерпретация которой по существу никогда не была пролетарской, революционной, стало уже недостаточно. Или отказ от традиционной половинчатости и старых непрогрессивных форм и переход к новым методам работы, к задаче строительства классового искусства пролетариата — или назад, к импрессионизму, «живописности», к «вечной» и «абсолютной» станковой форме, к индивидуалистическому гедонизму — вот как стоит проблема.

Художественная практика ряда об'единений («Бытие», «Круг», «основное» ядро АХР'а) за последнее время демонстрирует отказ от революционной тематики, которая сменяется засильем пассивно-созерцательных или суб'ективно-гедонистических пейзажей, натюрмортов, портретов, отказ от искания новых форм и замыкание в круге повторения уже решенных формальных проблем (АХР с его установкой на плен-эр, ОСТ — на живописность и др.). Идя по этому пути, они приходят к живописно-декоративному эклетизму в форме и общественному индиферентизму в содержании (прекрасный пример: ОМХ'овские мастера, особенно Лентулов, Осьмеркин, Крупин, на последней выставке ОМХ'а, основное ядро АХРР'а на XI выставке АХРР и т. д.). Границы между отдельными мелкобуржуазными группировками стираются при этом совершенно. Ничто уже почти не отделяет ОМХ от основного ядра АХРР'а; они прекрасно могли бы выставляться в одном помещении, ибо с тех пор, как основное ядро АХР'а продемонстрировало на последней выставке отход от революционной тематики, оно перестало отличаться и от «Бытия» и от ОМХ'а. Точно так же ОХО и «РОСТ», устроившие свои выставки в рабочих клубах, могли бы вполне составить «общество молодежи» при ОМХ.

Эти факты говорят о смыкании мелкобуржуазного и буржуазного фронта искусства в период реконструкции. Блок, установленный еще в прошлом году ОМХ, «4 искусства» и ОСТ, имеет тенденцию превратиться в единый фронт всех буржуазных и мелкобуржуазных группировок, направленный против подлинно революционного искусства. Последнему противостоят сегодня в трогательном единении все регрессивные, застойные группировки, все старые формальные традиции, все сомнительные ценности доиндустриального мелкобуржуазного искусства, и было бы близоруко недооценивать эти факты в развитии нашей живописи. Конечно, эти отсталые

формы переживают кризис, который они стараются представить, как кризис всего изо-искусства, но именно поэтому активнее они сопротивляются росту новых прогрессивных течений в живописи, именно поэтому стараются представить необходимой гегемонию в живописи выдвигаемых ими форм.

II

Все то, что мы сказали выше, имело целью показать, что состояние советской живописи характеризуется несомненным поправением целого ряда художественных группировок, количественным ростом буржуазных и мелкобуржуазных течений и, наконец, кризисом станковых форм живописи. Но наряду с подобными негативными процессами мы имеем также процессы созидательные, и именно по линии действительно революционного искусства. Мы имеем ввиду: работы группы украинского об'единения АРМУ по оформлению крестьянского санатория на Хаджибейском лимане в Одессе, работы ленинградских рабочих изо-кружков и мастерских-изо облполитпросвета при ЛГПИ имени Герцена (Ленинград), приведшие к организации ИЗОРАМ'а (по аналогии с Ленинградским ТРАМ'ом), работы монументалистов-омахровцев по росписи казарм им. Дзержинского (Москва), комнаты отдыха Вхутеина, работу над оформлением массовых празднеств (напр., карнавального шествия в день открытия Парка культуры и отдыха), работы изо-техникума им. 1905 г. (Москва), комсомольцев Вхутеина, продемонстрированные частично на выставке, устроенной ими в Парке культуры и отдыха, и т. д. До сих пор под революционной живописью понимались обычно картины, сохраняющие целиком формально-технические приемы станкового творчества, но берущие революционный сюжет. Типичным примером могут служить ахровские произведения, культивирующие слащавый натурализм. Уделом этой живописи был узкий бытовизм, живописный репортаж на революционные темы, причем репортаж очень неорганизованный и хаотичный, поскольку каждый художник продолжал работать как кустарь-одиночка, не связывая свое творчество с запросами коллектива и советского строительства в целом. С другой стороны, «революционность», распространявшаяся только на тематику, не задевала с о д е р ж а н и я этих произведений; по своей идеологической сущности они оставались продуктом мелкобуржуазного отражения революционной действительности.

Революционность заключалась для них в усердном живописании «героев» и «вождей», оторванных от действительности и коллектива, вознесенных «над толпой», в слащавом выписывании парадной стороны революционных праздников, с неизменными красными флагами, жеманно-позирующих комсомолок, работниц и просто «домашних хозяек», пейзажей с фабриками, нарядной «советской» деревни с марширующими пионерами, пляшущими красноармейцами, разряженными молодками и т. д. и т. д... Наряду с этим, те же художники продолжали спокойно писать меланхолические пейзажи с развалившимися избенками, пышные букеты цветов, замысловатые натюрморты, т. е. совершенно нереволюционные вещи. Последние прекрасно показывали, насколько неглубоко, поверхностно воспринимали художники революционную действительность. Классовая борьба, почти как правило, затушевывалась в их парадных, слащавых картинах. Они подходили к революционным темам внешне, с мелкобуржуазной ограниченностью. Вот почему мы не можем считать подобные произведения действительно революционными, вот почему оказался таким легким переход «старого» АХР'а от революционной — к «аполитической» тематике.

В противовес этому молодежь, о которой мы говорим, выдвигает вместе с революционной тематикой и н о в ы е формы, и н о в ы е методы

работы. Поверхностному скольжению по революционным сюжетам противопоставляется здесь углубленная проработка темы и задания во всей их идеологической и формальной сложности. Новые формы, выдвигаемые в живописи,— это монументально-фресковая живопись. Каковы ее преимущества перед станковой живописью? Монументальная роспись может функционировать, как оформление общественного, рассчитанного на коллектив здания, в то время как станковое произведение организует обычно замкнутое, частное жилище. Роспись представляет собою ряд отдельных композиций, органически увязываемых вокруг одного задания, одной темы, она требует идеологического и формального единства всех отдельных моментов. Поэтому художники, работающие над росписью коллективно, вынуждены отказаться от индивидуалистических навыков, от замкнутой работы в изолированных мастерских и переходить на коллективную проработку всего задания в целом. Таким образом происходит коллективизация работы художников.

Естественно, что тема, прорабатываемая коллективно, охватываемая рядом композиций, может быть показана более глубоко и всесторонне, во всем своем конкретном многообразии, в то время, как художник-станковист дает в картине лишь один момент данной темы. Поэтому разносторонний, диалектический подход к действительности более осуществим в пределах монументальной росписи.

Но монументальная роспись выдвигает вместе с тем и ряд новых требований. Если наша станковая живопись зашла в настоящее время в тупик гипертрофированной «живописности» и декоративного эклектизма, идя, по пути невероятного дробления формы, неорганизованной даже в пределах одной картины, то фреска подчиняет все формальные элементы единому идеологическому и конструктивно-композиционному заданию, требует обобщенных лаконических форм, которые помогли бы выявить не единичные, случайные явления, а целый комплекс явлений в их взаимной связи и развитии.

Понятно, что сказанное относится к возможностям фрески, как принципа художественной организации материала действительности, но отнюдь не какому-нибудь историческому типу фрески. В частности, следует подчеркнуть, что значение этих возможностей важно именно в силу необходимости выдвижения в наших условиях таких форм, которые позволили бы глубже и всесторонней охватить социальную динамику и в то же время были бы рассчитаны на коллективного потребителя. Но беря принципы фрески, никоим образом нельзя реставрировать старые иконописные формы с их статичностью, религиозной символикой и т. п. приемами. Эти принципы должны быть подчинены общей задаче — дать классово-активное, монументальное, действенное и коллективистическое искусство. Что же дают с этой точки зрения работы коллективов АРМУ, ОМАХР'а, ИЗОРАМА'а?

Пожалуй наиболее интересной работой является оформление всеукраинского крестьянского санатория (Одесса), выполненная коллективом АРМУ (Ассоциация революционного искусства Украины). Работа эта производилась втечение полугода (закончена в конце 1928 г.) и заключалась в фресковой росписи, декоративной окраске стен и скульптурном оформлении. Тематика фресок об'единена общей задачей: развернуть картину угнетения трудящихся до революции, показать революцию в деревне и основные моменты социалистического строительства. Таким образом, отдельные фрески не должны были выпасть из общего задания, которое в целом и в отдельных моментах прорабатывалось на производственных совещаниях всего коллектива. Помимо этого некоторые фрески были исполнены коллективно. Благодаря этому был

в большей или меньшей мере выдержан единый формально-идеологический уровень всей работы. Идеологический уровень работы достаточно высок, хотя имеются моменты излишней символичности, снижающие общую реалистическую установку. Эти моменты символичности, так же как и подчеркнутый схематизм, некоторая застылость — об'ясняются наличием непреодоленных еще схем и штампов религиозного монументального искусства (например, в фреске Гвоздыка повторена типичная поза богоматери с младенцем в изображении крестьянки с ребенком и тип апостола или «святого» в образе старика и т. д.). Указанные черты, а равно и моменты архаизации и примитивные черты, не могут быть отнесены, однако, только за счет формального влияния старых фресковых образцов.

Работа украинских монументалистов началась еще в первые годы революции, когда организовалась школа Бойчука (так наз. бойчукисты). Бойчукисты, ориентируясь на «селянскую Украину», т. е. на крестьянство, восприняли византийские и древне-русские иконописные традиции с их схематическим догматизмом и условностью, отвечавшими задачам художественной интерпретации религиозно-мистических представлений. Все это наложило сильный отпечаток на работы бойчукистов, в которых действенность и классовая актуальность современной тематики поглощались статистически-символической ее интерпретацией.

Таким образом «бойчукисты» взяли фреску не только как принцип, но и заимствовали из искусства Византии, древней Руси и раннего Возрождения идеологические штампы. Наряду с этим они использовали и примитивные формы, бытовавшие в так называемом «народном» искусстве Украины. Все эти заимствования понятны, ибо бойчукисты ориентировались не на пролетариат, а на крестьянство, и именно на патриархально-отсталые элементы крестьянской действительности.

Такие моменты, как динамичность, глубокое раскрытие действительности реалистическими приемами в большинстве случаев были чужды «бойчукистам» в первые годы их работы. Вот почему важно отметить, что в росписях всеукраинского крестьянского санатория намечаются пути нового более активного и реального художественного выражения действительности. В них мы имеем преодоление указанных моментов, свойственных «бойчукистам» в первые годы их работы.

Сквозь схемы и символическую застылость прорывается уже в ряде фресок динамический порыв коллектива трудящихся, живые образы украинской деревни, вступившей на путь социалистического переустройства (Мизин, Шехтман, Рокицкий, Гвоздык «Праздник урожай», Гвоздык — фреска, посвященная революционной борьбе и др).

Но эти новые моменты, переплетаясь с не до конца изжитыми первоначальными традициями школы, не дали еще вполне определенного, единого стиля. Значение их в том, что они этот стиль подготовляют, что они ведут к более активным и революционным формам.

Другой опыт конкретного использования монументально-фресковых форм мы имеем в работах студентов Вхутеина, членов монументальной секции АХР'а. Насколько продукция основного ядра АХР'а (станковистов на XI выставке АХР) вызывает отрицательную оценку, настолько же работы монументалистов заслуживают самого внимательного и положительного отношения. Основной работой монументалистов за истекший год может считаться роспись клуба дивизии ОСНАЗ'а ОГПУ им. Дзержинского (в росписи приняли участие Короткова, Лукомский, Малаев, Невежин, Степанов, Цирельсон). Основное содержание росписи — показ Красной армии и индустриализации. Здесь тема также требовала коллективной проработки

и единого подхода. Этот единый подход несомненно чувствуется: но так же, как и у монументалистов АРМУ, он не привел еще к законченному стилю. В работах ахровских монументалистов еще не осознаны полностью формально-технические возможности монументально-фресковых принципов построения композиции. Их композиции нередко дают смесь фреско-монументальных и станково-живописных приемов, вернее, в этих композициях еще не преодолены типичные приемы станковизма (детализирующе-живописный подход, загроможденность композиции неиграющими роли частными моментами, недостаточная обобщенность и организованность цветовой гаммы и композиции и т. п.). Это вполне естественно, ибо в условиях ахровской практики монументалисты отталкиваются от приемов романтической идеализации и засилья живописно-декоративного эклектизма, игнорирующего конструктивно-композиционные моменты в построении картины. То есть они должны отталкиваться от традиционных приемов мелко-буржуазной живописи. В ряде работ видно уже преодоление последних. Достаточно сравнить фрески Ф. Малаева «Фрунзе» и Я. Цирельсона «Дзержинский» с трафаретными ахровскими изображениями вождей в ходульно-героизированном духе, чтобы убедиться в этом. Образ вождя не выпадает, а органически связан в этих композициях с красноармейской массой. Как положительный факт, должна быть отмечена динамичность фресок, усиливающих их эмоциональное воздействие.

В этом же плане должна быть упомянута роспись комнаты отдыха клуба Вхутеина (в исполнении ее приняли участие Вязьминский, Мирлас, Давыдов, Гапоненко, Мальцев, Густав и Марков).

Если к этому прибавить еще ряд композиций, посвященных 10-летию комсомола (монументальное отделение АХР) (напр., Вязьминский — комсомольская мобилизация в 1919 г.) — то можно констатировать несомненные успехи в области монументальной революционной живописи. Она развивается по линии углубленной трактовки революционной тематики, по линии выковывания нового языка форм, и в то время как станковая живопись теряет свой рынок и регрессирует, монументальная живопись находит себе конкретное применение в оформлении центров коллективного быта и общения.

III.

По иному пути развертывается работа ленинградских изо-кружков рабочей молодежи (ИЗОРАМ), выставка которых недавно открылась в Третьяковской галерее. Работа ИЗОРАМ'а имеет более широкий охват: наряду с декоративно-монументальными формами ИЗОРАМ работает над плакатом и фотомонтажем, графикой, иллюстрацией, оформлением театра и проектировкой мебели. В области декоративно-монументальных форм ИЗОРАМ выдвигает вместо фрески — панно. «Высшей сферой профдеятельности является организация больших ансамблей, в которых живопись, органически слитая с архитектурой, найдет свое утерянное при капитализме место. Но будет она другой, не такой, какой представляют ее многие, поговаривающие о фресках и пр. средневековьях. Задача ее будет не эстетически украшать, а целесообразно разгружать однообразие плоскости в зависимости от социальных и психофизических требований восприятия» — пишет руководитель ИЗОРАМ'а М. Бродский, подчеркивая одновременно необходимость органической увязки живописи с архитектурой. С другой стороны: «для нас сегодня живопись — организация цвета не только на плоскости панно, плаката, но и в жизни — быту. Там где есть организованная комбинация цвета — там живопись...» (См. каталог выставки ИЗОРАМ'а 1929).

Одновременно с этим ИЗОРАМ выдвигает лозунг социальной активности и диалектического осознания действительности, как борьбы противоречивых начал. «Была выдвинута основная тема «Культурная революция» — выявление борьбы, противоречий нашей действительности. Активисты мастерских, вооруженные культурой глаза, увидели их в каждой мелочи, вещи, форме. Увидели окружающую бытовую действительность по-новому. Поняли, что революция необходима везде, во всем и всюду. А главное, почувствовали, что в борьбу они должны вмешаться и стать активными борцами за изживание старого, оперируя живописными приемами, усвоенными за эти годы. Они поняли, что все эти, казалось бы, мелочи формы, цвета, мимо которых глаз скользит, находятся в сфере, являются частью той гигантской борьбы, какую ведет рабочий класс; что заостряя внимание рабочего зрителя на борьбе старых и новых форм и выявляя свое отношение к ним, они могут воздействовать, втягивать в активную борьбу за реконструкцию быта». И далее: «не рассказ, не иллюстрация могут лечь в основу разрешения тематики — содержания, а синтетический образ, перерабатываемый и сопоставляемый конструктивно, т. е. в зависимости от назначения и цели... Нашей целью является не заражать, а по возможности заряжать, в других же отраслях перестраивать».

Отправляясь от этих установок, изорамовцы создают панно для клубов, плакаты на актуальные темы и циклы работ, посвященных борьбе «старого и нового» в нашей действительности. Последние особенно интересны, ибо в них изорамовцы пытаются заострить противоречия нашей действительности в плоскости борьбы «старой и новой» культуры в период культурной революции. «Физкультура и фокстрот», «хоккей и фокстрот», старые и новые вещи (чайники, стулья и т. д.),— даны как борющиеся и противоречивые категории. Новый конструктивный чайник опрокидывает старый, разрисованный; новый конструктивный стул торжествует своей простой и лаконичной формой над поверженным эклектически «стильным стулом»; фаланга рабочих-футболистов стремительно движется на фокстрирующих буржуа, цветочные обои, сентиментальные пейзажики и т. п. мещанский уют — вытесняется новыми формами организации быта — вот каково содержание отдельных панно, посвященных борьбе «старого и нового». Все это отмечено композиционной четкостью, логичностью построения и заострением противопоставления самими формальными приемами. Антитетичность построения, стремление к диалектическому осознанию средствами искусства действительности и строгая конструктивность развертывания сюжета и оформления плоскости — являются безусловно теми положительными моментами, которые обеспечивают признание ИЗОРАМ'а революционным фактором нашей действительности. В этом отношении ИЗОРАМ опережает фрескистов из АРМУ и АХРР'а, которые дают полотна, посвященные героической борьбе Красной армии и рабочего класса, не задаваясь целью вскрыть ту классовую борьбу, которая идет в наши дни. Они живут еще более прошлым, нежели настоящим. Но вместе с тем необходимо отметить, что в практике ИЗОРАМ'а есть целый ряд дискуссионных моментов. О них необходимо сказать тем более, что они часто затушевываются.

Когда мы говорим о необходимости выявления классовой борьбы в изоискусстве, об осознании художниками противоречий действительности, то мы прежде всего имеем ввиду показ борьбы именно классов и классово-обусловленных, классово-акцентированных культур. Противопоставление «старого и нового» вообще может быть дано и не пролетарским художником, а, например, художником крупно-капиталистических групп, борющихся против мелкобуржуазной культуры и эстетики. Изо-

рамовцы большей частью идут пока по линии противопоставления «старых и новых» вещей вооообще, не убеждая, почему именно данный чайник должен быть ближе пролетариату, чем какой-либо другой. Такой подход связан в их практике с «вещизмом». Вместо борьбы и отношений определенных социальных групп они дают борьбу вещей. Но вещный фетишизм является идеологией крупного капитала и технической интеллигенции.

Изорамовцы безусловно противники «психологизма», человек в их произведениях не только очень редкий гость, но он лишен вообще всяких признаков мыслящего существа и чаще всего характеризуется теми вещами, которые функциональны его профессии. Когда, например, изображается физкультурник или физкультура, то здесь акцент ставится не на человеке и не на содержании физкультуры в наших условиях, а на вещах физкультуры (мяч, спортивный костюм и т. д.). Октябрьская революция символизуется штыками, которые разрушают вещи, созданные буржуазной культурой и т. д.

Но есть «психологизм» и есть психология. Если подменить действия человека и конкретные связи его с окружающей действительностью его «переживаниями» и давать действительность лишь как об'ект «переживаний» и чувствований, если, с другой стороны, подменить действия коллектива суб'ективно-психологическими коллизиями, то это будет плохой «психологизм». Но если в противовес этому вытравить из искусства психологию вообще, то получится не человек, а вещь, мертвая схема — и это будет плохой «технологизм» и «анти-психологизм».

Задача пролетарского художника заключается в том, чтобы избегнуть и того и другого: дать классового суб'екта, а не вещь, не в суб'ективно-психологическом плане.

Изорамовцы еще не достигли этого.

Второй особенностью их работ является узко-технологический функционализм. Когда руководитель ИЗОРАМ'а Бродский говорит о назначении и цели вещи, как основных категориях, определяющих ее характер, то он имеет ввиду узкое и формальное назначение вещи (напр., украшать данную стену, данный клуб и т. п.), а не социальную функцию ее в широком плане. В чем практически проявляется этот узкий функционализм? Когда, например, изорамовцы пишут панно для комнаты музыкального кружка, то они обязательно изобразят музыкальные же инструменты (гармоника, бубен, скрипка и т. д.) и ничего более, для чайной — борьбу старого и нового чайника, спортивного клуба — спортивные вещи, для клуба деревообделочников — борьбу старого и нового стула и т. д., то есть, другими словами, они дают в каждом конкретном случае только те темы и вещи, которые, по их мнению, непосредственно связаны с функцией данного помещения и профессией его посетителей. Но такой узкий функционализм и «профессионализм» безусловно закрывает общие перспективы классовой борьбы и социалистического строительства, они сужают границы художественного осознания всей действительности до художественного осознания различными категориями профессиональных рабочих — вещей и орудий данной профессии. Такой подход опять-таки несвойственен пролетариату.

«Вещизм» и узкий функционализм несовместимы с задачами пролетарского искусства, ибо социальный функционализм и выражение интересов класса подмениваются здесь узко-формальным, вещным функционализмом и технологизмом. Вот почему нередко, когда изорамовец подходит к той или иной теме, он вынужден жертвовать пролетарским классовым содержанием

в пользу вещного фетишизма и формализма. Но признаком пролетарского искусства является прежде всего пролетарское содержание, раскрытие действительности под углом зрения марксистского мировоззрения. Когда Бродский пишет, что «там, где есть организованная комбинация цвета, там живопись» — он дает не марксистское, а формалистское определение живописи, ибо не учитывает, что живопись имеет еще социальную функцию и содержание. Классовое содержание, неразрывно связанное с новыми формами, вот что является первым признаком пролетарского искусства, а не «конструктивность» вообще. ИЗОРАМ совершает ошибку отправляясь прежде всего от заранее усвоенных формальных принципов, оторванных от классового содержания: отправляться надо от последнего.

Если мы суммируем все сказанное и припомним, что в своей учебе ИЗОРАМ отправляется от пуристов, работы которых характеризуются как раз вещизмом, формальным функционализмом, «анти-психологизмом» — в смысле изгнания из своих произведений человека, эстетством — то нам станут понятными многие особенности в практике ИЗОРАМ'а.

Год тому назад руководитель ИЗОРАМ'а М. Бродский писал: «...анархический протест против засилия предмета — лишь продукт недостаточно глубокого анализа и пессимистического отношения к пробуждающемуся классу (т. е. пролетариату.— *А. М.)*... Французское революционное искусство почувствовало это и подсознательным путем пришло к совершенно другим выводам. Кубисты-революционеры, Глэз, Леже, пуристы Озанфон и Женпере, анализируя и абстрагируя предмет, вновь нашли элементы изо-организма, посредством которых можно строить новую, современную для нашей эпохи, созвучную ей культуру живописи». (См. «Искусство рабочих», изо, 1928 г.).

Обычно отрицают идеологическую близость ИЗОРАМ'а и пуризма.. «Вот если бы в работах изо-мастерских можно было усмотреть черты, сближающие их с отрицательными сторонами «пуризма» (каковыми по мнению автора являются фетишизация и эстетизация машины, хотя вернее было бы сказать не машины, а вещи.— *А. М.),* а тем паче, если б наряду с близостью методов художественного построения и оформления была налицо и общность идеологической установки, тогда, разумеется, надлежало бы кричать «караул». «Но этого как раз нет и в помине»,— заявляет т. Исаков.— Как я показал выше эта близость к пуризму есть и она оказывает значительное воздействие на практику ИЗОРАМ'а. Нельзя конечно отрицать, что в пуризме были положительные, организующие тенденции и их необходимо критически усвоить, но ошибка ИЗОРАМ'а (вернее руководства ИЗОРАМ'а), заключается в том, что для него область художественного наследования о г р а н и ч и в а е т с я пуризмом. Пуризм есть начало и конец, предел, его же не прейдеши. Поэтому Бродский презрительно отзывается о тех, кто работает над проблемой фрески, не допуская и мысли, что такое «средневековье» тоже может пригодиться. Такой пиэтет перед пуризмом приводит не только к сектантству в вопросах художественного наследования и учебы, но и, в ряде случаев, к идеологической капитуляции перед крупно-капиталистическим искусством. Что здесь многое зависит от школы и от руководства, показывает ряд примеров. Так, на выставке есть плакат, агитирующий за социалистические формы крестьянского хозяйства. На этом плакате изображен трактор, который наезжает на кулака. Но зритель едва ли воспримет красное пятно именно как образ кулака, настолько этот образ формалистически выхолощен и абстрактен. Между тем, если просмотреть первоначальные стадии создания этого плаката, то здесь мы видим, что кулак дан более живо, остро и убедительно. Так, в процессе разработки темы живой и классово-убедительный образ

кулака превратился в обыкновенное пуристически трактованное красное пятно.

Пуристическое сектантство вытравило остроту классового содержания. Можно было продолжить этот анализ, но уже и так ясно, что при всех положительных моментах практики ИЗОРАМА в ней существуют и такие черты, которые направляют ее не на путь создания пролетарского искусства, а в сторону от него. Мы надеемся, что ИЗОРАМ их преодолеет.

IV

До сих пор мы говорили о «больших» формах живописи (фреска, панно и т. д.). Социальная значимость этих форм велика: они должны и будут сопутствовать нашей архитектуре, организовывать центры коллективного общения, дома коммуны и т. д. Но эти «большие» формы не могут служить проводниками идей и лозунгов, рассчитанных на более краткий период времени, не могут стать подвижными формами идеологической пропаганды. Между ними и между, скажем, оформлением стенгаза, карикатурой, рисунком, плакатом — то же расстояние, как между большим романом и газетно-журнальным очерком. В практике художников АХРР'а и АРМУ, занимающихся фреской, такие формы, естественно, отсутствуют. Что касается ИЗОРАМА, то и здесь приходится отметить преобладание панно над «малыми» формами. Если же последние и присутствуют, то они значительно менее интересны, нежели панно. Исключение составляют плакаты. Из них следует отметить плакаты, посвященные борьбе с алкоголизмом. Но снова необходимо сказать, что если тематика плакатов достаточно актуальна, то самое разрешение тем недостаточно классово заострено. (Например, плакат, агитирующий за автомобилизацию СССР, может стать вполне и коммерческим плакатом автомобильной фирмы, ибо в плакате не дана связь автомобилизации в условиях СССР с социалистическим строительством и т. п.).

Более интересной в этом отношении представляется практика художкоров, об'единяемых «Комсомольской правдой». ИЗОРАМ — это не массовое течение, ИЗОРАМ есть лишь надстройка над изо-кружками. Художкоры — движение массовое. Основная задача художкоров — участие средствами искусства в непосредственной, каждодневной работе по социалистической стройке, культурной революции, проведению тех или иных политических лозунгов и т. д. Художкор должен быстро реагировать на эти лозунги с помощью рисунка в стенной газете, иллюстрации к статье, карикатуры и т. п.

Художкор не художник в обычном смысле слова, не профессионал — он — «самодеятельный рисовальщик».

Работы художкоров были продемонстрированы на выставке в Парке культуры и отдыха (весной 1929 г.); нынешней осенью выставка художкоров передвигается по районным домам комсомола в Москве с тем, чтобы впоследствии отправиться в провинцию.

Художкоры, конечно, не прошли еще того длительного пути учебы, который имеется у ИЗОРАМ'а. Эту учебу они только что проходят под руководством художников и вхутеиновцев, работающих в «Комсомольской правде». Отсутствие учебы сказывается в их работах не только в нередком подражании образцам мещанской живописи, но и в неумении вообще найти соответствующие тематике формы. Но у художкоров есть то, чего нехватает большинству наших художников: умение отыскать самую тему и остро критически к ней подойти. В основе этого критического подхода лежит уверенность в необходимости социалистической переделки нашей действительности. Плохой клуб, пьянство, бюрократизм, мещанство в бытовых и семейных отношениях и т. д. — все это находит острую критику

в рисунках художкоров. Отрицательным сторонам действительности противопоставляются положительные (учеба, строительство, труд).

Вот каррикатура на лицемера, который громогласно кричит о раскрепощении женщины, заставляя свою жену сидеть над горшками, вот современные фокстротирующие «дикари», пьяницы и т. д. Все это дано не абстрактно, а в конкретности, в живых образах и типах, в убеждающих острых сценах, в выявлении «конкретных носителей зла».

Конечно, художкорам надо еще учиться, но можно уже и сейчас сказать, что при правильной учебе многие из них вырастут в подлинных художников пролетариата.

Перед нашим искусством стоят огромные задачи. В ближайшую пятилетку предположено выстроить 108 новых городов. В этих городах будут новые дома коммуны, и их должен оформить новый пролетарский художник. У нас идет острая классовая борьба, в которой должны участвовать все виды идеологического воздействия — нам нужен хороший, насыщенный пролетарским содержанием плакат, рисунок, карикатура. Советская деревня ждет идеологически выдержанного лубка.

Все это могут и должны дать художники, считающие себя близкими пролетариату

Живая и стоячая вода

(На литподступах к Востоку)

С. Вельтман

«Во все эпохи,— говорит один из французских критиков,— у нас наблюдался чрезвычайно живой интерес к Турции, Индии, Китаю».

«Средние века были мало любопытны. Они создали идею ограниченного мира и никогда не задумывались над вопросом о различии рас, обычаев, климатов, они не имели ощущения разнообразия форм во времени и пространстве. После Востока «неверных» литература узнала Восток экзотический. Султан по временам становился союзником Франции. С ним более не сражались, от него принимали послов. Драма Вольтера «Баязет» изображала стилизованную Турцию. В начале XVIII в. открытие 1001 ночи осветило поэтическое представление о Востоке, которым стали увлекаться художники. Но сюда же вмешивались философы, которые все видоизменили по своему вкусу: внезапно появилось много произведений, где Восток привлекается для аллегорических или сатирических целей. Общеизвестно, как использовал Монтескье персов, и как произведения Вольтера наполнены мудрецами и китайскими философами. Здесь применялись все комбинации: то это добродетельный Восток, то это Восток фривольных приключений».

«Экзотика,— как подчеркивает он, не без огорчения,— нередко служила декорацией для всякого рода «вольных» идей в смысле возвеличения «мудрой Азии» с ее просвещенным и терпимым деспотизмом», но, в общем, какова бы ни была декоративная экзотика со всякого рода «водоемами под пальмой» — «вся литература о Востоке,— говорит он,— в течение десяти веков ее существования не рассматривала Востока, как представляющего интеллектуальную и моральную опасность, но вместе с тем она никогда не изображала его, как представляющего культуру, которая может быть ассимилирована во Франции».

Французский критик, констатируя «кризис» в современном изображении Востока, выросший в условиях послевоенной эпохи, скорбит о том, что современная, преимущественно, колониальная беллетристика использует декоративные стороны экзотики для того, чтобы превозносить «мудрость Азии». Он нападает на тех, которые, таким образом, содействуют «триумфу Азии» — и способствуют, с другой стороны, тому, «что идея латинской цивилизации минирована». Как видите, западно-европейская экзотика имеет свое определенное литературно-художественное и специфически идеологическое обоснование. Как бы отрицательно, однако, не относиться к пресыщенной «местным колоритом» экзотической технике, к которой часто прибегают западно-европейские беллетристы, нужно все же сказать, что иногда не мыслишь себе определенного произведения без этой декорации: здесь эта декоративная оболочка превратилась в традицию, выработала определенную технику, часто умышленно затушевывающую обстановку, но все же иногда способствующую росту фигур, их характеристике и окраске.

Эти соображения напрашиваются на некоторые параллели при обзоре той нашей художественной литературы, которая по всем внешним признакам может быть отнесена к разряду «экзотических» образцов.

Некоторые беллетристы пытаются перенести на нашу почву оранжерейным путем декоративные моменты западно-европейской колониальной беллетристики, опираясь на сомнительную идеологию тагоровского типа в области изображения восточной действительности; наиболее резкое выражение такого рода изображению вещей, как нам уже приходилось в свое время отмечать на страницах «Нового Востока» — дано в произведениях Пильняка «Корни японского солнца» и «Китайская повесть». Здесь противопоставление запада и востока целиком взято в слегка перелицованной тагоровской концепции — коллизии материальной и духовной культуры Запада и Востока — с мистической привязанностью этого писателя к «мудрости отцов» и ко всему тому, что освящено традицией времен, к «вещам», символизирующим «свои берега и свои лестницы».

И, несмотря на то, что автор «Корней японского солнца» утверждает, что самое «удивительнейшее», это то, что японский народ «освободился от вещей, освободился от зависимости перед вещью» — вся характеристика современной Японии упирается у него в «корни» предметных описаний, изображение именно вещей настоящго и прошлого быта с той детализацией, часто отживших, кладбищенских мелочей, которые свидетельствуют о том, что он подошел к восточной экзотике, заранее став лицом к прошлому и восприняв взгляд на Восток Тагора, который уверен, что на его родине «Коэль, как и встарь, шлет свои волшебные песни».

Тагоровская философия быта, представляющая из себя «стоячую воду» в смысле отражения современной восточной действительности, вперемежку с декоративной оболочкой западно-европейской колониальной литературы — это тот материал, который уже проложил себе небольшой канал в нашу художественную литературу о зарубежном Востоке и часто незаметно для самих беллетристов втягивает их в полосу того изображения вещей, которое вряд ли входит в задачи нашей художественной литературы.

Многие из них, не лишенные часто и значительных дарований, если можно так выразиться, кастрируют себя по линии воспроизведения реалистических бытовых особенностей восточной действительности, уходя в тот мир кажущейся, надуманной, маловнятной красочности, от которой отдает «тихой заводью», причем это замечание нередко относится и к такого рода произведениям, которые по качеству материала, архитектонике, можно зачислить в явления крупной литературной ценности. Литературная критика отметила, например, «Азиатские рассказы» т. Павленко, как образец того ориентального литературного жанра, в котором автор почти впервые ввел культуру западно-европейского письма в изображение восточного колорита. И действительно в его литературных зарисовках есть то своеобразие, свежесть и изящность изложения, которые отличают их от нашей небольшой литературы по Востоку. Его «orientalia» прекрасная иммитация «французского аромата» на темы восточных приключений, одновременно впитавшая в себя традиции восточных миниатюр, характерные для немецкого писателя Казимира Эдшмидта, с его попыткой синтезировать проходящие силуэты в моментальных, компактных снимках. У него все от Запада с его изощренной техникой стиля, с несомненным знанием той литературы, которой он себя подковывает, но он не миновал и влияния тех образцов нашей беллетристики по Востоку, которые, как мы уже указывали, заимствовали у западной художественной литературы сомнительного качества метод изображения быта на Востоке.

Идеологическая база его изображения Ближнего Востока далека от дальневосточных пильняковских грез, но он в порядке «стилистического содружества» невольно подвергся тому словесному бинтованию, в результате которого мысли оказались в плену у фраз с нагромождением порой недостаточно внятных определений, характерных тем, что Толстой именовал «изящной ненужностью».

«О, Стамбул, город навождений. В часы закатов,— ты слышишь ли,— как зовут тебя муэдзины Эйюба притти сюда, к могилам, к рощам кипарисов,— покаяться, смириться и лечь у гробницы Ансара под кущей старых платанов, целовать могильную землю и плакать поэтическими песнями и быть поруганными у этих древних врат, откуда началась Блистательная Порта.

«Оранжевый расцвет недолог, уже заходит солнце. В кофейнях зажигают огоньки. Нищие скрываются в переулках, откуда несет запахом давней бедности. В пустом дворе мечети Эйюба затихают голуби, и только одинокие безвестные старики одни беспомощно копошатся у гробницы, вздыхают и бормочут тихие свои повести. Огонь горит перед горбницей. Он скудно освещает сад фаянсов — длинный двор с платанами, обшитый голубой вязью, голубой былью старых кутахийских мастеров: таких фаянсов больше нет, их не умеют больше делать. В кофейнях негромко звякают кости нард. Седобородые турки курят вечерние наргилэ (кальян) и медленно допивают последние чашки кофе. Как тихо и строго в Эйюбе. Как трудно слушать тишину уходящей Турции.

«Мирный вечер уютен и долог, и грустен и пуст, как запах поздней осенней мимозы. Холодные грани фаянса скользят под руками. Тонкий, далекий запах роз и амбры исходит из гробницы араба Ансара. Вот все, что сделалось нынче историей. Быт, нравы, обычаи, люди. Здесь погребена Порта всех своих пяти великолепных веков, и под этими плитами лежит один мертвец — старая Турция».

Концепция его рассказов иногда напоминает «призрачную» литературу типа Эдгара По; он интригует читателя героями, портреты которых, как будто двигаются на вас призраками, чтобы рассказать сказки о былых временах. Его перефразировка старых легенд, бытовых традиций и т. п. представляет значительный интерес и свидетельствует о знании Востока и большой утонченной наблюдательности, но сама манера письма с нарочитой красочностью, долженствующей, как будто «переключать» настроения отжившего Востока — приводит к тому, что перед вами сплошная легенда о старом Востоке и не видно почти нового.

Политическая обстановка старой и новой Турции со всем социально-бытовым укладом, несмотря на стремление сопоставить их, проходят по такой узенькой тропинке, в окружении такой антикварной отделки, что вы живете все время прошлыми веками или во всяком случае вещественным напоминанием о них. Это — Восток, использованный в его декоративной внешности для аллегорических и сатирических целей, временами тонко стилизованный, дает представление о том, что как будто уже далеко позади современной действительности, но на самом деле по стопам сопровождает ее назойливыми тенями: «видениями старины и откровениями живой жизни» («Азия Анатолийская»). Это «стоячая вода» прошлого, отраженная в зеркале современного быта Ближнего Востока — часто в большей степени, чем это, быть может, хотелось автору.

В «Кавказских впечатлениях» Андрея Белого, напечатанных в свое время в «Красной нови», тонко подчеркнуто художественное соотношение между самим предметом изображения и их внешними красочными проявлениями в нашей классической литературе о Востоке.

Нам думается, что в «Азиатских рассказах» т. Павленко это соотношение часто нарушается.

Экзотика становится для него иногда самоцелью, нивеллирующей четкость подчас в интересных и своеобразных сопоставлениях, определениях и параллелях при зарисовках прошлого и настоящего восточного быта. Это нетрудно проиллюстрировать, например, на его характеристике старого и нового Стамбула, в «корчме которого кормили византийской стариной» и «экзотическими сказками».

«В старом амбаре за корчмой Стамбула царит многовековое запустение и хаос. Жизнь как бы остановилась и пребывает в летаргии, и паутина времени осела на жизни, кладя на нее отпечаток мертвенности и небытия. Так было сотни лет и так было еще вчера, но сегодня свежий ветер национальной революции уже скомкал этот паутиный покров — и хаос начал жить.

Малая Азия принадлежала истории.

Анатолия принадлежала султанам.

Малая Азия, пышная, яркая, вошедшая в историю культуры, опочила в книгах и обломках мрамора в Британском и Берлинском музеях. Археологи расписали ее по полкам, по графам, по отделам, разложили на отдельные элементы и бесплатно показывают ее каждое воскресенье ученикам средних школ.

А султан запер Анатолию от иностранцев, сжал ее обручами налогов и выбирал из нее хлеб для Стамбула, молодежь — для армии, девушек — для своих гаремов.

Так стали существовать одновременно две страны, хотя обе они — были одно.

Сейчас трудно себе представить, что Анатолия малоазийская была когда-то цветущим краем, что ее украшали великие и шумные города, что города эти были построены из мрамора, что здесь существовали величайшие библиотеки (Пергам) и храмы (Эфес) древнего мира, что здесь жили великие поэты и мудрецы — и философские школы распространяли отсюда по всему миру начала материалистического мышления.

«Все течет, все изменяется»,— говорил Гераклит.

Все текло и изменялось и здесь.

Рыжие травы покрывают ее теперь на всем протяжении, и лишь изредка в рыжий цвет вкраплены темные и зеленые заплаты крестьянских полей, пучки дерев или крохотные бородавки садиков, поражающих своей игрушечной ненужностью.

Растет великое запустение пространств. Созидательный огонь, некогда воспламенявший здесь золотые дни эллинов,— в пепел, в серый и жухлый пепел обратил дни нынешних ее людей.

Все обыденное, все временное здесь непременно умирает. Стада дичают, поля пребывают в запустении, стены домов кажутся стенами склепов. Рельсовые пути внушают только чувство бесконечной удаленности, и самые недавние дела человеческие приобретают здесь раннюю и таинственную дряхлость.

«Суха и местами бесплодна теперь земля, родившая когда-то бессмертную цивилизацию. Дряблое тело ее с трудом и в муках родит дыни, пахнущие нафталином, и арбузы с горбатыми семечками — последние зерна исторического плодородия, последние крохи творящих сил».

Здесь во всем как будто желание противопоставить «живую воду» нарождающегося быта омертвевшим вещественным памятникам, фетишизированным столетиями, с иронической усмешкой по отношению ко всему, что стоит лицом к прошлому, а на самом деле вы часто неожиданно оказываетесь

перед «изображением вещей», с которыми автор возится больше, чем нужно, закрепляя в вашем сознании не динамику, а статику,— ту «стоячую воду», которая получила некоторое теоретическое обоснование, в порядке философии путевых записей в «Корнях японского солнца» и отчасти в «Китайских повестях» Б. Пильняка.

Тов. Павленко по временам теряет свою основную установку — его социальная база часто уходит от него, загроможденная «древностями».

«Азиатские рассказы» по конструкции самих сюжетов, своеобразному колориту и высокой культуре письма все же яркий показатель нашего литературного роста в области изображения зарубежного Востока, бытовое отражение которого особенно затрудняется отсутствием у нас в прошлом традиции воспроизведения соответствующей восточной действительности, крохотным изучением этого быта, и недостатки этих произведений говорят о необходимых коррективах в литературно-художественной установке в области изображения Востока.

Литература этого рода стоит особняком, ее авторы еще как будто на вторых ролях, несмотря на всю важность этих произведений. Их задача совершенно разнится от путей и целей западноевропейской литературы. Там «экзотика» — необходимая декорация к империалистической агитке в недурно завуалированных «колониальных романах», в значительной степени символизирующая привязанность к старине, к вещам, предметам обихода, охраняемым метрополией — «матерью-родиной» — в колониях от «революционного трамплина».

Прикладная роль «экзотики», выполняющей на Западе задачи «завес» у нас должны быть сведены только к тем линиям, краскам, которые характеризуют couleur local, как один из моментов бытовых черт и особенностей.

Отсюда вытекают и задачи построения у нас социального романа по зарубежному Востоку. Он, естественно, не может обойтись совершенно без «экзотики» и вынужден нередко пользоваться моделью «колониальных романов» в смысле распределения и взаимоотношения персонажей и целого ряда атрибутов. и т. п., но авторы его должны обладать большой художественной корректностью, чтобы на «колониальном» фоне выявить новые фигуры, знаменующие нарастающие политические социальные сдвиги, символизирующие национально-революционное движение на Востоке и т. п.

Мы понимаем «колониальный роман» в условном, расширенном смысле, подразумевая под этим видом художественной литературы — социальный роман по Востоку, имея в виду, что в обыденном определении этого жанра есть известная вульгаризация, не соответствующая его сущности.

Советский беллетрист стоит в этом смысле перед новой задачей. Он должен создать новый тип романа по зарубежному Востоку.

«Экзотика» как один из элементов быта должна быть нами использована в динамике в соответствии с формами борьбы колониальных народов, классовыми взаимоотношениями и т. д., а не рабски копироваться в ее застывших, пряных, цветистых проявлениях. Советский роман по зарубежному Востоку, сохраняя специфические особенности быта, отдельные характерные штрихи жизни восточных народов, должен отражать ту революционную борьбу на зарубежном Востоке, которая совершенно не под силу современным западноевропейским беллетристам и не входит в их интересы.

«Колониальный роман» в его современном виде, выросший в условиях западно-европейского порабощения колониальных народов, естественно, не имеет у нас корней в пролетарской массе, так как у нас нет проблемы белых, цветных и т. п., но техника этого вида литературы со специфическими особенностями этого жанра является той литературно-художественной принадлежностью, без которой иногда не обойтись современному

беллетристу по зарубежному Востоку, в смысле использования всего западноевропейского материала из области этнографии и социальной географии «отсюда досюда», т. е. в порядке подхода, напр., к некоторым образцам нашей классической литературы. И с этой точки зрения не всегда убедительно звучат преувеличенные нападки на всякого рода «подделку под Фаррера или Бенуа» в произведениях наших беллетристов, посвященных зарубежному Востоку. Прежде всего эти сравнения с уравнением Фаррера и Бенуа просто неубедительны и штампованы в своих определениях, так как оба эти писателя по характеру письма, всей конструкции романов, тематике, а главное выявлению быта, колониальной жизни — совершенно различны.

Фаррер при всей своей идеологической беспринципности ввел в художественную колониальную литературу моменты с определенным социальным содержанием. В его «Новых людях», «Цветах цивилизации» и т. д. показана картина наступления французского капитала на колонии, с широко развернутым персонажем колониальных хищников, «завоевателей» новых земель.

Это — писатель, который при постоянном стремлении использовать для французского колониального рынка, с его незатейливым потребителем весь аксессуар экзотических безделушек, умеет проиллюстрировать обстановку зарождения целого ряда колониальных взаимоотношений. Бенуа же — типичный поставщик экзотической выдумки an und für sich. Для него экзотика — самоцель, скомбинированная из легкомысленных атрибутов французских бульварных романов и той квази-научной фантазии, которая часто почерпается им из чужих произведений и перелицовывается на свой лад. Поэтому нам кажется, что огульно «фаррера-бенуазская» характеристика некоторых моментов в нашей художественной беллетристике, посвященной Востоку, недостаточно убедительна и в значительной мере не конкретна. С этой точки зрения характерны те замечания, с которыми, например, встречен роман Алымова «Нанкин-Род» в одной из рецензий, автор которой, констатируя, что в этом романе «есть здоровое стремление преодолеть западно-европейскую экзотику, вместе с тем по поводу некоторых моментов «фривольного характера» ловит следы Фаррера, восклицая «ау-Фаррер».

Между тем для такого рода сопоставлений роман Алымова абсолютно не дает материала, и такого рода ловля экзотики с поличным, хотя бы в скрупулезных размерах, представляется в значительной мере беспредметной, ибо она не выявляет существа произведения в целом.

«Нанкин-Род», несомненно, одно из тех произведений, которое уже намечает определенный этап в росте нашей художественной беллетристики по Востоку. Здесь даны в здоровом, сочном и выпуклом художественном выражении коллизии старого и нового быта Китая и на фоне колониального романа, о котором мы говорили выше, именно с достаточной дозой художественной корректности введены новые персонажи, которых не знает западноевропейская беллетристика. Автор «Нанкин-Род» преодолел не экзотику, а фетишизм в «изображении вещей» в их тагоровском восприятии восточной действительности с «мудростью отцов» и преклонением перед «своими лестницами и берегами»,— именно тот «перец, ладан и гниль», которые закрыли, напр., перед Фаррером картину современного Китая. Китай оказался не под силу западноевропейскому колониальному романисту и именно на нем Фаррер потерпел поражение, как художник в его рассказе «На другом полушарии», оказавшись совершенно беспомощным перед воспроизведением революционного движения в Китае.

Современная китайская действительность оказалась для французского романиста той точкой «дальнего прицела», которой он не сумел достигнуть

вследствие органического непонимания социальных процессов в современном Китае и косного подхода к этой стране — как «другому полушарию», куда позволительно залядывать лишь для философского размышления в обстановке «перца, ладана и гнили».

Наша беллетристика опередила западноевропейскую художественную литературу в смысле выявления быта нового Китая и в этом отношении заняла место своего рода пионерского отряда, заложившего фундамент для советского романа по Востоку. Задачи этой литературы — отбросить «колониальную» традицию западноевропейской литературы с ее империалистическим «культуртрегерством», прикрывающим завоевательные тенденции метрополии, но сам опыт построения советского колониального романа часто упирается в couleur local западноевропейской литературы по изображению быта, которым неизбежно приходится пользоваться «на прокат», ибо у нас естественно не может быть такого материала фольклорного, этнографического характера, какой мы находим, например, в некоторых романах Жана и Жако Таро, Ле-Глея, у того же самого Фаррера, Дюшена или, напр., автора романа «Черная волна» негра Афим Ассанг, который, рисуя картину колониальной эксплоатации туземного населения при постройке транссахарской жел. дороги, дал попутно изумительные картины примитивного быта, характерные по своему какому-то звериному натурализму. А ведь это, если хотите — та же «экзотика», которую некоторые невпопад стремятся прикрыть фиговым листочком. Дело вовсе не в той или иной комбинации «фривольных приключений», а в основной установке темы, в том, есть ли в художественном произведении четко и убедительно выявленный материал социального характера, развернутый в сюжеты определенной обрисовкой персонажей, или это только «любовные эпизоды».

«Французская литература, как писал М. Павлович, в своей книге «Борьба за Азию и Африку» в лице Вогюэ, Баратье, Поля Адама и др. с большим или меньшим талантом и увлечением воспевает африканскую илиаду современной Франции, прославляя погибших героев, совершенно не дает ответа на вопрос, какими своекорыстными интересами сами руководятся в своей деятельности те сидящие там в Париже темные дельцы, которые направляют свои непобедимые батальоны то против бастующих рабочих, то против африканских дикарей, не желающих сразу признать все прелести европейского режима и без боя подчиниться великой Франции. Задача советского беллетриста по зарубежному Востоку — вскрыть двигающие силы колониальной политики империалистических держав. Западноевропейская колониальная художественная литература накопила много материала из жизни колоний и в целом ряде образцов отразила борьбу маленьких колониальных народов против метрополий. В этой литературе вы часто найдете хронику военных наступлений империалистов на колонии, материал, характеризующий национальное угнетение колониальных народов и т. д.— но в этой своего рода колониальной энциклопедии отсутствует социальный стержень, который не мог оформиться и окрепнуть в условиях западноевропейской литературы, классовая сущность которой выдвигает и культивирует «верных сынов родины». Современный колониальный роман разнобоен — пестр и невыдержан не только в смысле идеологического подхода к изображению восточной действительности, но и в смысле художественного построения. Он об'единяет романы типа Фаррера, Ле-Глея, Тарро, рассказы Дюамеля, Жана Дюфо, «кусочки быта», воспроизведечные в «Батуале» Ренэ Морана и, наконец, целый ряд произведений англо-саксонской литературы, по характеру своему совершенно отличной от французской, напр., роман Форстера «Путешествие по Индии», но в значительной мере их характеризует: отсутствие четкости в постановке социальных проблем,

какая-то вынужденная ограниченность в развертывании сюжета по линии выявления основной темы произведения, при чем в этом отношении представляют какую-то «окрошку» и те литературные образцы, которые пытаются дать правильную картину колониальной жизни.

Традиционный подход к Востоку, как к какому-то придатку к западноевропейской цивилизации, обреченному плестись в хвосте «культурной миссии», как к таинственному, загадочному миру фантастических приключений, окостенелых реликвий, как к миру «низших рас», не достигших усвоения западноевропейских «истин»,— культивировал в «колониальной» художественной литературе тот трафарет в обрисовке «экзотики вещей, который отличает «колониальный роман» и который нередко прикрывает позиции правящих классов, определенные политические тенденции.

«Курительный салон роскошного пекинского отеля «Вагон-Ли». Вокруг мраморного столика в глубоких кожаных креслах — американские, английские и французские «китаеведы» — особая порода людей: пострадавшие, свидетели и судьи в одном лице.

Перелистывая иллюстрированный журнал, я прислушиваюсь к их беседе. Они говорят об идее перевоплощения в египетских, индусских и китайских мифах.

Чернобородый, румянолицый француз-миссионер восторженно рассказывает египетский миф о возрождающемся Озирисе. Затем он обстоятельно описывает состояние «непрекращающегося волнения составных «элементов» и «колесо перерождений» в загробном мире буддистов.

Они обнаруживают исключительное знание легенд и мифов древнего Китая. Они нагромождают один миф на другой, и в развороченном царстве старинных фолиантов, умерших легенд и забытых сказаний носятся с такой же легкостью, как фокстроттирующие парочки на паркетных полах танцовальных зал.

Они говорят о возрождениях, перевоплощениях и перерождениях в мире буддийских и даоситских легенд, чтобы не видеть тех перевоплощений, которые на их глазах происходят в Китае. Они говорят о «колесе перерождений», чтобы не говорить о сотнях миллионов забитых, разобщенных, невежественных рабов, которые ныне превращаются в «грозную армию политических борцов». Они говорят о чудесных превращениях Чжан-Дао, чтобы не видеть, как блекнет авторитет командующих классов Китая, на союзе с которыми держится могущество великих держав.

Сегодняшний Китай они хотят видеть только «ничьей землей», в которую, оттесняя романтические развалины минувшего, должен проложить себе дорогу и железо-бетонный таран европейско-американского капитализма».

«Китайские новеллы» О. Эрдберга, из которых мы цитируем эти строки, не оформились в крупное художественное произведение по зарубежному Востоку, в них нет завязки романа, нет типов и фигур, выросших на том социальном фоне, который автор выявил в порядке офортов, небольших художественных кадров — типа «художественной хроники», но эти новеллы знаменательны четким социальным анализом китайской действительности и противопоставлением старого и нового Востока в их самых подлинных корнях. Это есть то ядро, которое в дальнейшем художественном оформлении и росте, должно быть противопоставлено современному «колониальному роману».

В 1922 г. вышли «Батраки» — туркестанские колониальные рассказы Свешникова, в которых автор пытался восстановить картину колониального быта в царской России. Эти беспомощные по форме небольшие наброски по самому заглавию звучали каким-то диким анахронизмом, «глубокой стариной» в условиях Советского Союза, будто «последняя тучка давно

«рассеянной бури». Это была последняя грань на рубеже воспроизведения другого, нового советского Востока, связанного с иной терминологией, в области художественных образцов. Советский беллетрист стоял перед задачей преодоления нарочитой романтики иногда в лучших образцах нашей классической литературы по Востоку, не говоря уже о примитивной олеографии типа Марлинского.

Нужно было подойти к советскому Востоку таким образом, чтобы в области воспроизведения восточной действительности трансформировать обыденное, элементарное понятие экзотики, как чего-то фантастического, пестрого и цветистого, взрощенного на туземной почве в тепличном оранжерейном окружении, заменив эту декорацию образными сравнениями, наиболее выпуклыми чертами национальной специфики быта, фольклора, этнографии. И это, как нам кажется, было сделано, правда, ощупью, так сказать, с предварительной наметкой в «Мятеже» Д. Фурманова, который на первых порах был встречен лишь как «мемуары комиссара». Восток дан здесь «сбоку припеку», киргизы проходят в тени, и весь быт передан скороговоркой, заслоненный русскими фигурами, но автор этого произведения с интуицией крупнейшего художника, с той «художественной корректностью», о которой мы говорили выше, дал ряд сопоставлений чисто художественного порядка, которые сами говорят за себя и выявляют содержание подлинной экзотики в том именно смысле, в котором, по нашему мнению, это определение имеет свое право на существование.

В «Мятеже», который не имел своей непосредственной задачей дать картину восточного быта, были попутно схвачены те детали будничной обстановки жизни киргиз и подчеркнут тот элемент восточной красочности в обстановке национального быта, который органически увязывается с предметом изображения. Здесь нет длительных любований отжившими (застывшими) памятниками, фетишизма «вещей», которые при желании можно найти не в меньшей мере, чем в западно-европейском колониальном быту. Он вводит все красочные, наиболее типичные моменты восточной действительности методом художественного противопоставления, а не нагромождением всякого рода цветистых атрибутов. Это и есть тот путь, по которому должны итти советские беллетристы в области изображения couleur local Востока.

Французский критик Андре Шоме, испуганный «переломом» в колониальном романе, который наблюдается по его мнению, писал: «Русский феномен захватил умы. Лихорадочное возбуждение, проявляющееся в странах Ислама и в Азии началось в Москве. И Восток стал казаться писателям уже не таким, каким он был раньше, а в бледном свете как бы отражаемым Россией. Это новый мир, охваченный волнением. Что станет с ним? Будущие историки отметят это общее движение, как одно из самых необыкновенных явлений нашего столетия. Наши писатели уже подверглись его тлетворному влиянию» [1].

Социальный роман по Востоку, написанный советским беллетристом, должен вбить клин в западно-европейскую художественную колониальную литературу. Он должен занять ее место и действительно широко распространить то «тлетворное влияние», о котором говорит французский критик. Только тогда мы противопоставим стоячей воде старого Востока — живую воду нового.

---

[1] Revue des deux Mondes. 1927 г. 1/IV.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К ВОПРОСУ О КРЕСТЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. Против «теории» т. Друзина [1]

Пятнадцатый номер журнала «На литературном посту» открывает обсуждение вопросов крестьянской литературы. Надо сказать, что обсуждение этого актуального вопроса началось не совсем удачно, вернее совсем неудачно.

Застрельщиком выступил т. Друзин со своей статьей «Путь крестьянской прозы». Статья Друзина представляет груду вопросов, чрезвычайно нечетко поставленных, и в этой груде беспомощно барахтается (по любимому выражению автора) его собственная мысль.

Одним из главных недостатков крестьянской литературы т. Друзин считает ее «натуралистические тенденции». «Недостатки творческого метода современной крестьянской литературы,— говорит т. Друзин,—вытекающие из неразборчивого сплошного фотографирования, без необходимого выделения важного и отбрасывания неважного, делают эту литературу натуралистической» (стр. 19). И далее т. Друзин развивает свою мысль так: натурализм есть следствие «узости кругозора, слабости культурного вооружения, бедности мировоззрения» (там же). Натурализм приводит подчас к извращению действительности, «как и случилось это с повестью Тверяка — «На отшибе». Кулак у него вырос в огромного непобедимого врага, получилось, что трудовое крестьянство не в силах бороться против него» (стр. 18).

Таким образом, один из недостатков творческого метода — «сплошное фотографирование», «натурализм»,—приводит автора «к извращению действительности». Это тем более интересно, что т. Друзин подчеркивает, что к такому извращению действительности приходят «писатели-натуралисты, имея правильную установку». Речь идет об идеологической установке. Следовательно, исключительно способ изображения действительности приводит художника к извращению этой действительности. Тут что-то неладно у т. Друзина.

Натурализм т. Друзин понимает, как известный художественный прием изображения действительности (не будем спорить о терминах — пусть натурализм — художественный прием). Причем т. Друзин отличает «натурализм французский от натурализма русского». Французский натурализм ярок, разнообразен и свидетельствует «о высоком культурном уровне писателя, о богатстве его мировоззрения» (стр. 16). Русские же народники не сумели совершенствовать натурализма. «Это отразилось у них достаточно беспомощным копаньем в мелочах, неумением эти мелочи сделать многоговорящими, обобщающими». Поэтому у них «за деревьями не видно леса».

Итак, французам их натурализм не помешал быть яркими писателями. О Флобере т. Друзин говорит как о большом писателе-натуралисте. Тов. Друзин не ставит ему в упрек «нагромождение деталей» и не подозревает его в извращении действительности. Да и на русских народников зря жалуется т. Друзин. Плеханов русским народникам возводил их натурализм в достоинство. Больше того, он ставил русского натуралиста выше французского. Плеханов подчеркивает, что во Франции «оставаясь верным этому методу, художники могли изучать и изображать своих «мастодонтов» и «крокодилов», и как индивидуумов, а не как членов великого целого» (Плеханов «Искусство и общественная жизнь»), между тем, как русский натуралист-народник «был отзывчив ко всему тому, что составляло

[1] Печатается в порядке обсуждения.

животрепещущий общественный интерес...» и «никакие специальные исследования не могут заменить нам нарисованной ими картины народной жизни» (Плеханов т. X, глава о Глебе Успенском).

Да и сам т. Друзин признает, что и при натурализме можно писать хорошие революционные вещи, что крестьянские писатели, в том числе и Тверяк, умеют «видеть обстановку во всей ее сложности». Получается, что одни крестьянские писатели-натуралисты не извращают действительности, другие извращают ее. В одном произведении Тверяк-натуралист является революционным писателем, в другом — Тверяк-натуралист же предстает перед нами весьма сомнительной фигурой. Очевидно, дело не в натурализме. И Друзин прямехонько скатывается к формализму, когда он революционность произведения ставит в зависимость от художественного приема. Причины извращения действительности надо искать не в художественном приеме, а в чем-то другом. В чем? Причины эти лежат в классовой сущности автора, в его идеологической установке.

Для т. Друзина писатель того или иного класса — это писатель, работающий на «материале» данного класса, а не представитель его. Отсюда революционный крестьянский писатель это то же, что народник-дворянин, занимающийся изображением — «показом» крестьянства в литературе, и революционность его произведений зависит от приема. Народники работали «на крестьянском материале»,— но «жалостливое отношение к крестьянству было у них оборотной стороной их непонимания сущности происходящих в деревне процессов» (стр. 14). Также «на крестьянском материале» работали и дворяне, но они «показывали» деревню, раздувая все отрицательные стороны крестьянского быта, замалчивая все здоровые, стремящиеся к раскабалению, скрывая причины крестьянской нищеты и некультурности...» (стр. 14). «Ведущая часть крестьянской литературы — это та же пролетарская литература.— *А. Б.)* по мировоззрению, но работающая на крестьянском материале» (стр. 18).

В чем же тогда разница между народниками, дворянскими и современными крестьянскими писателями? Тов. Друзин разницу эту видит в том, что нашим крестьянским писателям «надо было показать деревню под другим углом зрения», поэтому «прежде всего революционным крестьянским писателям пришлось бороться с традициями дворянской литературы» (стр. 14).

Очевидно, что под «традициями дворянской литературы» автор понимает «традицию дворян изображать крестьянина невеждой, тупым животным, зверем. Очевидно, что с этими традициями «пришлось бороться» революционным крестьянским писателям. Следовательно т. Друзин думает, что крестьянскому писателю была присуща традиция дворянства в изображении крестьянина. Откуда же у революционного крестьянского писателя эта традиция? Или почему он революционный писатель, если над ним тяготеют дворянские «традиции» в изображении крестьянства? И надо ли нам, чтобы этот «революционный» писатель показывал» деревню, хотя бы и «под другим углом зрения»?

Для Плеханова писатель является «выразителем выдвинувшей его общественной среды», а вовсе не со стороны «показывает» ее. И не только «выразителем» выдвинувшей его общественной среды, «но и продуктом ее», «он вносит с собой в литературу ее (среды—*А. Б.*) симпатии и антипатии, ее мировоззрение, привычки, мысли и даже язык» (статья о Глебе Успенском, т. X.). Народники и дворяне были выразителями своей среды. И дворяне вовсе не замалчивали в крестьянстве «все здоровое, стремящееся к раскабалению».—Они просто «вносили с собой в литературу симпатии и антипатии выдвинувшей их среды, ее мировоззрение, привычки, мысли». Они, если и видели это здоровое, так оно преломлялось в их творчестве как отрицательная сторона крестьянского быта, т. к. несло дворянству зло, грозило смести его.

Дело не только в том, что «показывает» писатель, но и в том какую среду он выражает, представителем какого класса он является. Наши писатели или крестьянские писатели— и тогда смешно говорить о «традициях» дворянской литературы или они — не крестьянские писатели и тогда о них нечего говорить.

Тов. Друзин советует крестьянским писателям «видеть обстановку во всей ее сложности», избегать «тенденции изображать» деревню только пассивной, изменяющейся только под влиянием города». Иначе говоря, т. Друзин учит крестьянского писателя рассматривать деревню под определенным «углом зрения». Видеть действительность под тем или иным углом зрения — это ведь не прием, т. Друзин, а идеологическая установка, и ее вы не припишете каждому писателю. Говорят, что в Америке изобрели железного человека, который может вставать, садиться, махать руками. Тов. Друзин похож на этих

догадливых американцев. Он хочет соорудить такого же послушного писателя. Ну, что ж, в добрый час! Только американцы фабрикуют этих железных человечков для того, чтобы освободиться от рабочего класса, который имеет все-таки голову на плечах. Тов. Друзин тоже хочет освободиться от головы писателя, которая, кстати сказать, всегда классова. Он даже отдает приказ по шеренге крестьянских писателей «не фотографировать действительность» (а то очень скверно получается).

«Скажут, может быть, — говорит т. Друзин: — что такова действительность, но ведь задача художника в том, чтобы эту действительность осознать по-своему, не подчиняясь ей, не фотографируя все без разбора». В этом и будут изживаться недостатки творческого метода крестьянских писателей, их натуралистические тенденции.

Но позвольте! Осознать по своему действительность это уж не метод творчества. Тов. Друзин сознательно или бессознательно, но явно передергивает понятия. Тов. Друзин начал с недостатков творческого метода, затем заявил, что недостатки творческого метода приводят к извращению действительности, делают произведения нереволюционными, и из всего этого сделал вывод:—измени метод творчества — воспринимай действительность не так, как она тебе представляется. Так может рассуждать ремесленник в искусстве — Брик, только классовая сущность его произведений от этого не меняется. Марксисты же не думают, что классовая сущность писателя зависит от художественного приема. Не думают марксисты и того, что писателю можно внушить по видом творческого метода, художественного приема какую-то правильную идеологическую установку, заставить его изображать деревню под тем или иным углом зрения, не видеть действительности так, как она ему представляется. Это — бриковщина, и очень жаль, что она появилась на страницах журнала «На литературном посту».

Далее т. Друзин утверждает, что ведущая часть крестьянской литературы — это «та же пролетарская по мировоззрению, но работающая на крестьянском материале». Это тоже еще требует расшифровки и уточнения.

Если эта литература пролетарская по мировоззрению, то почему нам ее не назвать пролетарской, зачем нам нужно наклеивать на нее марку крестьянской литературы? Одно из двух: или это — пролетарская литература, изображающая деревню, или это — литература, чем-то отличающаяся от пролетарской, имеющая в самом существе своем какую-то специфическую окраску. Этого до сих пор не могут понять досужие критики, и у них один выход: или разбить всю литературу по рубрикам в зависимости от того, что она изображает,— тогда и литературу пролетарскую придется делить на крестьянскую (пишущую о крестьянстве), на нэпманскую (пишущую о нэпмане), на пролетарскую (пишущую о пролетариате); или разбивать литературу по классовой сущности ее — тогда мы должны говорить о пролетарской, крестьянской, ново-буржуазной и т. д. литературе.

О крестьянской литературе в отличие от пролетарской мы можем и должны говорить, и тут нужно поставить все точки над и.

Классовая борьба в деревне все более и более обостряется. Пролетариат поднял огромный крестьянский массив на реконструкцию сельского хозяйства, на борьбу с кулаком. Пролетариат, об'единяя вокруг батрака и бедняка основную массу деревни — середняка, вытравливает из крестьянства его мелкобуржуазные черты. В процессе социалистической стройки происходит отчуждение собственности (колхоз, совхоз, кооперация). Тем самым крестьянство стягивается в единую группу, постепенно становится в одинаковое положение к средствам производства, постепенно займет одно место в производственных отношениях.

Экономическое положение крестьянства ставит его перед необходимостью— или под руководством пролетариата итти по пути обобществления собственности, переводить хозяйство на социалистические рельсы или итти к обнищанию. Путь обобществления собственности приводит крестьянство в конечном итоге к органическому слиянию с пролетариатом, к превращению его в трудящегося социалистического предприятия.

Процесс социалистической стройке в деревне сопровождается ожесточеннейшей борьбой с кулаком. В этом процессе, в этой борьбе крестьянство все более приближается к идеологии пролетариата, глубже и всестороннеи воспринимает ее. Так же, как в изменении экономической базы, он идет за пролетариатом, так и в области сознания, в области идеологии он неизбежно придет к пролетариату. Но до тех пор пока крестьянство, как социальная группа, отлично от пролетариата, до тех пор оно будет иметь свою окраску, мировоззрение, специфическое сознание, обусловленное его местом в производственных отношениях.

Вот почему неверно данное т. Друзиным определение крестьянской литературы. Оно стирает грани между кресть-

янской и пролетарской литературой. Крестьянским писателем будет являться тот, кто выражает в литературе наше советское крестьянство — батрачество, беднячество и идущее за ними середнячество, руководимое пролетариатом. И неважно: будет ли этот писатель писать о деревне или о городе — он везде останется крестьянским писателем так же, как пролетарий везде останется пролетарским писателем. От того, какой материал он возьмет, сущность его творчества не изменится. Он везде будет выражать мировоззрение крестьянства, крестьянства, воспринимающего идеологию и сознание пролетариата, но еще не до конца воспринявшего его, крестьянства, переходящего на рельсы пролетарской идеологии. Тут диалектический процесс идеологической перестройки, процесс, который нашел свое отражение в свое время в резолюции ЦК о художественной литературе. И этого-то процесса не понимает т. Друзин. А резолюция ЦК говорит о задаче «переводить» крестьянских писателей «на рельсы пролетарской идеологии», а не говорит, как о чем-то готовом, о пролетарской идеологии у крестьянских писателей. Крестьянский писатель, как передовой представитель своего класса, естественно должен быть более гибким, более хватким в восприятии пролетарского мировоззрения и должен своим творчеством всемерно содействовать и ускорять тот процесс внедрения в крестьянские массы пролетарской идеологии, который уже начался.

В связи с этим встает вопрос: не перегнуть бы палки в другую сторону, не узаконить бы утверждением специфики крестьянской литературы в отличие от пролетарской, литературы правой, литературы, выражающей мелкобуржуазные устремления крестьянства, при известных условиях переходящую в контр-революционную литературу.

Эта опасность есть. Есть она еще и потому, что среди литературных работников наблюдается тенденция выделить группу писателей середнячества. Эта тенденция, собственно говоря, способствует, в конечном счете, легализации кулацкой литературы. Середнячество не является особой группой. Подавляющая часть этой группы идет за батраком и бедняком, следовательно, за пролетариатом. Она постепенно вливается в колхоз, совхоз. Таким образом, все ее сознание тянется к сознанию крестьянства, реконструктирующего сельское хозяйство, перестраивается на пролетарский лад. В этом случае писатели — выразители советского крестьянства, есть и выразители этой группы. Или середняк превращается в кулака. Тогда выразитель его есть выразитель деревенского капиталиста. Мы можем говорить только о первой группе, об основной массе середняка, но ее нет нужды выделять из общей крестьянской литературы.

Но середнячество такая группа, которая наиболее подвержена мелкобуржуазным шатаниям. В ней идет наиболее жестокая борьба мелкобуржуазных и социалистическим тенденций. И это в нашей крестьянской литературе достаточно отразилось. Мы имеем хотя бы такого писателя, как Логинов-Лесняк. Этот писатель бесспорно стоит на правом фланге крестьянской литературы. В его произведениях сталкиваются мелкобуржуазные и социалистические тенденции и, надо сказать, если последние не терпят полного поражения, то победа их всегда сомнительна.

Для Логинова закон природы превыше всего, деревня крепче города, классовая борьба обязательно замаскирована то идеей бога, то идеей совершенствования; совхоз у Логинова вырисовывается барской усадьбой, коммунисты в большинстве случаев — маленькие людишки. Над всем этим парит идея человека, который пишется с большой буквы. Это, разумеется, правые настроения. При известной ситуации они рискуют превратиться в явно враждебную нам позицию. И все-таки мы пока не вычеркиваем Логинова-Лесняка из списков крестьянских писателей. Во всякой социальной группе есть голова и хвост. Так вот, Логинов-Лесняк — хвост в крестьянстве (середняк). Но голове не всегда выгодно отрубать хвост. Мы не можем отрубить середняка. Мы тянем его за собой, обрубая его мелко-буржуазные росточки.

Так же, как мы ведем борьбу за изживание мелко-буржуазных тенденций в крестьянстве, в середняке особенно, так же мы будем бороться с этими тенденциями в литературе. Но мы не припишем этих тенденций, по примеру т. Друзина, недостаткам творчества, натуралистическим тенденциям у крестьянских писателей Нет, корни лежат глубже, и не надо тут закрывать глаза или отводить внимание в сторону.

А. Бабушкина

2. Пути крестьянской литературы

Сборник под редакцией П. Замойского и др., изд. «Московский рабочий» Москва—Ленинград, 1929 г., стр. 168, ц. 1 р. 25 к., тир. 4 000 экз.[1].

Самый перечень статей сборника показывает, что он ставит своей задачей выработку опорных пунктов в организации литературно-художественной политики ВОКП.

Прежде всего остановимся на вопросе о единстве позиции различных статей сборника. Это в сущности основное требование, которое может быть пред'явлено к сборнику, ставящему своей целью определенное руководство.

Конечно, это единство следует искать прежде всего между официально принятой ЦС ВОКП платформой крестьянских писателей и резолюцией ЦК ВКП(б) о политике партии в области художественной литературы.

Сравнительный анализ платформы и резолюции показывает, что между ними нет полного единства в основном вопросе: кого считать крестьянским писателем.

Резолюция ЦК партии говорит о том, что крестьянские писатели — это ближайшие союзники пролетарских писателей. «Задача,— говорит резолюция,— состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравляя из их творчества крестьянских литературно-художественных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство».

Таким образом резолюция исходит из общей политики партии по отношению к крестьянству, как основному союзнику рабочего класса. В резолюции дано диалектическое отражение классовой сущности крестьянского писателя, как представителя общественного класса, исторический путь которого направляется об'ективным ходом вещей в сторону прочного союза с пролетариатом. Поэтому крестьянский писатель, по мысли резолюции, отражая бытие бедняцко-середняцкой массы в его диалектическом движении, об'ективно держит курс на пролетариат и со временем переходит в пролетарские кадры писателей.

Таким образом, крестьянского писателя резолюция берет в процессе его движения, а не как данную в своей неподвижности категорию.

Если теперь обратиться к тому, что говорит платформа ВОКП, то сразу же бросается в глаза недиалектическое разрешение вопроса.

Во втором абзаце платформы мы читаем: «Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов в своих художественных произведениях организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону борьбы с мелкобуржуазной ограниченностью — за коллективизацию хозяйства, быта и психики в сторону строительства социализма и в конечном счете, в сторону бесклассового коммунистического общества». То, что в резолюции ЦК партии было дано в диалектической форме, здесь представлено в механистическом плане: передав своими словами, но «с большой определенностью» то, что говорит резолюция, пленум ВОКП допустил грубейшее извращение. По мысли приведенного абзаца выходит, что крестьянский писатель—своеобразный двуликий Янус: идеология его пролетарская, а психология — крестьянская (поскольку он оперирует крестьянскими образами). Крестьянский поэт — не представляет собой единства классового бытия, ибо его сознание определяется двумя классами: идеология — бытием пролетариата, а психология — бытием крестьянства.

Очевидно, что тезис о природе творчества крестьянских писателей не нашел достаточного научного освещения на пленуме.

Если крестьянский писатель отражает в художественных образах социальное бытие крестьянства, то идеология его также выражает бытие крестьянства, потому что идеология писателя заключена в системе его художественных образов, выражающих определенное общественное отношение.

Между тем, по мысли пленума выходит, что писатель стоит над художественными образами своего творчества, что он лишь приспособляется к особенностям восприятия читателя-крестьянина.

Нет особой нужды в доказательстве того, что это равносильно той идеоло-

---

[1] В состав сборника вошли следующие статьи:

И. Лазьян — Политика партии в деревне и крестьянская литература.

А. Дорогойченко — Пути крестьянской художественной литературы.

П. Замойский — Задачи крестьянского писателя.

А. Ревякин — Лицо современной крестьянской литературы.

А. Субботин — За живых — против мертвых.

А. Богданов — О писательской учебе.

М. Беккер — О крестьянской поэзии.

Платформа крестьянских писателей, принятая на расширенном пленуме ЦС ВОКП 15—17 мая 1928 года. и резолюция ЦК ВКП (б) о политике партии в области художественной литературы.

гической точке зрения, которая пропагандируется теорией «социального заказа». По этой «теории» писатель обладает той завидной способностью перевоплощения, которая позволяет ему оставаться на высоте требований современности, удовлетворяя заказ потребителя любой классовой группы. Общественное сознание классов детерминировано общественным бытием, но писатель «божьей милостью» исключен из действия этого всеобщего закона.

Однако, зерно истины в оспариваемом мною тезисе несомненно имеется, только зерно это показано уродливо. Очевидно, пленум хотел сказать то же самое, что было сказано задолго до него в известной резолюции ЦК партии (см. выше).

Но при обсуждении вопроса произошла подмена одного понятия другим, именно: тенденция развития творчества крестьянских писателей была снята, а на ее место была подставлена конечная цель.

Диалектическое разрешение вопроса о том, кого считать крестьянским писателем, данное в резолюции ЦК ВКП(б), заменено недиалектическим разрешением ЦС ВОКП.

Необходимо отметить, что если в определении психоидеологической природы крестьянского писателя платформа допускает существенную ошибку, то в дифференциации крестьянских писателей она стоит на четкой большевистской позиции.

«Крестьянские писатели, — говорит платформа, ничего общего не имеют с писателями, выражающими в своих произведениях идеологию и чаяния эксплоататорской части современной деревни — кулачества».

Обратимся к основным статьям сборника.

Статья А. Дорогойченко «Пути крестьянской художественной литературы» посвящена трем основным вопросам: о лжекрестьянских писателях, о крестьянских писателях и о творчестве.

К числу лжекрестьянских писателей автор относит Клюева, Клычкова и Есенина. Несмотря на некоторую беглость характеристики творчества названных писателей, Дорогойченко достаточно убедительно показывает, что основные образы, художественный метод названных писателей не выражает общественное бытие бедняцко-середняцкой массы крестьянства. Развивая позитивную часть своего доклада — статьи, Дорогойченко настойчиво подчеркивает, что «писатели из крестьян, которые восприняли пролетарскую идеологию и которые в своем художественном творчестве пользуются крестьянскими образами,— только эти писатели могут называться крестьянскими писателями».

Методологическая ошибка основной посылки Дорогойченко не мешает ему в дальнейшем правильно освещать различные вопросы, поднятые в статье, но это именно происходит потому, что он не руководится этой посылкой.

Вскрывая социологический эквивалент творчества попутчиков, автор выводит идеологию этой группы писателей из их художественных произведений, тем самым, помимо своей воли, доказывая, что идеология писателя дана в системе его художественных образов. Но лишь только автор пытается определить понятие крестьянского писателя, как вновь возвращается к ошибочному тезису.

Говоря о разнородности крестьянских писателей в их массе, Дорогойченко попадает на правильные позиции, когда, в согласии с резолюцией ЦК о художественной литературе, говорит о необходимости «переводить крестьянских писателей на рельсы пролетарской идеологии». Но автор уверен, что между предложенным им решением вопроса о крестьянском писателе и резолюцией нет никаких расхождений.

Статья Замойского трактует о трех задачах крестьянского писателя: «работать, учиться и писать». Автор широко понимает эти задачи, выдвигая принцип единства активного участия в социалистическом строительстве, теоретической учебы писателя и его художественного творчества.

Статья Ревякина представляет собой попытку диференциации крестьянских писателей на три социально-экономические группы. Эта диференциация как нельзя более своевременна. Но высказывая ряд правильных замечаний о беспринципности наших литературных организаций, зачисляющих в свои ряды писателей различных социальных групп, сам допускает несомненную натяжку, когда включает в число крестьянских писателей Новикова-Прибоя. Статья Ревякина интересна и с другой стороны, как попытка дать беглую схему литературных жанров современной крестьянской литературы. Большое внимание уделяет Ревякин анализу драм крестьянских писателей. Однако, этот анализ ограничивается указанием на формальные недостатки в творчестве писателей-драматургов. Да и сам автор недостаточно основательно трактует вопрос о драме, как особом жанре художественного творчества. Так, например, он полагает, «что драма изображает процесс замкнутого в себе события, случай (Гоголь —«Женитьба») в противоположность эпосу, где развертывается история

жизни, заключающая цепь событий и случаев (Гоголь — «Мертвые души»)».

Нет надобности доказывать, что это совершенно не соответствуют действительности. Самый основной недостаток этой статьи заключается не в ошибках, подобно указанным, а в том, что автор не об'ясняет отрицательных фактов, свойственных художественным произведениям ряда крестьянских писателей. Он говорит: «Случайность, неожиданность играют излишне большую роль в крестьянском эпосе, снижая его художественность». А между тем случайности, о которых говорит автор, в значительной своей части становятся необходимостями, если подойти к ним с точки зрения социологического анализа. Например, совсем не случайны «случайности» в повести «Уклон» Ив. Никитина. Уже характерно то, что эти «случайности» повторяются и в других рассказах писателя, в которых изображается соответствующая социальная среда.

Статья Беккера о крестьянской поэзии посвящена суммарному описанию основных мотивов и жанров. Автор показывает, что значительная часть начинающих крестьянских поэтов не имеет своей поэтической культуры, что поэты переживают полосы исканий. Беккер выдвигает лозунг: «Против ограниченностей — за выработку широкого мировоззрения». Он думает, что осуществление этого лозунга расширит мотивы поэтического творчества и освободит писателя от взгляда на мир со своей колокольни.

Все это, конечно, правильно, но правильное положение лишено достаточной основы. Беккер должен был бы дать социологию поэтического творчества крестьянских писателей, показать закономерность в развитии его, чтобы на основании этих данных построить практические указания более глубокого значения, чем те, что даны в статье.

Несмотря на ряд недочетов сборника, следует определенно признать, что он имеет большое значение для развития крестьянской художественной литературы. В сущности это пока единственная работа, которая позволяет ориентироваться в разнообразии художественного творчества крестьянских писателей.

Г. Федосеев

Алексей Демидов — Село Екатерининское, роман. „Земля и фабрика", стр. 418, ц. 2 р. 65 к.

«Село Екатерининское» заканчивает трилогию, предыдущими томами которой были «Жизнь Ивана» и «Вихрь». Дореволюционная Россия, первые дни революции, эпоха гражданской войны и последние годы — таковы этапы, отображенные в триологии.

Эти этапы большого исторического значения нашли в Ал. Демидове своеобразного художника. Действительность он воспринимает не как диалектически развивающейся процесс, не как закономерную смену различных явлений, а как их механическое соединение. Развитие для него — не процесс, а сумма. Эти положения могут показаться не совсем верными, ибо Демидов рассказывает, например, как крестьяне приняли революцию, как громили имение, как затем организовали комбед, об'единились в коммуну и т. д. Но рассказать события в их временной связи еще не значит понять эти события в их закономерности. И это настолько сложно, что только очень немногие из советских писателей до этого поднимаются. Художественный метод Демидова может быть сведен к регистрации явлений. Он их почти не отбирает. Почти все кажется ему одинаково важным и значительным.

«Теперь, товарищи, надо выбрать секретаря, чтобы протокол записать.

— Из забойщиков надо!

— Своего брата надо!

— Для этого надо кого-нибудь из служащих!

— Воронина!

— Воронина нельзя,— об'яснил Власов,— он будет делать доклад.

— От имени ячейки предлагаю избрать в секретари товарища Егорова,— оглянулся Власов на худого блондина.

— Кто он такой? — загалдели рабочие.

— Просим, просим».

Зачем понадобилось Демидову приводить это вовсе не типичное, а совершенно обычное, всем знакомое избрание секретаря? А затем он стремится ничего не пропустить, а его художественный принцип отбора лишь временная связь событий. Раз «а» предшествует «б», то он выписывает азбуку подряд, не изменяя ее порядка. Приведу еще пример:

«В купэ вагона, кроме Воронина, оказалось трое: один артист еврейского театра (уезжавшего на гастроли в Европу), затем молодой красноармеец в штатском и хорошо одетый молодой еврей, ехавший до Орши». Ни один из этих спутников Воронина дальше в романе не действует, ввод их в роман совершенно излишен — но Демидов все-таки считает своей обязанностью их перечислить. В этих случаях принято говорить о художественных недостатках. Но указание на такие недостатки еще ничего не об'ясняет. Для Ал. Демидова такое отношение к действительности есть мировоззрение, он

так видит мир, и дело, следовательно, не в том, что он имеет «недостатки», а в том, **почему** он их имеет.

Выше я упомянул, что Демидов перечисляет явления. Это не случайная обмолвка — для него характерен, так сказать, номиналистический метод описания, он называет явления, мир для него — прежде всего количество. В его произведениях важен не угол зрения, а изображаемое, не подход, а описываемое. Стиль Демидова — это стиль наивного реализма. Когда Демидов обращается к случайному социальному материалу (а случайность для него неизбежна, поскольку он не видит закономерной связи явлений), то получаются творческие провалы, роман принимает предельно серый облик (образы Берлина, роман Воронина с Казимирой Иосифовной и т. д.). Но с другой стороны, обращение Демидова к революционному быту позволяет ему сделать ряд превосходных картин (очищение графского склепа, продотряд, некоторые места дневника учителя, история конокрада Кондратия). Но в то же время и здесь отсутствие точки зрения (в философском смысле) приводит Демидова к тому, что, давая бесконечное нагромождение деталей, он упускает основное. Это основное — переход крестьянства к новым формам жизни, создание ими коммуны. Поскольку Демидову чуждо понятие процесса, он и возникновение коммуны дал как-то между прочим, совершенно не вскрыв этого решающего переломного этапа в истории его героев-крестьян. Вышло так, что прошлое, так хорошо переданное в «Жизни Ивана», исторически снимается тем, что Иван Воронин становится художником, коммунистом и женится на польской графине. Демидов не понял, что оно, наоборот, снимается тем, что крестьяне создали коммуну. Об'ективный смысл последней им не был понят, ибо создание коммуны он опять передал чисто внешне, он идеализировал ее, ибо не мог передать в реальных очертаниях. Он пишет:

«К тому времени у коммуны на Петровском бугре выросли восемь домиков, обращенных окнами на юго-запад, молодой сад, только что посаженный, да достраивался уже покрытый железом общий дом, сделанный из большого амбара...» Коммунары по праздникам проводят время в общем зале, живут дружно и т. д. Все это прекрасно, но Демидов здесь так идеализировал действительность, что от нее ничего не осталось. Он перечисляет массу хороших вещей, но показать их не может. Поэтому его идеальная коммуна — мертва, как бы он ее ни расписывал.

В «Селе Екатерининском» нет закономерного развития об'ективных процессов нашей революционной действительности, они предстают как факты, а не как явления. А раз так, то не может быть и процессов суб'ективных, роман носит безличный характер, ибо психология персонажей не получает своего отражения в явлениях, а явления — в психологии. Каким образом Казимира Иосифовна стала из графини советской — и искренной к тому же — работницей? Нам приходится верить Демидову на слово, ибо перерождения ее мы не видим. Каким образом вытравились у крестьян их частнособственническое отношение к действительности? Как Карась из бандита стал защитником бедноты? Как проделал Воронин свой путь снизу вверх? Демидов дает нам ряд событий, в которых участвуют его герои, но эти события не влекут за собой отношений. А когда Демидов пытается дать отношение, то получаются такие пассажи:

«Я снова увидел тот ослепительно прекрасный образ девушки, которой когда-то восхищался, ради счастья которой я мог бы отдать жизнь. Ту, смутившую мою душу юную красавицу-польку, благодаря встрече с которой я постиг и навсегда понес в жизнь мучительно-сладкое познание беспредельной неразделенной любви, способной на высшую жертву... Благоухают в моем сердце цветы, которыми я хотел бы украсить мои новые произведения... Благословенная жизнь. Благословенны вы, моя вдохновительница». Так пишет коммунист Воронин польской графине! Недурная психология коммуниста!!

Жанр психологического романа — не жанр Демидова. Действительность, не связанная с крестьянством — не его действительность. Жанр романа — не жанр Демидова, ибо роман предполагает восприятие бытия как процесса об'ективного (роман философский, политический, производственный) или суб'ективного (роман психологический). Демидов имеет все данные для роста, но только не на его теперешнем пути. Ему нужно начинать сначала, ибо его сила — в непосредственном изображении действительности, в передаче того, что есть перед глазами.

Ник. Прокофьев

Библиографический указатель «Красной нови» за 1929 г.

(Цифры в скобках — №№ журнала)

Художественная проза

Гл. Алексеев. «Дифтерит» — рассказ (4).
Андрей Белый. «Апостолы гуманности» (7); «Кариатиды и парки» (9); «Тимирязев и Анучин» (10).
Л. Борисов. «Свои и чужие» — рассказ (8).
Ив. Вольнов. «Орел» — рассказ (5).
Федор Гладков. «В тот вечер» — отрывок из романа «Энергия» (1).
М. Громов. «Лошевод» — роман (7, 8).
Гр. Дальний. «Случай» — рассказ (9).
Виктор Дмитриев. «Сын» — рассказ (2); «Молодой человек» — рассказ (12).
Дэли. «Рдяные пазори» — повесть (8).
Алексей Жабров. «Мешок с костями» — рассказ (7).
Всеволод Иванов. «Барабанщики и фокусник Матцуками» — рассказ (2); «Микаил-Серебряная дверь» повесть (3).
Юлий Каден-Бандровский. «Косматый кулак» - глава из романа «Тадеуш» (3).
А. Кирстен. «Теруань» — отрывок из романа (12).
Михаил Кольцов. «Переделка американца» (3).
Л. Леонов. «Усмирение Бададошкина» — трагикомедия (3).
Вл. Лидин. «Выстрел» — рассказ (3).
С. Малашкин. «Добрый крестьянин» — рассказ (9).
Сергей Марков. «Цыганский узел» — рассказ (1).
Ник. Никитин. «Шпион» — роман (4, 5).
Андрей Новиков. «Обиход вольного разума» — рассказ (1); «Причины происхождения туманностей» — повесть (2).
Иван Новиков. «Красная смородина» — повесть (11).
Лев Остроумов. «Три-ноль-пять» — повесть (8).
П. Павленко. «Тринадцатая повесть» (2).
Александр Перегудов. «Фарфоровый город» — роман (5, 6, 7).
С. Подьячев. «Мои записки» (1); «Моя жизнь» (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12).
Александр Поповский. «Анна Калымова» — роман (10, 11, 12).
Борис Ринтов. «Отпор» — повесть (1).
Як. Рыкачев. «Профессор» (10).
Дм. Сверчков. «Белая страница» — рассказ (11).
С. Сергеев-Ценский. «Блистательная жизнь» - повесть (3).
Скиталец. Отрывки из романа «Дом Черновых» (6, 11).
Мих. Слонимский «Ровесники» — рассказ (9).
А. Сотсков. «Троглодиты» — рассказ (6).
Ал. Толстой. Сцены из трагедии «Петр I» (1).
В. Уваров. «Кусок мяса» — рассказ (10).
Р. и О. Эйдеман. «Вихрь в сопках» — рассках (4).
Р. Эйдеман. «Пятьсот» — рассказ (12).
Илья Эренбург. «10 л. с.» — роман (9, 10); «Убийство Матеотти» — рассказ (11).

Стихи

Сергей Алымов. «Рассвет со стороны Китай-города» (6).
А. Безыменский. «Рупор» — поэма (3).
С. Городецкий. «Особенный человек» (памяти Н. Г. Чернышевского) (2).

Антон Гук. Итальянские мотивы «Изонцо», «Апеннины», «Рим» (7).
Сергей Клычков. Из книги «Лукавая луна» (4).
Конст. Липскеров. Из северных стихов (2); «Красная Поляна» (6); «Баканщик», «Мы забываем все, что было...», «В просторах серебряной ночи...» (11).
Вл. Луговской. «Утро республик», «Делатель вещей», «Предательский удар» (2); «Гражданская панихида» (4); «Любовь», «Ночь» (6).
Сергей Марков. «Трубка», «Татуировка», «Сам не знаю, с какого сглаза...» (8); «Кровь в Таджикистане» (10).
А. Миних. «Острый человек», «Сапоги», «Ремесло нашего дома» (5); «Рассказ о великой обороне колхоза», «Катастрофа в домовом масштабе», «Ночной корректор» (7); «Рождение безымянного героя» (10), «Дальневосточный часовой» (11).
В. Наседкин. «Утро совхоза» (11).
Борис Пастернак. Четыре стихотворения (5); «Спекторский» — поэма (окончание) (12).
Ив П иблудный. «Боевому товарищу» (10).
Антон Пришелец. «Чехов» (7).
Илья Садофьев. «Где ты» (11).
Г. Санников. «Куранты» — поэма (1).
Н. Тихонов. «Средневековье на дому», «Перелезая через ворота ночью», «Вид на крыши» (3).
Ник. Ушаков. «Сказанье старых времен» (8).
Геннадий Фиш. «О совхозе», «РСФСР», «Партитура» (9).
Мария Шкапская. (10).

Отдел общественно-политический и мемуарный

Г. Войтинский. «Захват КВЖД» (9).
Бор. Волин. «С отчетом правительства СССР» (4).
Я. Ганецкий. «Арест Розы Люксембург» (из воспоминаний) (2); «Из воспоминаний» (Перевозка нелегальщины из-за границы, встречи с полицией) (7); «Из тюремных мытарств» (9).
С. Канатчиков. «Из истории моего бытия» (2, 3, 4, 5).
Н. Корнев. «Десять лет Версаля» (8); «Автопортрет социал-соглашателя» (10); «Густав Штреземан» (11).
А. Лозовский. «Коммунизм бродит по всему миру» (к 10-летию Коммунистического Интернационала) (2); «Новый управдел английской буржуазии» (7).
Н. Мещеряков. «Из литературной деятельности Воровского в Одессе» (7).
Назыр. «Тревоги фашизма» (6).
М. Некрич. «Вопросы международной жизни» (4).
П. Никифоров. «Муравьи революции» (11).
Ф. Нотович. «Международное политическое положение 1928 г.» (1).
Обсервер. «Японский империализм перед большими боями» (5); «Международное обозрение» — «По наклонной плоскости» (по поводу английских выборов) (7), «Международное обозрение» — «Первые шаги Макдональда», «Репарационный узел», «Смена кабинета в Японии» (8); «Международное обозрение» — «Манчжурский конфликт», «Проблема морских вооружений» (9); «Финансовая экспансия Америки» (10); «Международное обозрение» — «Вырождение реформизма в Англии», «Австро-марксисты за работой», «Макдональдовщина в Австралии» (12).
Ф. Раскольников. «Либерал или черносотенец» (по поводу воспоминаний Б. Н. Чичерина) (6); «Пионер марксистского литературоведения» (В. М. Фриче) (9).
Г. Сафаров. «Корни американизма в рабочем движении» (12).
А. Серебровский. «Аляска» (3).
Старый журналист. «Литературный путь дореволюционного журналиста» (8).
Ж. Шаварош. «Соединенные Штаты и Латинская Америка» (3).

За рубежом

Д. Аркин. «За Японским морем» (9).
Г. Гастов. «Поездка в Аравию» (6, 8, 10, 12).
Э. Миндлин. «В Норвегии» (8).
П Павленко. «Стамбул и Турция» (3, 4).
Илья Эренбург. «В Словакии» (1).

От земли и городов

Р. Акульшин. «Зарисовки» («Ярмарка», «Земля», «Настроения») (3).
Глеб Алексеев. «Дела и люди Донбасса» (9).
Анатолий Бориневич. «В казакских аулах» (5).

Макс Зингер. «Лед, разломанный людьми» (12).
Павел Максимов. «Люди в саклях» (Горная Чечня) (2).
Федор Малов. «Деревенское» («Жизненная коллегия», «Возраст земли», «Три хозяйства», «Хозяин общества») (2); «Граммофон отца Афанаса» (7).
Конст Минаев. «У нераскопанных миллионов» (4).
Дм. Стонов. «Повести об Алтае» (10, 11).
Георгий Устинов. «Рыбинск и рыбинцы» (1).

Литературные края

Л. Авербах «О культурной преемственности и пролетарской культуре» (6).
Ив. Анисимов. «Стефан Цвейг» (4); «Курт Клебер» (8).
Осип Бескин. «Клоп» Маяковского (7).
С. Вельтман. «Лицо и маска» (А. С. Грибоедов в «Вазир-Мухтаре» Ю. Тынянова) (5); «Живая и стоячая вода» (12).
И. Бороздин. «Из воспоминаний о Фриче» (10).
В. Вересаев. «В двух планах» (о творчестве Пушкина) (2).
В. В. Воровский. Неизданные литературные работы — статья о Горьком, «Распад в темном царстве» (4); «В кругу и вне круга», «Ева и Джиоконда» (6)
С. Динамов. «Тихий Дон» Шолохова (8).
Мих. Добрынин. «Эволюция творчества К. Федина» (9); «В. М. Фриче» (10).
А. Ефремин. «Поэт революционного подполья» (С. А. Басов-Верхоянцев) (9).
Федор Иванов. «Фетишисты факта» (9); «Евангелие конструктивизма» (10).
С. Канатчиков. «О судьбах попутничества» (11)
Юджин Лайонсе. «Литература торжествующей пошлости» (6).
Роза Люксембург. «Адам Мицкевич» (6).
Н. Мещеряков. «Заметки публициста» (3); предисловие к неизданным литературным работам В. В. Воровского (4).
А. Михайлов. «Пути развития революционной живописи» (12).
В. А. Павлов. «Театр Чехова» (7).
Валериан Полянский. «Кто же является пролетарским писателем» (заметки публициста) (3); «О мутной воде» (5).
Д. Тальников. «Литературные заметки» (Искусство и действительность. Художественное разоблачение мещанина. «Сейсмограф» искусства. Современная деревня в изображении беллетристов. «Трансвааль» К. Федина. Писатель в колхозе. «Бруски» Панферова. Литература «факта» и художественная правда. «Необыкновенная» деревня Л. Леонова и Андр. Платонова) (1); «Литературные заметки» («Писатель болен». Робинзонада «эстетизм». «Святая блудница» цыганских романсов. В поисках «сладостной легенды». Мера нашего времени) (2).
М. Храпченко. «Творческие пути пролетарской литературы» (11).

Критика и библиография

Р. А—н. А. Пестюхин. «Тундра» — стихи (3).
В. Архангельский. М. Слонимский «Западники» (5).
А. Бабушкина. «Против теории» тов. Друзина (12).
А. Бескина. В. Кирпотин «Радикальный разночинец» Д. И. Писарев (5).
О. Бескин. Адуев, Н. Панов (Д. Туманный), Вл. Луговской, В. Саянов, П. Незнамов — стихи (10).
Эм. Бескин. С. Радлов «10 лет в театре» (9).
И. Бороздин. «Летописи марксизма», тт. V, VI (2).
В. Буш. В. Чешихин-Ветринский «Гл. Ив. Успенский» (6).
К. Вейдемюллер. И. И. Рубин «Очерки по теории стоимости Маркса» (3).
В. Глебов. Ив. Новиков «В гостях у себя» (2).
Н. Гудков. И. Жига «Начало», «Новые рабочие», «Думы рабочих...» (1).
Ю. Данилин. А. Моруа «Путешествие в страну эстетов» (3).
А. Дивильковский. Д. Бедный, Собр. соч., тт. XI—XII (1); Д. Бедный, Собр. соч., т. XIII (2).
Ф. Ивачов. В. Каверин «Скандалист или вечера на Вас. остр.» (5); Ю. Либединский «Поворот» (6); «Девки» Кочина (8); М. Шагинян «Кик», «Голова Медузы» (10).
Б. Киреев. Л. Грабарь «Семейная хроника» (5).
В. Красильников. Среди стихов (Саянов, Обрадович, Санников, Жаров) (2); Ив. Катаев «Сердце», Як. Коробов «На острие ножа», Н. Борисов «Укразия» (3); об альманахах «Зиф» (1); Д. Четвериков «Солнечные рассказы» (6).
М. Майзель Н. Ляшко «Минучая смерть» (1).
С. Малахов. Н. Берендгоф «Бег» (2); Е. Полонская «Упрямый календарь» (6).

И. Марцинский. Бела Иллеш «Тисса горит» (5); Фр. Верфель «Однокашники», И. Рот «Циппер и сын», Зегерс «Восстание рыбаков», А. Барбюсс «Правдивые повести», П. Вайян-Кутюрье «Бал слепых», Л Гийю «Народный дом» (7); Гофманиана (8); Арт. Голичер «Жизнь современника» (9).

А. Михайлов. М. Сыркин «Искусство и техника», А. К. Топорков «Технический быт и соврем. искусство» (4).

С. Намов. Я. Шведов «Юр-базар» (6).

Л. Поляк. В. Шкловский, материалы и стиль в ром. Л. Н. Толстого «Война и мир» (1); Вас. Андреев «Преступление Аквилонова» (2); Творчество народов СССР (Д. А. Лебедев «Домик на Сакмаре», В. А. Лебедев «Мамет и Кыдырбай», Б. Глазман «На волоске», Тар. Гуща (Якуб Колас) «В глуши Полесья», Цишка Гартный — повести и рассказы, А. М. Ширванзаде «Злой дух», А. М. Амиран-Санан «Мудрешкин сын») (4); А. Ефремин «Громовая поэзия» (5).

Ник. Прокофьев. А. Яковлев «Человек и пустыня» (10); «А. Демидов и село Екатерининское» (12).

С. Розенталь. «Литература анекдота» (1).

Ник. Сергеев. М. Платошкин «В дороге» (7); Г. Шилкин «Страшная Арват» (8); В. Кин «По ту сторону» (9).

А. М. Смирнов-Кутачеcкий. Воинствующий художник (М. Кольцов, Собр. соч.) (6); Евг. Бурмантов «Смерть Уара» (7); П. Щеголев «Книга о Лермонтове» (10); Мастер очерка (А. И. Свирский, Собр. соч.) (11).

Ю. С. Матьез. «Борьба с дороговизной...» (1).

Л. Тимофеев. Вл Юрезанский «Костры» (7).

Г. Федосеев. Г. Рыклин «С подлинным верно» (6); «Очерки по истории русской критики» ред. А. В. Луначарского и В. Полянского (8); С. Елпатьевский «Крутые Горы» и «Воспоминания» (9); «Художник деревни» Ив. Касаткин (собр. соч.) (11); «Пути крестьянской литературы» (12).

Н. Фельдман. Танисаки Сэйдзи «Гейша Эйко» (6).

М. Храпченко. «Голос рабочего читателя» (6),

Издатель: Государственное издательство

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер. 4, тел. 5-63-12

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Виктор Дмитриев — Молодой человек — Рассказ . . . 5
Р. Эйдеман — Пятьсот тысяч — Рассказ 32
Александр Поповский — Анна Калымова — Роман (Окончание) 46
А. Кирстен — *Теруань* (Отрывок из романа) . . . 87
С. Подьячев — Моя жизнь (Продолжение) . 105

Б. Пастернак — Спекторский (Окончание) — Стихи 119

Обсервер — Международное обозрение 125
Г. Сафаров — Корни американизма в рабочем движении . 139

За рубежом

Г. Гастов — Поездка в Аравию . 150

От земли и городов

Макс Зингер — Лед, разломанный людми . 166

Литературные края

А. Михайлов — Пути развития революционной живописи . 190
С. Вельтман — Живая и стоячая вода . . 203

Критика и библиография

А. Бабушкина — Пути крестьянской литературы 112
Г. Федосеев — Пути крестьянской литературы 216
Н. Прокофьев — Алексей Демидов „Село Екатериненское“ — Роман . 218

Библиографический указатель „КРАСНОЙ НОВИ“ за 1929 г. 220



Госиздат РСФСР

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1930 г. НА ЖУРНАЛ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ,

Год издания 10-й

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 12 КНИГ В ГОД

Ответственный редактор Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

Редакционная коллегия: В. Н. Васильевский, Б. М. Волин, . В. Иванов, С. И. Канатчиков, Ф. Ф. Раскольников

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Художественная проза и стихи. 2. Научно-публицистический отдел. 3. От земли и городов. 4. За рубежом. 5. Литературные края. 6. Критика и библиография,

В 1930 г. БУДУТ ПЕЧАТАТЬСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

Р. Акульшина, Глеба Алексеева, А. Аросева, Вл. Бахметьева, Андрея Белого, Л. Борисова, С. Буданцева, В. Вересаева Артема Веселого, Ивана Вольнова, М. Горького, Ф. Гладкова, В. Дмитрева, А. Демидова, Ив. Евдокимова, С. Заяицкого, И. Жиги, Вс. Иванова, В. Каверина, А. Караваевой, В. Катаева, И Катаева, П. Кофанова, В. Кина, С. Клычкова, М. Ко ьцова, Б. Кушнера, Б. Лавренева, Леонида Леонова, Ю. Либединского, Вл. Лидина, Н. Ляшко. С. Малашкина, А. Малышкина, С. Маркова, Х.-М. Мугуева, Андрея Новикова, Н. Никитина, Л. Никулина, Г. Никифорова, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Ю. Олеши, П. Павленко, Андрея, Платонова. Б. Рингова, П. Романова, Я. Рыкачева, Д. Сверчкова, С. Семенова, А. Серафимовича, Г. Серебряковой, М. Слонимского, А. Толстого, К. Тренева, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, М. Шагинян, И. Эренбурга, А. Яковлева и др.

ПОЭМЫ И СТИХИ:

П. Антокольского, Н. Асеева, Д. Бедного, Э. Багрицкого, А. Безыменского, М. Герасимова, С. Городецкого, А. Жарова, В. Инбер, В. Ильиной, В. Казина, В. Кириллова, С. Кирсанова, К. Липскерова, В. Луговского, В. Маяковского, С. Обрадовича, П. Орешина, А. Миних, Б. Пастернака, Н. Полетаева, П. Радимова, Вс. Рождественского, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, М. Тарловского, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, И. Филипченко, М. Шкапской и др.

В научно-публицистическом и литературно-критическом отделах журнала примут участие

Л. Авербах, И. Анисимов, И. Беспалов, В. Бонч-Бруевич, И. Бороздин, А. Бубнов, Н. Бухарин, Вл. Васильевский, Б. Волин, Я. Ганецкий, М. Гельфанд, С. Гусев, А. Дивильковский, С. Динамов, М. Добрынин, В. Ермилов, А. Ефремин, А. Енукидзе, А. Зонин, С. Ингулов, М. Калинин, С. Канатчиков, П. Керженцев, Феликс Кон, Н. Крупская, В. Киршон, П. Лебедев-Полянский, А. Лозовский, А. Луначарский, Д. Мануильский, И. Маца, Н. Мещеряков, В. Молотов, Р. Пикель, Н. Осинский, Г. Ольховый, В. Переверзев, Г. Поспелов, М. Н. Покровский, Н. Пиксанов, Ф. Раскольников, С. Розенталь, Ф. Ротштейн, Д. Рязанов, М. Савельев, И. Сталин, Ю. Стеклов, В. Ставский, А. Стецкий, В. Сутырин, А. Халатов, Г. Чичерин, Г. Якубовский, Ем. Ярославский и др.

ЖУРНАЛ «КРАСНАЯ НО Ь» РАССЧИТАН НА ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ, НА ПАРТИЙНЫЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ, НА ТРУДОВУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ И СОВЕТСКИХ СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА: на год—16 р., на 6 мес.—8 р., на 3 мес.—4 р. ОТДЕЛЬНЫЙ НОМЕР—1р. 75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Периодсекторе Госиздата РСФСР. Москва-центр, Ильинка, 3. В Госиздате, в отделениях и магазинах Госиздата, а также у уполномоченных, снабженных удостоверениями. По Москве и Московск. обл. заказы надлежит направлять: Московск. обл. отд. Госиздата «Моск. рабочий», Москва, Неглинный пр., 9.